

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2001

6

2001

**60 ЛЕТ НАЗАД
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ
НАПАЛА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ**

**ДО КОНЦА 2001-ГО И В 2002 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АЛЕКСЕЙ ЗИКМУНД. Герберт (повесть);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

(См. на обороте)

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);
ВЛ. НОВИКОВ. Высоцкий (главы из книги);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Такая вот любовь (рассказы);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — АНДРЕЙ ЗУБОВ. Переписка из двух кварталов;
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захолустье (повесть);
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); **Рандеву в конце миллениума** (эссе);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаньч (повесть);
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА**; стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**; статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на 2001 год по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novu Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕННАДИЙ НОВОЖИЛОВ — Другие жизни. Книга рассказов	7
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — В марсианском раю, стихи	40
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — ВМБ, повесть	44
МАКСИМ АМЕЛИН — Из-под пепла и брена, стихи	92
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН — Волки, рассказ	98
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Кортик луны, стихи	110

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Спасение, рассказ. Публикация Елены Семеновой	114
АННА БАРКОВА: СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА. Публикация и предисловие Л. Н. Таганова	122

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ ЕЕ И ЛЮБИЛ ИСКРЕННО...». Эпистолярный дневник Ивана Ювачева. Вступительная статья Е. Н. Строгановой. Подготовка текста и примечания Е. Н. Строгановой, А. И. Новиковой	128
--	-----

МИР НАУКИ

РЕВЕККА ФРУМКИНА — Маленькие истории из жизни науки	159
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ — <i>Nos habebit humus</i> . Реквием по филологической поэзии	167
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Экспансия. Опыт обозрения актуальной книжной серии	179

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Анна Фрумкина. Сегодня. Завтра. Вчера	186
Евгений Ермолин. Летят щепки	191
Сергей Ларин. Крушить — не строить	195
Татьяна Касаткина. Простые вещи	198

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Леонид Цывьян. «Некоторые любят поэзию»	201
Михаил Горелик. «Дедушка ничего не ответил»	205

КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ	208
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	217

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

БОРИС ЛЮБИМОВ — «Широкому читателю» — от богослова Халявы	223
ЛЮДМИЛА ПОЛИКОВСКАЯ — Цветник по-венски	224

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	226
Периодика (составитель Андрей Василевский)	229
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЭТА
ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА!**

**23 ИЮНЯ (5 ИЮЛЯ) 2001 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 115 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ**

**ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА ПОЛОНСКОГО
(1886 — 1932),**

**ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ЖУРНАЛИСТА,
ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО «НОВЫЙ МИР» В 1926 — 1931 ГОДАХ
И ФАКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИВШЕГО ПАРАДИГМУ
ЕГО РАЗВИТИЯ КАК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД.**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ГЕННАДИЙ НОВОЖИЛОВ



ДРУГИЕ ЖИЗНИ

Книга рассказов

РИСУНОК

Сначала исчезает горизонт, где виднеются трубы теплоцентрали, обозначающие собою местонахождение Химок, где много лет назад купил я отличный японский зонт-трость с автоматическим выбросом — зонт, которым почему-то не пользуюсь. Потом исчезают дома вдоль шоссе, идущего из Питера мимо Северного речного порта, где прожил я многие годы как будто в смертной истоме, умялявшей бесконечными одинокими прогулками под чудесными соснами по берегам водохранилища.

Вот Тушинское поле вместе с немногочисленными теперь, всегда почти неподвижными самолетами исчезает в белой мгле. Исчезло Строгино, и мгла приближается, накрывает берег реки под моим окном.

Снегопад...

Чуть видны березы над оврагом. Улица становится белой, словно она деревенская, с колеями от колес. Всю жизнь, как опустится снежный занавес, замирает душа, будто пред нею долгожданный предел, за которым невыразимая печальная красота. Снегопад представляется весь сразу, как он накрывает далекие поля со стогами, притихшие леса, безлюдные, с дымками из труб деревни...

Как уместна здесь музыка, скажем, Второй струнный квартет Бородина! И камерные шедевры Петра Ильича Чайковского здесь всегда хороши, Шуберт и Брамс, конечно, тоже. Как соединится музыка с бесконечным шестом снега, так и не захочешь завтра, не захочешь продолжения, не способного стать таким вот совершенством.

Все искал я, с чем бы сравнить этот союз камерной музыки и снегопада. Нашел! Это похоже на легкий, неповторимый, словно вздох облегчения, рисунок. Как негромок и обворожителен рядом с симфоническим великолепием камерный опус, так рядом с величием гениальной живописи тих, очарователен совершенный рисунок.

Я просыпаюсь в ночи, подхожу к окну. Снегопад усилился, и березы над оврагом исчезли. Музыка не прекращается, только стала, как и подобает в ночи, тише, откровеннее, осторожнее. Немыслимо представить солнце, суету ослепительного дня, сомнения, разочарования, страхи. И как прекрасен этот все умиротворяющий, целительный, будто материнская утроба от всего охраняющий, шелестящий снегом мрак.

Новожилов Геннадий Дмитриевич родился в 1936 году в Москве. Художник-аниматор. Участвовал в создании более двадцати мультипликационных фильмов. Один из первых иллюстраторов «Мастера и Маргариты». Живет в Москве. Настоящая публикация — литературный дебют автора.

РОДНЫЕ ИМЕНА

Утренние морозцы подсушили листву, опавшая, она чуть шумит от легкого ветерка. Пахнет сигарой и растворителем. Стынут кончики держащих кисть пальцев. На холсте у Валентина Александровича Серова сидящий в пальто на стульчике Костя, Константин Алексеевич Коровин. Перед ним мольберт. Вокруг розовая роща, где уж октябрь...

Этюд замечательно хорош! Его можно видеть в Нижнем, в музее.

Нынче такой же, как на том этюде, денек. Тени прозрачны, и шумят по земле сухие розовые листья. Смотришь в окно, на Волгу — и она в сизой дымке, холодная. Где-то здесь недалеко Шаляпин отыскал знакомого лабазника, имевшего, по мнению Федора Ивановича, лучшую паюсную икру, и они с Костей закусывали анисовую обсыпанными мукой, горячими калачами-папошниками, отягченными этой самой икрой. Был солнечный день, и по-над Волгою скрипели обозы в богатую, объевшуюся итальянской оперой Москву.

В гурзуфском доме, на веранде, где шевелил волосы горячий ветерок, однажды стояла синяя ваза, а в ней цветы. Отвернувшись от окна, за которым белый Ярославль, вижу — вот эти цветы в горячей от солнца вазе, за нею синее море. Хочется видеть картину только что законченной, чтобы чудесно пахло «лефрановыми» красками и чтобы благорасположенный ко всем людям Костя мыл кисти и тихонько гремел ими о край посудинки...

Но нет, краски тверды, и уж там и тут трещинки ложатся на цветы и море. И возникают в музейном воздухе вроде бы обрывки чьих-то голосов или не всегда понятные ныне живущим звуки. Зажатая губами, давно угасшая сигарка; ее нет времени поджечь, ибо работа стремительно подвигается и все ладится само собой. Палитра приятно давит на руку. Все впереди. Взаимная приязнь. Хороший аппетит и рюмка водки перед обедом. Искусство определено бессмертно. Не забыть зайти на Кузнецкий за новыми брюками. Ага, пришел родственник с камергерским ключом и гитарой: петь сегодня будем...

Все созданное ими представляется частью навеки утерянной гармонии или буйно шумевшим листвою раем, под напором жадных и сухих ветров будущего облетевшим и затем исчезнувшим.

Василий Дмитриевич Поленов говорил жене, Наталье Васильевне:

— Достань мне этюд Константина, речку в Жуковке. Повесь здесь, передо мной на стене. Я буду смотреть. А если умру, — (он умер спустя два дня), — напиши ему в Париж поклон, скажи, что увидимся, может быть, опять на этой речке.

Увиделись, надо думать.

НЕТ, СЭР!

Все эти генерал-аншефы, гвардии ротмистры и поручики давно уже спят непробудным сном где-нибудь на старом кладбище Донского монастыря, и уж покривились памятники над их могилами.

«По Москве», издание М. и С. Сабашниковых. 1917.

I

«Вознесенского монастыря игуменья Серафима, в мире София Вильгельмова фонь-Лескенъ, родил. 10 августа 1827, сконч. 8 апреля 1893, 65-ти летъ. Упование мое Отець, прибежище мое Сынъ, покровъ мой Дух Святой, слава Тебе».

Мелькнуло справа, в зарослях дикой травы: это лимонница рисует в горячем воздухе китайские иероглифы. Бабочка приблизилась и замерла

на покрывившемся черном граните, частично заслонив крылышками букву «ф». Ну да же, это тот самый, украшавший Кремль кружевной монастырь, испеленный красным безумием.

Вот каменная стела и под ней поручик 20-го Сибирского стрелкового полка, 5-й дивизии Зайцев Василий Никитич. Пал в бою 23 декабря 1916 года. «Из крестьян Рязанской губернии. Много раз бывал в боях, был контужен и ранен, но возвращался в строй. В последнем деле 23 декабря, ведя роту в атаку, был ранен разрывной пулей в нижнюю челюсть, нести же из строя себя не пожелал, а встав, хотел снова вести свою роту, но снарядом был перерезан пополам. Верхнюю часть тела нашли примерзшей на земле, как бы стоящей на коленях, — эта часть тела героя и погребена здесь».

II

— Послушайте, Айк, давайте двинем на этих монгол, пока они так ослаблены. Раз-два — и мы в их дурацком Кремле. Сколько можно терпеть этих косоглазых?

— Вы с ума сошли, Джордж! Они все-таки наши союзники. Что скажет мир?

— А ничего не скажет. Благодарить будет. Слава Богу, их большевистская рожа ненавистна всем.

— Джордж, вы вечно хватите через край.

— Да ничего я не делаю через край! Ведь они очухаются, Айк, и наворотят таких бед, что у нас с вами по швам портки затрещат. Ну же, Айк! К черту политику, и я распоряжаюсь не глушить моторы. Вам стоит только скомандовать: «Вперед!» Ну же, Айк, «да» или «нет»? Что вам стоит сказать «да»?!

На спорящих были болотного цвета куртки, каски с генеральскими звездочками, брюки заправлены в высокие ботинки на толстой подошве. Генерал Джордж Паттон размахивал зажатой в пальцах непомерной сигарой. Его танки только что оставили позади раздавленных фаустпатронников из «гитлерюгенд», разутюжили аккуратные фольварки. Армия перла на Берлин, и было ясно — войне конец.

И действительно все скоро закончилось. Стало не грех отдохнуть, а то и развлечься. И вот повесивший каску на гвоздь командарм отправился однажды утром на рыбалку. Поехали в тяжелом военном лимузине. Едут, болтают с сопровождающим офицером, и вдруг поперек шоссе «студебеккер» с тремя подвыпившими нижними чинами. Тюкнулись-то слабенько: их «паккарду» почти ничего, водитель-солдат цел-невредим, у сопровождающего офицера ни царапины, «студебеккер» с пьяницами фары лишился. А сидевший за спиной водителя прославленный генерал валится на пол, ломает шею. Почти без сознания в госпиталь. Паника, хлопоты военных хирургов, немедленная операция...

III

Извините, сэр, это вам за нас, монголов. Ваш командующий, надо полагать, имел интуицию, ту исключительную, женскую, заменяющую настоящему военному уму, и, полагаясь на эту интуицию, не позволил вам расправиться с нами. У вас бы вышло. Не трудно догадаться, какие силы вас поддержали бы, и страшно представить летящие из-под траков ваших танков ошметки смоленской земли. Искромсали бы вы бомбами, которых у вас немерено, тверские и можайские просторы. И дымком вашей сигарищи запахло бы где-либо под Орлом либо Тулой. И вы прокричали бы вашему осторожному приятелю и начальнику с дурацкого кремлевского холма: «Ну, Айк, что я говорил!»

Не получилось у вас, сэр. Судьба распластала вас, безгласного, на скорбном одре. Может, оно и к лучшему: ведь отсутствие интуиции у воина считай что гибель. Прошло бы необходимое время, и поднялись бы из гробов все эти генерал-аншефы, гвардии ротмистры и поручики, поднялся бы целым и невредимым бессмертный воин 20-го Сибирского стрелкового полка, 5-й дивизии Зайцев, поднялись бы они, чтобы сокрушить вашу военную расточительность. И баронесса фон Лескен, ради православия покинувшая навеки свою наследственную марку и лютеранство, умолила бы Заступницу за нас заступиться.

Все правильно, генерал, мы — монголы. Косоглазые мы. И рожа у нас большевистская. И заражены мы коммунистической краснухой. И живем мы в империи зла, убивая своих царей, детей, самих себя. Вы, сэр, знаете наших полководцев, что добывали солдатским мясом свои победы. И на вашем пути они бы возвели заслоны все из того же надежного материала. Мало нам, претерпевшим сверхнесчастье войны с германцем, — и вы туда же! Вы замечательный полководец, генерал, и уход в неподвижность был единственным, наверное, выходом, чтобы спасти нас, косоглазых, от вашей удачливости.

Да к тому же, случись по-вашему, как тяжело было бы вашей душе, носясь над нашими просторами, видеть увязнувшие в монгольских болотах, проржавевшие насквозь «шерманы», на дне бездонных озер «дугласы» да «бостоны».

Так что... нет, сэр!

НА САВКИНОЙ ГОРКЕ

Я ложусь головой на запад и сквозь сияющие шары созревших одуванчиков вижу садящееся солнце. В долине Сороти — белые цветы, и по ним, словно по снегу, тянется домой стадо темно-красных коров, накопивших за жаркий день молока и покоя: туманом стелется над приречной луговойной мычание. Стоят по колено в воде, обмахиваются хвостами лошади. За рекою низко над пашней с криком летают два чибиса. Из соснового бора костяная дробь аистиных клювов. Вот один расправил тяжелые крылья, снялся с большого гнезда и полетел низко над рекой, отражаясь в ней и вспугнув семью закрякавших диких уток, словно когтистой лапой царапнувших темную гладь сияющими полосами. Стая галок хлопочет в кронах. Атакуемый отрядом стремительных стрижей, ворон отбивается крылом и раздраженно каркает на лету. Сносимые подоблачными потоками в Ливонские пределы, словно зачарованные, плавают кругами два коршуна.

Вон ребяташки отправились в лодке на ловлю рыбы; какую-то, не разобрав, песенку кричат, а в старице, мешаясь с пением мальчишек, залились лягушки. Надо мною, в листве березы, трепет птичьих крыльев. Целый день возня бесчисленных скворцов, снующих черными челноками среди трав и цветов. Шмели качаются в чашечках цветов. И, перекрывая многоголосье остывающего дня, прошитого неумолкающим птичьим щебетом, зашелкали, залились по долине соловьи.

Я счастливый: выпало мне приехать сюда не раз и не два. И оттого так хорошо здесь, что очень уж гостеприимен здешний хозяин. А то, что над его знаменитой могилой мраморная стела, так это одна из здешних достопримечательностей, не более. И все бы слава Богу, да сжимается от чего-то сердце среди ведущих от дома его лесных аллей. Что-то не сходится в его судьбе, вычитанной из бесчисленных книжек, написанных как любящими его, так и живущими до сих пор его иждивением. Тут кое-что еще...

Если б он только полюбовался. Если бы ограничился влажным, словно вечерний аромат ночных цветов, ароматом влюбленности. Если б даже слегка дотронулся... Но он схватился за раскаленное счастье, не ведая, что это погибель.

Ей — тридцать семь. Роста высокого, нежный ее голос проникает в душу. Очень хороша собою, а привлекательная фигура способна возбуждать у каждого к ней любовь. Легкая поступь и белокурые волосы. Она скромна и очень умна. Она — божественна.

Ему — семнадцать. Почти детская элегантность синего, с красным воротником мундира и бешенство чувств, обреченных с 1816 года до конца его дней стремиться неостывающей лавой тайными путями неудовлетворенной любви. Какой-то темнокрылый Амур с вожделием натянул тетиву, прицелился и послал длинную стрелу точнехонько в шею жертвы. Стрела вышла с другой стороны — ни туда ни сюда...

И вдруг внезапное волшебство тайного свидания: счастье было невыносимо, все казалось, это происходит с кем-то другим, неслыханно удачливым и бесстрашным. Но тут же все и оборвалось — разница в положении, в годах. Пытка началась.

Пользуясь неизменным материалом, телом человека, Провидение, повинувшись одному ему ведомым капризам, находит два тела и наполняет их страстью. Эти двое остаются внешне похожими на себя, но глаза их, как у кошек, видят теперь и в темноте. Спавшие еще накануне души пробуждаются, сливаются — дело сделано. Счастьем будет, если топка обожания поутихнет и преобразится в тепло приязни, радующее недавних безумцев в их последующих днях. Несчастье же, когда в одном из них, будто прижатое пальцами пламя свечи, гаснет блаженное безумие. Тогда обрушивается прозрение, погубившее когда-то прародителей, пребывавших до этой катастрофы в безгрешной райской наготе. С удивлением смотрит тогда прозревший на предмет своих вчерашних безумств. Лучше уж погибнуть обним и отпустить тела существовать по установленным с начала веков привычкам и, если будет милостива Судьба, чувствовать себя счастливыми среди предназначенных всем нам для прокормления пастбищ.

Но все делается не так, когда обреченный на любовную пытку становится неразлучным со Смертью.

Все о нем книги — не о нем. Всем известный его облик — не его облик. Это существо с застрявшей в шее стрелой видимо было очень немногим. Тем, кто знал. И молчал. А он жил со стрелой, привык к ней. Древко стрелы напиталось его несчастьем и зацвело. Постоянная боль и благоухание неожиданных цветов — это и есть его поэзия, восславляющая под разными именами только ее, только ее, ей одной принадлежащая. Стрелу вынуть нельзя — мгновенно иссохнет поэтический родник, прервется невидимая окружающим жизнь. Но в жизни видимой происходило все то, о чем мы прочли в тысячах о нем книг. И всяк о нем толкует по-своему.

В ночь на 4 мая 1826 года в городке Белёве она внезапно умерла. Ее убили. У него еще одиннадцать лет. Что ж, жить нужно, жизнь свое возьмет. Можно ездить в карете, можно спать и кутить с друзьями. Можно на чем свет стоит ругать управляющего за недоимки. Можно в театре сидеть или стишки в дамских альбомах записывать. И можно на полях рукописей рисовать бесконечные профили и ножки красавиц. И в карты можно играть сколько душе угодно. Можно, пожалуй, и жениться, и детей заиметь. Все можно! Нельзя только без нее жить. Тогда надобно рассчитать траекторию не важно кем выпущенной пули, чтобы она угодила туда, куда тебе необходимо. И тогда через последнюю невыносимую боль — конец невыносимой боли, конец цветению стрелы, конец разлуки.

ГДЕ-НИБУДЬ В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ

Утренний звон направляемой косы... С хрустом ложатся росные травы под широко бреющим лезвием, и пахнет срезанная трава только что выловленной шукой. Густой туман делается, что китайский фарфор, полупрозрачным, быстро тает, лишь охвостья его запутались в черных елях на том берегу. Набирающее жару солнце уничтожает ночную влагу, и тогда невидимые потоки горячего воздуха принимают вертикально облака, и они встают над полями белоснежными сторожевыми башнями.

Всего за два дня созрело сено и стало голубым. Его ворошат деревянными граблями женщины в белых платках. Вдруг тучка. Прямо в зените. Стустилась, закрыла солнце. Притихло. И вдруг с треском и звоном бесцветный зигзаг молнии в ивы у реки. И тогда суета вокруг быстро растущих копен. Но тревога напрасна — всего несколько крупных, с горошину, капель. И снова жара...

Доносится из-за лесов жалобный крик бегущего на запад экспресса. Чуть вздрагивая неподвижными крыльями, под облаками циркулирует коршун. Рыжая, в белых пятнах, кошка выслушивает в стерне мышей. Целый день крики и визги детей с реки, и запах воды далеко слышен в дрожащем зное. Вот большая рыба выскочила и шлепнулась об воду. Беззвучная серая цапля проплыла над верхами замерших деревьев. На той стороне, в заводинке, словно яичные желтки, бубенцы кувшинок. На подвядшем лопушке, рядом с забытым кем-то розовым обмылком, лягушка в своей камуфлированной одежке таращится на меня, стоящего по грудь в воде.

Как много русских, вынужденных когда-то бежать от большевистской чумы, за этот полдневный зной, переполненный звоном кузнечиков и гудом шмелей, заложили бы жизнь, а то и душу. Вот сейчас где-нибудь в Новом Южном Уэльсе какой-нибудь старик, переживший свою фамилию и погибающий от пьянства и одиночества в богадельне, вспоминает веснушки горничной, под оглушительных соловьев угодившей в его первые, искусно расставленные тенета. Он таился в ротонде на краю запущенного парка. А потом ее, жертвы, появление все в солнечных зайчиках, коварство враждебных юбок, веснушчатое переносье, косящие близкие глаза, капли пота над губой, полыхающее безумие. И зной...

Родительский замок где-то в Тверской губернии. Бесконечно счастливое, будто занимающее две трети жизни, кадетское отрочество. И надобно о встрече с Богом, о скверно сложившейся жизни подумать. Но нет, снова и снова, и бессонной ночью и днем, как будто это самое главное, ядовитосладкие видения быстро синеющей тучи и ротонды, белеющей колоннадой с другой планеты...

ДРУГИЕ ЖИЗНИ

Искони известно: мы сами выбираем место рождения. Для чего так — открывается на кончике покидаемой жизни. И я в свое время увидел, что к чему. Следуя же российской жизнью и более и более любя здешнюю бескрайность, часто вспоминал я прежнюю где-то в лесистых горах южной Германии жизнь.

Рождению предшествует обмирание в беззвучных и беспросветных глубинах, где происходит устранение впечатлений от прожитой жизни. Но полного забвения не наступает: остается печаль и временами нестерпимая тоска о чем-то потерянном, не оцененном во время владения им. Богу угодно, чтобы мы не забыли, что имели, но о том сокрушались — сокрушение сердца делает его жадным до любви.

Но вот пришла пора, и я готов для другой жизни, имея новый облик, речь и судьбу. Я очнулся и открыл глаза...

Кругом высился лес, и на него словно кто набросил белые воздушы, будто спорыми спицами обвязала его белым старая бабушка в круглых очках. То одна елочка кажется кокеткою в *помпадуре* из серебряной парчи да высоком паричке, то другая красавицей в шугайчике и шапочке горностаевой. А то вовсе махонькая елочка, что то счастливое дитя, павшее при рождении в батист да кружева.

Ветра не было. Серое, без просветов небо. И не совсем серым оно было, а с розовым, потому что солнце светило будто сквозь легкую вуаль. Мелкий снег сыпал, и от него стал как бы туман. Вдруг дятел застучит. Синица с крахмальной грудкой скачет и свистит по кусточкам. Мыший стежок играет по сугробу. А то заячьи следки поперек пути. Тут ворон вывел прописи острыми когтями. А вон красный лис не бережется, кажется впереди и нюхает воздух.

Обок пути на кустах то один, то другой санный клок: сани проехали и лошаденкой сладко пахнет. Я шел, шел по следу — да и вышел на окраину леса. Предо мною открылось поле, такое великое, что сразу не оглядишь. В даях белых супротивный лес черным шнуром лежит, а посреди простора этого селение. Серого дерева домки понабросаны в сугробах, сараи да плетни. Голые деревья над крышами. В небо глядит колокольня, и у нее макушка отбита, и там выросли кусты. Вдруг на колокольне всполошилась и разом сорвалась стая воронья — и великий гвалт от нее разнесся.

Меж тем стали сумерки. Только краешек небес исходил остатним светом. В сумерках тех зажглось окно. Я обернулся: за спиною непроглядная темь, и там таилась оставленная жизнь, прежняя судьба. Только один сухой листок, что не упал осенней порою, трепетал сам по себе. И пошел я, трудно-трудно ступая по снежной равнине к горящему окну. Знал я, что иду по своей новой родине — она меня, пришельца нежданного, возьмет и приютит.

ЦИКЛОН ИЗ НОРВЕГИИ

Утром по радио прогноз: приблизился циклон из Норвегии. Потому нужно ждать дождь и ветер.

Густо взбил пену на щеках — бреюсь. На лавке три белых ведра с колодезной водой. На стене мой рисунок рябенького ручного петушка. Петушок здесь же, растопыривает крылья, тянет ногу и, поворчав, укладывается посреди пола.

Как хорошо пахнет в избе, где затопили печь! На допотопном диване жмурит китайские глаза кошка. В старом чугушке на подоконнике ванькамокрый, и его цветы точь-в-точь розовые конфетки. Вечные ходики с намалеванным на них лесом с мухоморами стучат и стучат; верно, так же стучали они в опустевшем ковчеге Ноя, отстукивая ему его девятьсот пятьдесят лет.

Ну вот, побрился. Умылся. Плеснул на щеки купленным в сельской лавке цветочным одеколоном. Руки в рукава солдатского ватника — скорее в поле, в лес!

Вот он, циклон из Норвегии. Низкие тучи путаются в вершинах деревьев, опускаются ниже, застревают в кустах. Непривычно безгласные сороки летят низко над густыми еще травами с последней ромашкой. Лужи на дороге. Вот следы ночью пробежавших вдоль колеи кабанов. А вот лось дорогу переходил, неловко ступил, оскользнулся. Вон в озимях лисичка мышкует: голова в траве, хвост торчком. Увлеклась, меня не чует. Я прошел, тогда только учуяла, припала на миг и — стремглав к окраине леса, мелькнула и сгнула среди молодых березок.

Тихо-то так! Только из деревни доносятся крики ребятишек. Вечно они, словно цыплята, в зарослях акаций, лопуха. Из века в век одни и те

же забавы. Набрeдeшь на их заветное местечко и видишь: брошенные до завтра, в тряпицы закутанные деревyшечки, какие-то рогатые сучочки, камешки, осколок зеркала, ленточки, тряпочки, что-то на гвоздике вертится...

И вдруг почувствуешь спиной весь свой путь, начавшийся в таких же лопухах, с теми же забавами...

Как хотелось мне в Норвегию! Насовсем. Я бы жил в деревянном под красной черепицей доме, белеющем в синем фьорде. И у меня был бы король. По вечерам горела бы на моем столе лампа под шелковым абажуром, постреливали бы дрова в камине, и я, набросив на плечи клетчатый плед, читал бы в кресле хорошую книгу. Я бы не читал из «Вечера у Кантемира», отмеченного безумием прекрасного Батюшкова: «Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным; и вся полудикая Московия — снова будет дикою Московиею».

Я не читал бы ничего, от чего хочется удавиться.

Но нельзя сбежать из большевистской клетки, где человеческая жизнь и полушки не стоит. Однако Бог милостив, и мне удавалось иногда окатиться на берегу Балтики, на полпути к моему королевству, и, стоя у кромки вод, глядеть на горизонт, над которым летели от Норвегии холодные облака и тянулась к югу стая гусей.

Помню, бродил как-то целый день и страшно устал. Вечерело. Вдруг среди дюн, на самом берегу, открылось маленькое кладбище, имеющее часовенку и ворота, запертые на замок. Достающая до колен чугунная литая ограда не могла остановить желающего побродить среди покосившихся, покрытых бархатом мхов, уходящих в пески надгробий. Но переступить нельзя — соорудившие наивное препятствие люди предполагают в вас порядочность. Потому нужно поискать калитку; она оказалась чуть поодаль и была приоткрыта.

Высокие туи, сосны и не сбросившие еще золотые иглы старые лиственницы украшали погост. Слышались крик одинокой чайки и посвист синиц. Туманный день превращался в сумерки, и я обходил кладбище, думая о нем как о заброшенном. Вдруг за дюной увидел я свежий холм, убранный осенними цветами; огни толстых свечей, плотно, с четырех сторон окружавших его, не колеблясь тянулись к небу. Видение внезапного сияющего холма испугало, праздное течение мыслей смешалось, и я поспешил на берег. Темнеющее небо отражалось в безмолвных водах. Лишь возникала над белыми ребристыми песками призрачная, бегущая к берегу тень и, добежав, оборачивалась чуть слышной волной. Море пахло хризантемой.

Судьбу чувствуешь всей кожей. Судьба зовет не словом, просто вдруг слышишь рядом ее вещее присутствие. Стоя на белых песках в густеющей серой темноте с остатками над горизонтом лимонного заката, я услышал ее, и, если перевести все в слова, получилось бы так:

— Создавшему тебя неуютно видеть тебя в вечной тоске по далекому и призрачному счастью. Ты угоден там, где родился. В полудикой твоей отчизне твое место, а не в королевствах. Жизнь коротка, а потому возвращайся домой. И будет там много всего, чем усмирится мятежное сердце беглеца.

Каждое возвращение от балтийских волн было мучительным. За окном вагона холодная осень, голые деревья, стаи ворон над обезглавленными колокольнями, невысыхающие лужи российских дорог. На железнодорожных переездах черные, куда-то бредущие согбенные фигуры. Нет, на сей раз не обвыкнусь — умру!

Но вот я жив, иду, и надо мною циклон из Норвегии. Вдруг синенький, будто выдавший виды старушечий платочек, просвет — и в просвете клин журавлей. Опершись на палку, смотрю я в небо — и нет сил двинуться. Снова холодный дождик из облаков, проплывших недавно над Норвегией, затем над кладбищем в дюнах — и вот они здесь, над Россией.

ЖЕМЧУЖИНА

Песчинка попала в раковину. Живущему в раковине моллюску песчинка эта доставляет неудобство, быть может, боль. Он бы вытолкнул песчинку, да не может в силу своей биологической беззащитности. И моллюск, выделяя необходимую субстанцию, начинает защищаться, принимается обволакивать этой субстанцией незваного гостя.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года, в приходе Харитония, что в Огородниках. Он рос среди пахнущих укропом огородов, ограждающих огороды плетней, огородных пугал. Забираясь на крышу маленького своего дома, он видел другие двory, крыши, синие дали, сверкающие маковки церквей, слышал их перезвоны. Он играл на сенике, и, зная по портретам его взгляд и о том, как горестно закончил он земную жизнь, можно легко представить его детские глаза: настороженные, с потаенной за ними тоской, которой почти всегда отмечается гений. Забравшись на березу, он окаменевал, думая о чем-то, ему самому еще неизвестном. Зимой стояли над московскими крышами голубые дымы, закаты были малиновы, снег скрипел под полозьями саней, пахло конским навозом, по утрам свежеепеченным хлебом.

Павел Андреевич подрастал. Одиннадцати лет отдан в Московский кадетский корпус. Учился хорошо. В свободное время ради забавы рисовал. Но больше любил петь, подыгрывая себе на гитаре. Кадету Федотову жилось недурно. В 1833-м Корпус окончил. Окончил среди первых, потому фамилия его — золотыми литерами на мраморной доске. Но странно, по рисованию и черчению планов отмечен ленивым. Выпущен в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком. Началась петербургская жизнь.

Песчинка, обрабатываемая моллюском, постепенно превращается в маленькую жемчужину. Что в это время испытывает моллюск, мы не знаем.

Служит хорошо, успешно. Имеет добродушный характер. Весел. Солдатушками любим. И солдаты любят своего командира. Живет скромно: средств личных мало — половина жалованья уходит на отца и сестер. Рисует, пишет акварели. Между тем походы, лагеря, казармы, караульная служба.

В лагере Финляндского полка встреча с великим князем Михаилом Павловичем. Тот видит талант офицера и дарит ему свой бриллиантовый перстень. Мечта стать живописцем становится у Федотова монолитной.

Начальник корпусного штаба генерал-адъютант Веймарн берет участие в рисующем офицере. Офицер же просит что-нибудь на рисовальные удобства (то есть бумагу, кисти, краски) и просимое получает. Появляется картина «Освещение знамен в Зимнем дворце». И вот хлопоты завершаются: сам государь Николай Павлович, после рассмотрения представленных ему рисунков художника-офицера, удостоив внимания способности последнего, приказать изволил предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием 100 рублей ассигнациями в месяц и потребовать от него письменного на это ответа. Письменный ответ был незамедлительным. И вот отставка в чине капитана. Капитану двадцать девять лет.

Недолгие годы самозабвенного творчества. Известность. Потом слава. Но вдруг...

На Смоленском поле было свалено множество гранитных глыб, предназначенных для обделки набережной Большой Невы Васильевского острова. На пустынном этом поле появляется однажды Павел Андреевич, садится на камень и замирает. Он смотрит на желтый закат, на холодом

сверкающую воду взморья, на Галерную гавань. Вдалеке темнеет деревьями Смоленское кладбище, доносятся уличные шумы столицы.

Долго, словно Христос в пустыне, сидел художник и думал. И что внезапно случилось с гвардии-капитанской душой, знает один Бог. Обхватил вдруг голову Павел Андреевич и зарыдал. Рыдал громко, долго-долго, пока не подоспел наблюдавший за ним издали его человек Коршунов. Верный слуга силком повлек барина на квартиру в 21-ю линию близ Большого проспекта. Но и дома плакал неистово Павел Андреевич и катался по полу...

Тяжко было бы описывать происшедшее с Павлом Андреевичем в бедламe, что находился на одиннадцатой версте по Петергофской дороге, куда несчастный был помещен соизволением государя Александра Николаевича. Да и нет в описании этом нужды, ибо речь пошла бы не о гениальном мастере, но о существе, сравнившемся с животным. Следует, пожалуй, вспомнить о том, как перед кончиной на руках верного Коршунова очнулся, будто вынырнул из ада, Павел Андреевич, чтобы произнести: «Видно, придется умереть».

Сказав же это, просил он позвать друзей для последнего целования. Но до того желалось ему с друзьями проститься. По адресам послали сторожа, состоявшего при больнице, да он сутки пропьянствовал и выполнил желание уже покойного художника лишь на следующий день. Вечный покой обрел Федотов неподалеку от большой церкви Смоленской Божьей Матери.

Преследуя свои цели, гений сокрушил своего же носителя, загнал в неисходный угол в обмен на несколько небольших бесценных картин.

Рост жемчужины прекращается, моллюск погибает, а ненужная теперь раковина, если не заиграли ее какие-нибудь дети, исчезает. Песчинка же, превратившаяся из причины болезни в редкий перл, занимает подобающее ей место в ожерелье таких же редких и прекрасных, как и он, жемчужин.

ПЕСНЬ О СЧАСТЛИВОМ ПРИНЦЕ

Как сладка осень в Подмоскowie! Это время, когда пожелтевший куст сирени исходит что днем, что ночью нежным бледно-лимонным сиянием. Если пройтись косою по распластанной утренним морозцем еще зеленой траве, то после уборки ее граблями остается мягкий розовый ковер. Тени прозрачны и печальны. Дня нет, а тянется до вечера утро, или это вечер вобрал в себя утро где-то на заре. Сжигается ботва: дымы, дымы столбом до самого неба. Туманы до полудня, и в них купаются сороки, промышленяют вблизи людей и не летят выше плетня.

Вдоль дорог табуретки с богатыми натюрмортами: тугие капустные шары, помытая алая морковь, кабачки, свеколка, рассеченные пополам тыквы, ведра с антоновкой, штрифелем, картошкой. В бидонах могучие ветви гладиолусов. И слюнки текут на закатанные банки соленых огурчиков да помидоров, грибов да варенья. А в пластмассовых из-под газированных вод бутылках под самую пробочку молоко.

— Отец, свежее?

— А как же, родимый, утрешнее!

Монастырь полон народа. Работы вовсю: электропилы воют — кровлю на стенах и башнях с деревянной на медную меняют. Обширный батюшка грачом передвигается, золотенки крестом под бороною поблескивает, ручками туда-сюда указывает, послушания монахам полагает. В длинных, до пят, юбках какие-то улыбочивые монахини, что голубицы, следуют за кареглазым скуфейником, а он потупляется, все им показывает, все объяс-

няет. Толстая бабушка-монахиня клумбу всю перепыхала; видать, у нее нынче послушание таково. Лохматый рыжий кот с тощим хвостом куда-то направляется. На лавочке столичная дама в себя погрузилась: глаза уж неживые. Из «Нивы» молодые, будто черные карандаши, послушники вытаскивают и в Патриаршие палаты вносят пакеты с цементом... А туман сегодня так густ, что голова колокольни, еще Тишайшим царем строенной, не видна почти.

Скрипнув створкой двери, сунул нос в ароматизированное дымом ладана пространство, еще теплое после недавней заутрени. Несколько свечек потрескивают в соборном мраке. Ни души. Как это странно...

Опустить в щель медного ящичка мзду — и сначала свечу за упокой. Постоял, помянул. Затем почему-то на цыпочках подкрался к раке со святыми мощами. Началось с макушки и поплыло по телу, без усилий расправляясь с накопленной за жизнь усталостью, тронув благодатным теплом прохладную душу. Ноги отяжелели, опустился на колени, уткнулся лбом в каменные ступени...

Наполеон Бонапарт обживался в Кремле. Ничем не отстающая от всех армий на земле, его армия напропалую грабительствовала. Победители разузнавали, где окрест что побогаче и плохо лежит. Получили эштафет о Саввино-Сторожевском. Ага, монастырь знаменит, следовательно, богат! Сигналист протрубил «карьер», и в тысяч тридцать отряд — «марш! марш!» — грабить Звенигород. Впереди Наполеонов пасынок, принц Евгений.

Быть может, в такой же туманный денек въехали французы в листьями засыпаемый, дремлющий на холмах городишко. Никто им не противостоял, только глядели исподлобья.

— Мсье, у э лё монастэр? (Мсье, где монастырь?)

— Чаво?

— Муэн, муэн! (Монах, монах!)

И французы смешно выпучивали глаза, втягивали щеки, скрещивали на кирасах руки.

— А... вона они чаво. Туды, служивый! От туды, еще версты полторы!

— Мерси, шер ами! (Спасибо, мой друг!)

И загалопировали вдоль реки Москвы, запрыгали гребни из конских хвостов на медных касках, запахла осень конским потом да амуничным хозяйством.

— Ты чё, Карпий, граблями размахался? Шаромыжнику путь укажешь?

— Так, поди, на богомолье приехамши.

— Ну да, и сладкого гостинца преподобному повезли. У тя, Карп, ума только-только ложки резать. А боле под волосьями у тя ништо не находится.

Беда пришла к святым отцам. В монастырской ограде костры. Горелым мясом по долине Сторожки тянет. Копоть над белыми соборами стаями птиц кружит. Рвут оклады с икон, лампы срывают. Златотканые ризы делят-ругаются. Сбросив кивер, праздничные митры на длинные волосья до ушей напяливают. Прикладами стучат, палашами ковыряют: в узлах, мешках, корзинах славный трофей. Завизжала истошно пойманная за задние ноги свинья. А с досок на трудников иноземных старцы бородатые хмурятся, не одобряют. Ах как славно пальнуть между глаз кому-нибудь из почтенных этих варваров! А что это за огромный такой сундук? Хорош сундук — литого серебра! Шарман!

Под сводами покоя принц откусал монастырской бражки, кислых огурчиков с квашеной, почти провансальской, с клюквою и яблоками, капустой отведал, растерзал жареного петуха. Сидит, с усом пену обсасывает, шевелит под столом голыми пальцами ног. Трещат поленья в изразцовой печи. От жары осатаневшие мухи проснулись, шальной картечью лупят в лоб, щеку, в разноцветные стекла окошка, падают на тарелку с объедками.

Умаялся за день принц. От стола переполз на лежанку, задул свечу, и через минуту эта благоцветущая отрасль благородного корня пустила слюну, засопел.

Тихо под низкими сводами. Здесь хозяйкою луна, чудеса языческие из тьмы принялась вылепливать. Разомкнул очи принц — у лежанки старец стоит, черная монашья ряса до полу, наклонился к принцу, разглядывает. Лицо у старца, что у Вольтера, худюшее, но с легкой седой бородою. Глядит монах, лунная искра в печальных провалах глазниц. И вдруг молвит:

— Жень, сынок, убрался бы ты отсель.

— Кес ке се? (Что такое?) — приподнялся на локтях принц.

— А я, — будто и не слышит принца старик, — обещая за тебя, греховодника, помолиться, авось пульки-сабельки от тебя, Бог даст, отведу.

У принца глаза что два наполеондора, не поймет он — спит или не спит.

— Послушайся меня, дитятко. Мотай портянками ножки — и на конь, — прошелестел старик, переместился к дверям и пропал. Но снова вдруг возник склоненным над принцем и досказал: — Не балуй, воевода. Беда пчелкой у твоего носа кружит. — И пропал в другой раз уж навсегда.

Вдругорядь просыпается принц и находит себя на локтях приподнявшимся, глаза что наполеондоры круглы. Чулки на ноги, ноги в козловые сапожки, бежит вон из покоев. Малую нужду на угол собора справляет и по ступеням в собор. К раке с костями святого подбежал, пальцем в икону с изображением худого с бородою лица тычет, возжигающего глиняный светильник монаха вопрошает:

— Ки? (Кто?)

Монах понял.

— Заступник наш, преподобный отче Савва Сторожевский, ваша милость.

Принц понял, сказал:

— Иль! (Он!)

Тут же последовало принцево распоряжение: награбленное оставить, собираться в обратный путь. Врата собора приказано было затворить. Личной своею печатью изволил принц сии врата запечатать и гренадер в охранение от грабителей вокруг соборных стен расположил. К тому обещался сильные меры к ослушникам взять.

И вот поутру с порожним вагенбургом (обозом), злобно косясь на командира, мрачным червяком потянулись французы по московской дороге. Обнаглевшие сороки скакали почти что под ногами коней и невыносимо трещали. Слышалась французская матерщина.

Много еще принц Евгений таскался за своим отчимом и после его бегства принял под свою команду «великую армию», превратившуюся среди русских морозов в живописную сволочь. Всякое с принцем еще приключалось, да ведь что интересно — ни единой раны ни пульей, ни саблей, ни штыком.

ПЫЛЬНИК

Одежда эта шьется из ткани цвета «ни да ни нет». Отчего этот крысиный колер был так обожаем большевистскими чиновниками, знает один черт. И почему он пыльник? Его что, нужно надевать, когда пыль?

Полами своими пыльник чуть не достигает земли. Глядя на чрезмерную длину брюкообразных широченных рукавов, ждешь увидеть под ними ноги, но никак не кисти рук. Невозможно представить лошадь или корову с лишней, мешающей естественному существованию шкурой. Но в нашем случае пыльники и прочая в том же роде изысканная одежда шилась на два или более размера просторнее необходимого. Видимо, мелкое племя

чиновничества не оставляет надежда вымахать когда-нибудь в племя гигантское.

Как водится, на ушах носителя пыльника, их оттопыривая, лежит только что с фабричного болвана велюровая шляпа. Из-под полей шляпы зыркают никогда ничего хорошего не сулящие глазки. Могут присутствовать пенсне, ушишки, козлиная бороденка. На нем брюки, в широких трубах скрывающие тупоносые, мальчуковые ботиночки. При всем этом непристойное сие сооружение может называться, скажем, министром каких-нибудь там иностранных дел.

Я встречал такое некогда всему миру известное чучело, совершавшее в пыльнике променады под ручку с женой близ стен Кремля, по другую сторону которых в компании таких же он десятилетиями подмахивал пущенные по кругу смертные приговоры. Невероятно, но сопровождавшая его жена в то время, как он кровавил руки о бесчисленные жертвы, пребывала в концлагере, отправленная туда малограмотным деспотом, таким образом проверявшим «на вшивость» верного холоуя в ранге первого министра.

С неслыханных высот, куда занесла этого заику судьба, пал он в ничтожество и оказался среди нас, по эту сторону кремлевских стен. На него, очутившегося вне бронированных машин, спецаэропланов, шкурораспательных бункеров, смотрели теперь люди. Брошенный отправившимся в ад хозяином, он оказался среди тех, кого унижал и уничтожал. Однажды на улице при всем народе остановил его молодой человек, ударил по лицу и объяснил:

— Это тебе за отца.

БЕСПОДОБНЫЙ

Рудольфу Котликову.

После войны то было: сороковые подползали к пятидесятым. Обескровленная страна расплачивалась за победу. Отмякшие после довоенных родных концлагерей в битвах с германцем русские души снова превращались в рабочий скот, загоняемый штыками за колючку. «Отец всех народов», испачкавший штаны после нападения на нас его приятеля Шикель-грубера и две недели прятавшийся под кроватью, снова зыркал кровожадными, опять обнаглевшими мыркалами из-за Кремлевской стены. С утра до ночи громыхали марши каких-то «энтузиастов». Под эти марши маршировали сытомордые, избежавшие смертельных сражений, полки, призванные оборонять вкусный корм и пуховые перины малограмотных своих кесарей, оборонять от страны доходяг, коим в башку может въехать не так истолковать нечаянное счастье каторжной жизни. Через законопаченные, злобой затертые окна и замкнутые на амбарный замок глухие ворота не проникало из всего остального мира ни звука, ни запаха. Мы жили, обнимая и время от времени целуя полуизобретенную отечественными гениями, полувыкраденную у проклятых янки атомную бомбу.

Да вот беда: зачем-то помещаемая в нас душа вдруг возьмет да и восхочет чего-нибудь «кисленького». А где взять? Здесь-то и находятся кротовые ходы или, наоборот, не ведающие границ птичьи маршруты, по которым доносятся чужие, зачастую невероятные и прекрасные звуки. И вдруг чудо — на киноэкране Гленн Миллер и его оркестр. Повезло нам, да власти опомнились и единственный этот фильм с отличной музыкой громогласно заклеямили и спихнули в могилу спецхрана.

Отвратительным ноябрьским утром тех лет присоединился я к желающей сна и хорошей еды толпе на остановке, что напротив универмага в Шмитовском проезде. Стою, как и все, смотрю в землю. Сейчас подкатит

уже переполненный трамвай и, пополнив себя нами, потащит к сияющим высотам, находящимся где-то там, за тремя горами Пресни.

— Ну ты, падла буду, как его курочит! — услышал я рядом. Говорил следовавший на какой-нибудь свой родной завод малорослый работяга. Я обернулся на того, кого курочило.

На вид этот пацан был первокурсник института или учащийся техникума. Так дергаются припадочные или частично парализованные. Пены на губах не наблюдалось, и, прислушавшись, я различил в змеином его шипении звук кованных медных тарелок. Притом он лихо работал барабаном, бухал контрабасом. Дергаясь задом и запрокидывая голову, словно его ударял в челюсть чемпион мира Джек Демпси, он закончил вступление и дал знак всему оркестру. Что тут сделалось! Он плевался, чревовещал; ломаясь пополам, дергался влево и вправо; истыкал руками все пространство вокруг себя; делал спиною движения, как будто быстро-быстро чесался о столб. Нас он не видел и, цепляясь за поручни трамвая, продолжал концерт...

Брат, я помню тебя! Я помню тебя, одержимого пляской святого Витта, вызванной горячечной работой щеток Джина Крупы и какого-нибудь Уолтера Пейджа, чей с годами одеревеневший черный палец с розовым ногтем истязал до предела натянутые нервы обшарпанного контрабаса. Я, брат, и сам появился на свет под стоны изнемогающего от своих же импровизаций Лионеля Хемптона; серебряные бубенцы его вибратона под сдвоенными мулетами вызванивали мне лунопечальную «Мунглоу», зачарованно следующую за волшебной дудкой Бенни Гудмена. Переплетясь с черным телом Билли Холидей, меланхолично напевающей «Меланколи беби», белое тело этого великого дудочника раскачивало Америку, превращая 52-ю улицу в Свинг-стрит. А тут еще сладострастник Дюк в паузах между примерками у лучших портных и поеданием мороженого, облизав и спрятав в карман серебряную ложку, присаживался к роялю, врубал оркестр, и весь, кроме нас, мир понимал, что перед ним очередное чудо света.

Это нам с тобою, брат, протрезвев на короткое время, заливался на корнете Бикс Бедербейк; распахнув арбузную вырезку губастого рта на черном глобусе головы, рассыпался, словно по железной крыше горохом, своими «буги-вуги» молодой Оскар Питерсон; топал по педали старенького пианино Джелли Ролл Мортон; секретничал романтический кларнет Арти Шоу; тыкая в клавиши сосисками пальцев, божественно кривлялся Фетс Уоллер; Мец Мезроу со своей пятиголовой «Мюзеттой» шпарил лучшие песенки мира, и Сачмо, отсидев положенное за перестрелку с полицией, оскалив неправдоподобную пасть, смехоподобно лаял после гениального соло. А бессмертный Хенди, очень схожий с тихим помешанным, приподнимал черную шляпу, снимал с лысины носовой платок, промокал сверкающую зубами пожилую свою репу, укладывал платок на место, накрывал снова шляпой — и давай сочинять блюзы, которые будут вечно звучать и в раю.

Обреченные пионерии и комсомолу, мы, брат, могли очень просто схлопотать срок, выкажи явное пристрастие к дробушкам подкованных на передние ноги бродвейских плясунов. Жизнедышащая страсть Томми и Джимми Дорси стала нам дымовой завесой, под прикрытием которой мы улизнули от унижительного участия в идиотских пирамидах, разукрашенных кумачом и бумажными цветочками, пышущих верноподданным идиотизмом и предназначенных ласкать око вождей, топчущихся в свои праздники по гульбищу над страшной мумией своего идола.

Где ты теперь, брат? Я помню тебя, бьющегося, словно птица, подстреленная залпами медной группы Каунта Бейси. Точно не знаю, с каким из оркестров, с Редом ли Николсоном, Билли Меем, быть может, Вуди Германом или Джеральдо работал ты тогда, полвека назад, на остановке трамвая, но поверь — ты был бесподобен. Если ты жив, пусть старость

твою согревают музыкальные страсти покинувших нас черно-белых гениев. Если и ты оставил эту очень грешную землю, тогда пусть пяток имеющих по штату неплохие трубы архангелов нет-нет да и рванут для тебя «Чайна бой» либо «Свит Су».

КОРНЕТ

Мы уходили в степи. Можем вернуться, только если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы...

Из письма генерала Алексеева, Верховного Главнокомандующего остатками русской армии, переименованной в армию Добровольческую. 1918 год.

1998 год. Скоро новый век. Как бывает на рубеже времен, возникли легионы колдунов, ведьм, малограмотных целителей, специалистов по концу света, религиозных истеричек, бесноватых. То тут, то там в образах наглых пророков является сам Иисус Христос. Все чаще слышно: наша цивилизация вот-вот будет стерта с лица земли. Создана будет новая цивилизация, начнется все сначала, и создавшие ее будут не в пример нам умны, совершенны.

И вот, видится вдруг, некий корнет из команды, как полагаю, генерала Маркова. Это вроде у станицы Ново-Дмитриевской, где только что закончилось дело с большевистскими форпостами.

Всю предыдущую ночь лил дождь. Отряд брел по воде с грязью пополам, и пространствам этой хляби не было границ. Рассвело, и пошел густой снег. Задул восточный ветер; тяжелым от влаги снегом забивало глаза, уши, рот. Ударил мороз. Люди и лошади быстро покрылись ледяной коростой; ворот и рукава шинелей резали руки, шеи. Форсирование ручья, превратившегося в бурный поток, отняло последние силы. День кончался, опускалась черная ночь.

— Не дышать же нам здесь, господа! — крикнул сиплым фальцетом генерал. — Друзья, в атаку! Не стрелять! Возьмем их на штык!

Сжимая деревянными руками винтовки, офицеры бросились за командиром к станице. В такую собачью погоду их не ждали, и началась резня. Красных кололи, рубили. И было столько исступления и ненависти в схватившихся намертво врагах, сколько ее в семьях, где еще недавно царилла благополучие, но куда внезапно, смертельно всех отравив, ворвалась гибель. Не бывает такой ненависти к иноземному неприятелю. «Пленных не брать!» — слышалось в ту ночь по станице...

Но вот корнет, одичавший от этой ночной работы, грохнул прикладом об пол и съехал спиной по стене в углу хаты на тряпье, оставшееся после красноармейцев. Он уснул, не имея сил снять фуражку. В магазине два последних, не тронутых в бою патрона. На шинели, неумело пришитые взамен утерянных, две пуговицы со штатского платья. Корнету немногим более двадцати.

Долго ему ничего не снилось. Потом он вдруг подумал: «Если не убьют, скитаться тогда по чужим землям до гроба». Эта уверенность не очень его огорчила. Огорчило же видение ландшафта, словно то был штабной макет для военных игр, на котором имелся пятачок с развевающимся над ним трехцветным флагом. На остальном необъятном пространстве макета клубился желтый туман безумия. От этой картины корнет устал, словно прожил двести лет.

И вот тогда он узрел неслыханно прекрасную, почти обнаженную женщину, и кто-то нес перед нею на руках прелестного младенца. Было тепло, сухо, радостно, лучезарно. Корнет оглянулся: небо было черно, под ним степи Дона и Кубани с гуляющими по ним разбойными вьюгами.

Корнет снова повернулся к женщине, вдруг узнал ее и крикнул: «Мама!» Но она не слышала его. И не видела. Он же понял, что счастливый младенец — это он сам. Но только мать и дитя в начале новой, совершенной цивилизации, а он, закованный в ледяные доспехи промерзшей шинели с висящим на живой нитке погоном с гусарскими зигзагами, не существует. Не существуют и его колыбель, и соловьиное детство, и первое причастие, и обморок первого поцелуя, и верность, и доктор Чехов, и воинская доблесть. Всё словно резинкой стерто с лица земли, как проделывал он сам в недавнем прошлом с неполучившимся рисунком.

ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

К дому подошел человек с большим горбатым носом, изрядно полысевший, с длинными волосами над ушами. Был он сутул, ступал носками наружу. Одет плохо. Он долго рассматривал дом, вернее, остатки дома, заключенные в строительные леса. Вокруг дома поставлен был новый забор из белых досок, пахнувших еловым лесом. Дом имел два этажа, башенку, и на втором этаже по его фасаду зияли двенадцать окон в вычурных, раскрошившихся рамах времен венского модерна. Застекленным осталось одно, тринадцатое, на которое и смотрел горбоносый. На стекле изображен был лиловый ирис в темно-зеленых листьях, выполненный так, что цветок и листья были толще всего остального чуть матового фона.

Человек помнил дом со всеми целыми окнами, через которые истекал в зимний вечер с порхающим снегом мягкий, молочный свет. При большевиках в доме размещалась какая-то контора, как все конторы, отвратительная. Но и с такой начинкой дом был прелестен. И дом этот снился мальчику и во сне виделся лучезарным воплощением мечты. За окнами двигались хорошо причесанные люди в белоснежных халатах. Дом источал запах капель датского короля.

Горбоносый постучал в калитку. Минуты через три калитка приоткрылась, и за нею был старик в поношенной пятнистой униформе, с очками на кончике носа и с книгой, заложенной пальцем.

— Здравствуйте, — чуть наклонил голову горбоносый.

— Здравствуйте, — ответил старик. — Чего вам?

— Этот дом в лесах для реставрации или как?

— Снесут его, — оглянулся на дом старик. — Прежние хозяева землю купили, хотели восстановить, вот и леса поставили. А чего тут восстанавливать? Вон шпана как поработала: окна все расколотили, все внутри загадили, мать их! А нынешним хозяевам так только земля и нужна. Да, снесут его. А вы кто будете?

— Да никто. Просто дом знаю с детства. Люблю его. Но вон видите, одно окно цело. Передайте, пожалуйста, вашим хозяевам, что я берусь для этого последнего витража новую раму сделать. Ну и пусть они в новом доме повесят, что ли, как картину. Ведь красота какая! Я все умею. У меня руки золотые. И денег за труды не возьму.

Старик с интересом смотрел на горбоносого.

— Да кто вы будете-то?

— Математиком был.

— Понятно. А сейчас что кушаете?

— Сейчас работаю на оптушке у Киевского.

— Торгуете?

— Нет, мне торговать нельзя. Клиент будет недоволен.

И горбоносый показал старику тыльные стороны кистей рук, обезображенные псориазом.

— Я черную работу исполняю, — добавил он.

— А я сторожем здесь, — охотно сообщил старик. — К пенсии, знаете ли, прирабатываю. От звонка до звонка оттянул срок за политику. Сейчас реабилитирован, нет, как выяснилось, за мной ничего такого.

— Ясно, — улыбнулся горбоносый. — Приятно было познакомиться. До свидания. Вы скажите хозяевам, я и дерева достану. Извините за беспокойство.

— Какое беспокойство! Приходите, поболтать будет с кем.

— Вряд ли, — возразил горбоносый, — я неразговорчив.

Хозяева не только согласились, но завезли хорошего материала, и горбоносый теперь каждое воскресенье с утра до вечера строгал и стучал молотком. Заходил старик сторож, смотрел, трогал почти готовую раму, цокал языком.

— Вы б в Израиль-то ваш укатали отсюда. Там бы и подлечились заодно, — говорил он сочувственно.

— Нет, — отвечал горбоносый, — я уже умер здесь. А покойники, как известно, в Израиль не ездят.

— Чудак вы, ей-богу, — вздыхал старик и шел в свой ящик читать роман.

В предпоследнее воскресенье работы с рамой горбоносый подходил к дому, и дорогу ему преградила женщина. Одета она была во что-то шуршащее, невероятно дорогое. На плече на длинном ремешке висела туго набитая кожаная сумочка с золотым замком. Сложена женщина была изумительно. Горбоносый с каким-то ужасом увидел все это в единый миг и опустил глаза.

— Ну, здравствуйте, — пропела женщина и отступила в сторону, давая горбоносому дорогу.

— Здравствуйте, — не поднимая глаз, прошептал он.

Весь день, заканчивая раму, он думал о преградившей ему дорогу. Пальцы его дрожали, он сделал несколько неверных движений, уронил на ногу молоток. В красивом лице женщины он успел уловить нечто вульгарное, и это огорчало его. «Хотя мне-то что!» — успокаивал он себя.

Последнее воскресенье было очень теплым, солнечным. Горбоносый вставил в новое обрамление витраж и сел любоваться. Показался сторож и сказал:

— Вот, к вам.

За ним влетела та самая женщина. Сторож ушел.

— Здравствуй! — произнесла она, подходя к горбоносому и помахивая сумочкой. — Присесть можно?

Горбоносого покорило это неожиданное «ты».

— Здравствуйте. Садитесь. Но сесть тут, кажется, не на что.

— А вот ящик. Сюда и сяду, — ответила она весело и, бросив на доски сумочку, уселась, шелестя просторным красным плащом; воздух наполнился густым, каким-то яростным ароматом духов. Горбоносый покосился на ее круглые, в сетчатых чулках колени.

— Красивый ирис, — сказала женщина и предложила: — Закурим, что ль?

— Пожалуйста, курите. Я не курю.

Она прикурила от золотой плоской зажигалки, крепко затянулась, выпустила, как дракон, густую струю голубого дыма и опять обратилась к нему:

— Слушай-ка, ты можешь серьезно отнестись к тому, что тебе скажу?

— А откуда мне знать, что вы скажете?

— Ты веришь в параллельные существования?

— Ну, допустим.

— Это хорошо. Так вот, в параллельном существовании этот дом — аптека.

— Допустим. И что?

— А то, что хозяева этой аптеки ты и я. Вся Москва ездит к нам за лекарствами. Вон там, — указала она пальцем, — провизорская. Вот тут — прилавок. На нем такие интересные сосуды на медной подставке, и она

вертится. В сосудах сиропы: и красный, и оранжевый, и зеленый, и синий. Ты все напридумал, сиропы эти. Ты химик.

— Я математик.

— Нет, ты потрясающий химик. И сиропы эти все целебные. Поэтому у нас не протолкнуться.

Лицо горбоносого стало белым, неподвижным.

— Это вам снилось?

— Да нет, снится это вот, где мы сейчас сидим. Где ты безработный псориатик...

Он втянул в рукава пятнистые руки.

— А я подстилка под иностранцами и живу на то, что зарабатываю телом. Сон — это где мне бьют морду, а не то, где я счастливая твоя жена.

— Что?!

— А то! Не снится та аптека, не снится. А я все ловчу туда насовсем. Пусть не в качестве жены, хоть поломойкой. Однажды дошла тут до края, вот смотри — шрамы. Откачали, сволочи. Да еще все хотела тебя встретить, посмотреть, какой ты тут. Вот, увидела.

Они долго-долго сидели, глядя друг на друга.

— Что ж теперь делать? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она.

СЛОВО КОРОЛЯ

С противоположного берега громко свистела иволга. На вершинах черно-синих скал белело снежное кружево, мох украшал серые и розовые валуны, на одном из которых я сидел. Солнце нагрело сосны, и они истекали густым ароматом в прибрежную прохладу. Маленький желтый биплан на поплавках отражался, как в черном зеркале, в хрустальной воде. Воздух прозрачен настолько, что далеко-далеко, у выхода из фьорда, пересчитать можно было серые доски на стене кирпичи с медным шпилем и видимы были цветные занавески в окнах нескольких белых домиков под черепицей.

Желать родиться там, где угораздило родиться меня, — безумие. Там бессмысленность добрых побуждений обязательно сокрушает смирение. Я там достаточно прожил, положенное мне пережил, многое видел, многое полюбил, смертельно устал от постоянного самоутешения: «Другим здесь неизмеримо хуже, чем тебе».

Не вернусь! Встал и принялся искать в скалах место покруче. Нашел, взобрался и стал на краю. И с отчаянием падшего ангела собрался швырнуть к ногам Господина Его бесценный дар, но не просыпаться.

Господин появился из-за скалы. Он двигался по тропинке, был в теплом кепи, твидовом спортивном пиджаке и в коротких, до колен, брюках. Далее были толстые, с северным узором, вязаные чулки и на солидной подошве башмаки. Лицо Господин имел худощавое, с подстриженной щеточкой седых усов. Господин был королем этой страны.

Приблизившись, король заговорил, и я, как это бывает во сне, все понимал.

— Ваше отчаяние неуместно. Усталость ваша не столько от жизни, но от самого себя. Вам нужно немного отдохнуть. И насколько я информирован, ваши труды не окончены, а любое дело требует завершения. Как вы полагаете?

Я немного подумал.

— Мне нечего сказать, — угрюмо пробормотал я.

— Мы люди пожившие, — продолжал король, — но все же погибать от отчаяния обидно. Вы вечно торопитесь, я полагаю.

— Ваше величество, простите, что для своей акции я выбрал территорию вашего величества. Всю жизнь я стремился в этот рай, и возвращаться после всего этого, — я обвел рукой горизонт, — я не в силах.

— Благодарю за такое мнение о моей стране, но вот послушайте!

Король кашлянул, приподнял плечи и скрестил за спиной руки:

— У меня к вам предложение. Давайте вовсе оставим ваше предпринятие, так как оно сейчас нам помеха, и только. Возвращайтесь в вашу неприглядную явь, немного потерпите, и я через департамент иностранных дел пришлю вам приглашение. Поживете где-нибудь здесь среди природы, поработаете, пропитаетесь Григом, Сибелиусом, полистаете Гамсуна да Стриндберга — и глядишь, ваше отчаяние испарится. По рукам?

И король протянул мне ладонь. Я с готовностью принял рукопожатие, но возразил:

— Да ведь так не бывает, ваше величество. Я сейчас проснусь, и счастье встречи с вашим величеством рассеется вместе со сном.

Король слегка нахмурился:

— Ну знаете, сударь! Вы там, в вашей России, совсем разучились быть вежливыми. Король дает вам слово, а вы изволите сомневаться!

Я смутился:

— Простите, ваше величество.

Монарх взял меня за локоть, и мы тихонько двинулись среди мхов. О чем говорили дальше, не помню. Проснулся в слезах.

Но не судьба мне ощутить благодатную монаршью волю: на третий день после чудесной встречи во фьорде, где рядом с желтым бипланом кружили по ледяной воде два черных лебедя, я прочитал в газете о скоропостижной кончине короля. Телевидение показало траурную мессу и политическую верхушку планеты, слетевшуюся проводить моего знакомого.

Через некоторое время я немного успокоился. Я надеюсь хотя бы еще на одну встречу с Его Величеством, мне необходимо поблагодарить его за избавление от нетерпения.

ЗИМА В СЕВАСТОПОЛЕ. 1981 ГОД

Волна грохочет крупной галькой и затопляет берег. Шквал срывает с волны гребень и превращает его в облако брызг. Утонула бухта, вода появилась в улицах Херсонеса, замерла, поползла вспять, оставив лужицы с тающей пеной.

Ветер не дает дышать. Сощуясь, смотрю на сбывшуюся мечту: вот мой Пергам, вот Афины мои. Я благодарю Судьбу, позволившую стать мне на розовом, источенном временем пороге базилики у начала пути на Лесбос, Крит, Итаку. Горечь соленых брызг то же, что горечь сока оливок, созревших на берегах пропавшей в Эгейском море Аркадии. Закрываясь от ветра,двигаюсь я вдоль останков стен, но глаза хотят видеть другой город, полный людского гвалта и скрипа снастей в бухте, истошных воплей чаек над базарной площадью, рева ослов, бляения длинношерстных коз.

Запахи вина, и жареного мяса, и подгоревшего масла.

Жрец, и пахнувшие казармой воины, и дети, и в тени кипариса занятые бесконечной беседой старики, и вор, и две бранящиеся через улицу старухи, и местный дурачок.

Мраморная Афина, и журчание фонтана на изящной маленькой площади, и осколки только что разбитой амфоры на мозаичном полу.

Лязг молота из кузни, и оброненная в щель лепта, и раздавленная кисть винограда.

И вдруг заставивший меня вздрогнуть взгляд. Боже, ведь это не она — призрак, а я, вторгшийся в жизнь пристально глядящей на меня красавицы! И я спешу исчезнуть в будущем. Унести с собой видение города, день за днем чуть заметно опускающегося в пучину.

Тихие долины за Байдарами. Вечернее небо светится золотом. Скалы в розовой дымке невесомы. Сейчас время, когда все кругом замерло и нежится перед тем, как впустить стремительную южную ночь.

Старая севастопольская дорога петлями спускается с перевала. Уж проросла она колючей травкой. Вьюнок выполз из густых придорожных зарослей на потрескавшийся асфальт. Дождевые потоки разрушили обочину.

Век назад здесь стучали колесами экипажи, слышался татарский окрик возницы и цокот по гравию подкованных копыт. Быть может, в такой же вечер блеснул однажды в лучах заходящего солнца золотой погон артиллерии поручика графа Толстого и замерла в предзакатной тиши фраза, произнесенная по-французски...

Застучала машина, и большой белый номер на стальной стене корабля начал отдаляться. Пенная волна пошла, выгибаясь, за корму. На затрепетавшем вымпеле уж неразличимы цвета: быстро стемнело. Тепло. Вот-вот опять пойдет дождь.

Я устроился на *юте*, значит, сзади катера и держусь за *леер*, то есть трос, заменяющий перила на судне. Ко мне ближе *штирборт* — правый борт. Следовательно, напротив — *бакборт*, левый борт. А там, где морячок крепит багор, которым отталкивался от причальной стенки, там — *бак*, перед нашей посудыны.

Носы кораблей obsługi проплывают над головой. В них что-то тихо лязгает, стучит по обшивке. Огни на кораблях и на берегу без ореолов, яркие. С «сотки» семафорят. Ей отвечают у *бон*. Красный маяк мигает в морскую ночь. Далеко в сопках большие створные огни, белый и красный.

Накрывшая землю ночь тиха и влажна. Но воду в Ахтиаре, как давным-давно звалась Севастопольская бухта, раскачало. Поэтому смиренное, темное, темнее неба и воды, тело артиллерийского крейсера, стоящего на бочках посреди воды, переваливает с боку на бок...

Вокруг меня черное. Чуть желтеют нарукавные шевроны, буква «ф» на плечах матросов и просветы офицерских погон. Блестят ряды пуговиц, поблескивают стволы автоматов, вспыхивают огоньки сигарет. Матросов везут патрулировать город: они — ночная стража. Стоим тесно. В болтовне царит южнорусское мягкое «г» и очень открытое «а».

— Где у них? Не, у них на пароходе другая. Она-те яйца всмятку сбивает. У нас не такие.

Речь о скорострельной зенитной установке и частоте отдачи при ее стрельбе.

— А ваши что, слабее?

— Не, почему? От наших, если плюнет, так все кончается.

Войны нет, и ужасное оружие не пугает, будто складировано на Марсе. Навстречу, с Графской пристани, мягкий свет фонарей-шаров. Катер несильно ударился о стенку, и запрыгали на причал черные фигуры.

— Стройся давай!

Голос лейтенанта мягче, чем на корабле; оно и понятно — патрульная служба что-то вроде отдыха или развлечения.

— Кому говорят, стройся!

На вольном воздухе матросы и командир скорее ровесники, чем начальство и подчиненные.

— Вы давайте с оружием аккуратнее.

И в ответ:

— Ла-адно.

Покатый, матовый, залитый резиной бок уходит в холодную волну. Безвольные комки медуз покачиваются в радужных пятнах мазута. Если тронуть поручень, стену рубки, на пальцах останется чуть заметный масля-

ный след. Кажется, масло въелось в лица, шинели, ботинки, в оранжевый жилет часового у трапа — маслом пропитан окружающий «наутилус» воздух.

Истерический всплеск ревуна от скользящей, крадущейся к пирсу подлодки. Навстречу ей по причалу серыми чертями матросы в широких робах бегом, бегом толкают тележку. На тележке торпеда: красный ее нос плывет сквозь мутный влажный день навстречу подошедшему под погрузку черному подводному кораблю.

— Закурить найдется?

Спрашивающий флотский похож на сторожа при больнице, такое на нем все бывшее в употреблении, застиранное. Гюйс поверх робы что отслужившая тряпица. Только с бескозыркой порядок, кокарда замята уголком, сияет. В проеме ворот, откуда флотский возник, видны ряды столов и на них безжизненные, окоченелые тела торпед. Крепежные устройства ухватили винты, будто ноги у них связаны на всякий случай. Ну и холод здесь собачий! Точно в прозекторской.

— А две можно?

— Можно.

— А три?

— Да кури на здоровье. Слушай-ка, сынок, а не взлетишь со своим хозайством? От огонька-то?

У стража слабая улыбка неуверенного:

— А я тихо подымлю.

— Спички есть?

— Это имеется.

Господи, как ему домой-то хочется! Держись, морячок! Истинно, истинно говорят на флоте: «Матросу не может быть холодно. Он, конечно, может дрожать. Ну а раз дрожит, значит, согревается».

Беспенная волна вливается в нагромождение камней, изъеденных прибоем. Прокравшись к берегу невидимыми пещерками, волна истощается, бросив из темного отверстия горстку брызг. Тонкие лезвия рыб мерцают в богатой шапке коричневых водорослей. Белокаменное дно трепетно под хрустальной водой.

На мелководье крутится нырок, подпрыгнув, пулькой пробивает волну и появляется вновь в неожиданном месте. Далекая темная стая бакланов закрутилась в спираль, с шумом опустилась на темно-синюю гладь и слилась с нею. По линии горизонта, чуть видимый в дымке, дрейфует крейсер и кажется бесплотным, как оброненное чайкой перо.

С берега прокричал петух. Над обрывом, в светящемся эфире, розовый верх античной колонны с приникшей к ней, роняющей золотые хрупкие листья зимней лозой. Благодатное тепло напитало камни и отцветшие травы. Робкий голос низко порхающего жаворонка способен смягчить самое злое сердце.

Ведь должен же где-то здесь остаться хоть какой-нибудь след ступившего с корабля на землю Корсуни первозванного Мессией в ученики рыбака Андрея, после сошествия на апостолов Духа Святого принесшего нам, скифам, Божье Слово!

Адмирал сутул. Сюртук чуть велик: это видно по складкам и длине рукавов. Брюки коротковаты. Прозаические ботинки совсем не сочетаются с канительной эполет. На голове мичманка. Острый нос над усиками, брови нахмурены: адмирал строг. Бывает так, что хорошие люди выглядят нелепыми, когда на них пышно: ленты или ордена, золото-серебро, шпаги или перья. Павел Степанович Нахимов был очень хорошим человеком.

Но когда мундир обтягивает грудь, с плеча, из-под вице-адмиральных орлов крутою дугой — генерал-адъютантский аксельбант, когда белый «Георгий» у горла, а ниже броня из бриллиантовых звезд и крестов — это

тоже прекрасно! Лоб у Владимира Алексеевича Корнилова чист, без морщин, светлые глаза пронзительны, властны.

А вот почти рядом два клочка земли — здесь, на Малаховом кургане, оба они пали за Отечество.

Прощай, белый город! До предела земного пути буду с любовью вспоминать тебя.

Придет время, и станут терзать тебя набухшие кровью междоусобицы. Опять люди, ненавидящие Слово Божье, готовы будут пригвоздить принесшего сюда Слово это Первозванного Апостола. И будет сниться мне, как там, где Гнилое море, треснет твердь и, оторвавшись от материка, под тяжестью гор и греха зароется мысом Сарыч в пучину. Быстро, как «Титаник», скроется она под водой. И я содрогнусь, увидев поднявшуюся корму полуострова, показавшего, прежде чем исчезнуть навсегда, страшный свой испод.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ДЮМА

Пришлось расстаться и с калмыцким князем, сестрой калмычкой, с калмыцкими придворными дамами.. Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом!..

Из письма Дюма-отца Дюма-сыну.

Александр Дюма привиделся сон. Будто бы высоченная колокольня, что в Калязине, торчит наполовину из воды, а он, Дюма, плывет мимо в ковчеге. Ковчег переполнен калязинскими жительницами, провожавшими его недавно в путь по Волге. Дамы держат кружевные платочки и большие букеты полевых цветов. Дам очень много, причем каждая имеет двойника, и большая эта толпа, составленная из странных пар, глядит на него восхищенно и гуляет вокруг него по ковчегу. Спящий знает: от перегрузки ковчегу утонуть.

Дюма открыл глаза — и приятный кошмар кончился. Полная луна сияла за окном. Ветерок шевелил стору. В темном углу белела комнатная роялино и на ней саксонская ваза с белыми пятнами роз. В складках шелковой простыни мелкий, как пыль, песок. Какие-то необъяснимые звуки жили в стенах деревянного дворца.

Дюма понездоровилось. Он стал плох после ужина, тянувшегося целый век. «Надо дать обет и, черт возьми меня, следовать ему в конце концов!» — выговаривал себе Дюма. Но тут же представилось видение блюд с божественной рыбой, малосолевой икрой, начиненной черепахами лошадиной головой, нежной жеребятиной с луком. Захотелось есть. О Господи!

Позавчера он наблюдал скачки на верблюдах, уморительную борьбу полуголых верховых, восторгаясь, шумел, аплодировал. Любопытные навывкате глаза его жадно вбирали видимое, но устроенный в его честь праздник завершился опять обедом, позавчера незаметно превратилось во вчера, и он все слушал хозяина, объяснявшего присутствие ордена святого князя Владимира на роскошном халате как следствие сокрушительных рейдов ханской конницы в наполеоновские тылы. Слушал и ел...

Потом он наслаждался кофе и ворковал с юной ханшей, сидевшей за бродери и изъяснявшейся с ним на калмыцком языке. И все поглядывал он на прелестный завиток над шафранной щечкой или блуждал взором по французским, пробитым пулями знаменам, украшавшим вместе с дорогим оружием и персидскими коврами довольно изысканные апартаменты. И он не виноват, что обед незаметно перетек в ужин, а он этого не заметил, ибо его развлекли. В результате он вынужден не спать и страдать от кал-

мышьего гостеприимства. А позади московские пироги-кулебяки! А впереди Кавказ! Однако, немного еще пострадав, знаменитый мученик решил: «Ах, не в этом же дело!»

В ханских покоях трофейные часы сыграли гавот. Так и не уяснив себе, в чем же все-таки дело, Дюма решительно поднялся с ложа, приготовленного, как и все спальные места во дворце, на полу. Его притянуло окно и луна за ним. От далекого левого берега реки лежала на воде светлая дорога. На пути сияющей трепетной полосы как бы дымились песчаные острова: это неутихающий здесь никогда горячий ветер гнал по ним пыльные смерчи.

Оглушительные цикады наполняли ночь. Небо было низким от неправдоподобно близких звезд; здесь их было в тысячи раз больше, чем в небе Парижа. Дюма поднял к звездам лицо, и оно стало неузнаваемым. Могучая фигура в балахоне ночной сорочки, с лохматой со сна головой до рассвета белела в черном проеме окна, словно алебастровая статуя героя, поставленная в нишу.

ТЬМА

На тонком снегу черная цепочка следов по безлюдной площади к безлюдной остановке трамвая...

Маршрутом тридцать первым отправляюсь в огромный, как замок, столетний дом, с фасада показывающий мрамором отделанные подъезды, над венецианскими окнами статуи рыцарей, в мрачных же дворах весь год сырость и почерневшие от невзгод тяжелые двери черных ходов, откуда сочатся запахи: едкий кошачий и еще какой-то иностранный хуторской, как в бедной мызе, завязнувшей посреди болотистых курляндских равнин. В этом замке на Петербургской стороне посижу за прощальным столом, поблагодарю хозяина за ночлег, выпью с ним посошок, дорожную суму на плечо — и домой, в свою Москву.

Трамвай пришел, и был он пуст и светел. Сев у окна, я видел, будто из иного мира, свои следы через площадь. Сдвинулись с места и стали отдаляться и Мариинка, и консерватория...

Проехав недолго, мы стали. Свет в вагонах померк. Справа глыбой мрака высился Исакий. Слева чернел на белом снегу сад у Адмиралтейства. Тьма вдали была туманной, и в ней растворялся Невский с бедными огнями реклам. Пустынно было в прежней столице.

Растворив двери для желающих выйти, барышня-водитель, не видя в темноте помехи, стала глядеться в зеркальце над водительским местом и охорашиваться. Извечное обывательское раздражение непорядком, вспыхнув, вдруг сникло, и настала странная тишина с порхающим снегом и красными стоп-сигналами машин, отражавшихся в мокром асфальте. Помедлив перед мигающим светофором, машины поворачивали налево и пропадали на черной Дворцовой площади.

Долгое и непонятное стояние стало творить чудо. Что-то благожелательное внезапно приподняло повседневную тяжесть, и, глубоко и радостно вздохнув, я осмотрелся. И вдруг почувствовал благожелательность и красоту тьмы. Почувствовал, как наравне со светом она превращает жизнь в объемную, стереоскопичную. Внезапно испарился постоянный и необъяснимый перед тьмой страх. Как будто пришло нежданное избавление от занозы, о которой забыл, привыкнув к ее мучительному присутствию. Какое-то странное блаженное томление поднялось к сердцу из темных допотопных глубин. Больше не хотелось никуда ехать.

Но вот свет зажегся, трамвай тронулся и уж стучит через Неву. За бесконечным для москвича мостом потянулись ущелья улиц с редкими прохожими, исчезающими в темных подворотнях. Подобные теням от обла-

ков, плывут в этих улицах петербургские воспоминания и слышатся звуки, ныне невозможные. Вот экипаж, а в нем ветхая, в бархатном салопе барыня и рядом молоденькая компаньонка, прижимающая к душистой муфте китайскую собачку. В ущелье меж высоких стен мечется гулкое эхо от перестука подков. Железные шины колес с красными спицами высекают голубую искру из дорожного булыжника. Многопудовые зеркальные двери особняка отразились в лаковом экипаже, и показали спины два ливрейных лакея на запятках.

Ночь, улица, фонарь, аптека...

Большая поэзия таинственнее самой жизни. Составленные поэтическим вдохновением в определенный ряд, повседневные слова будят в вас другую жизнь. Губы шепчут строфу, и слова, как иней под ладонью, иставивают и проливаются каким-то другим смыслом, не поддающимся, словно музыка, объяснению. И тогда что стоит весь земной опыт, когда духовное око, прозревшее через звучание стиха, вдруг увидело вашу жизнь до ее начала и после ее окончания!

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

На повороте трамвая визжит колесами, осыпается рождественскими искрами. Я поднимаю глаза и вижу потолок высокой комнаты в доме, линкором надвигающемся из тьмы. На зеленом потолке раскрашенная лепнина с рогом изобилия и рассыпавшимися из него цветами и плодами. Приятный свет от невидимого светильника разлит по яблокам, грушам, гроздьям винограда, розовым бутонам и тропическим бабочкам над ними. Мне чудится, как там кто-то седой, в ветхом, но чистом платье негромко и хрипловато читает кому-то из Бунина...

Я гляжу на уплывающее окно так, будто за ним решается моя судьба.

ОЧИ ГОЛУБЫЕ

Адам Олеарий¹ поел телятины, меда и сметаны, запахнул шубу — и вот уж стучит каблуками по сходням, оставляя на них отлипающий от подошв прибрежный песок. Он покидает твердь ради великой реки, давно вожделенной.

Северный ветер треплет синие волжские воды, вынуждает слезиться немецкий глаз. Руда шибко бежит по жилам: ровно годов десять с костей скинуло, и Адам полагает, что это его красные дни.

Отвалили, пошли помалу на низ, волна шлеп да шлеп о борт. Навстречу барки, расшивы, коноводки. С луговин той стороны груженные сеном паузки. Уйти надо подалее — тише станет на воде. Проплыли крайние амбары да складки на берегу. Ватажка беспортошных отроков мечет голыши вослед стругу. Замочив лапы и отскакнув от волны, резво брешет на Адама клочкатый пес. Еще пахнет стружками, дегтем...

Позабыв родину, смотрит Олеарий вокруг, вертит любопытной головой в развалистой шапке, наблюдает разнообразные движения природы, и сердце его наливается алчностью пииты. О эти черные елки на прибрежных верхотйнах и застрявшие в них первые падшие листья берез! О бодрый утренний бег ладьи! И эти бородатые, потребляющие много лука, добродушные в роковом круге своих несчастий москвиты!

¹ Адам Олеарий — немецкий путешественник, посетивший Московию с голштинским посольством в XVII веке, автор труда о своем путешествии.

Вот уж колокольня опустилась за угор, а ветер все доносит до ноздрей Адама запах дымов покинутого града, тому три дня еще не бывшего в наклеенной на плотный гамбургский холст дорожной ландкарте, теперь же отмеченного там невеликим пятном. И подробная опись существу в том граде им произведена. Среди прочих важных наблюдений местоположения, фортификаций, занятий населения и подъездных путей сделал он отметку о деле, сказать о коем положил знающим своим купцам и за то с них комиссию взять положил тож. Сие было б справедливо, ибо, устремись кто из купцов в эти места, дешево взятый здешний товар, в обилии производимый, оправдает все их путевые лишения.

Олеарий приходил наблюдать производство сего продукта, схожего с белою пеной, когда творят пену морские волны. Белое то чудо проистекало от мест, где целые рощицы иголок произрастали из холмиков подушечек. Адам всматривался, имея от созерцания быстрых пальцев тонкое наслаждение ценителя художеств, когда душа полнится благодарностью, а грешная плоть обретает приятное тепло и легкую слабость.

И услышал он негромкое «ах!», и увидел каплю, ягодкой взбухшую на пальце, нечаянно уязвленном. И пропала та ягодка в алых губах златовласой юной славянки. Тогда Олеарий глянул в глаза ее, к нему обращенные, и они были что цветки, виданные им в лесных низинах или у родников. В путевой книге Адама, в графе кормовых расходов по пропитанию, возникла запись о подношении одного золотого талера...

Теперь мнится Олеарию яркий румянец на пухлых ланитах оставленной девы, а также то, как, вернувшись, Бог даст, живым под родимую кровлю, он опростает дорожный сундук и вынет напоказ со дна приятный глазу и сердцу гостинец — тонкое кружево из дальнего, словно планета Сатурн, русского поселения Балахны.

ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Дни и ночи полны знаков.

Знаки, постоянно переполнявшие тяжелое существование, отступили. Мнение о звезде как о несчастливой однажды оказалось ошибочным. И хлынули, смывая наледь привычного, горячие, радостные вестники незнакомой жизни.

Дни и ночи наполнились гармонией и приязнью.

Над дальним лесом густеет марево и делается тяжелой синью. Зной дрожит над цветами. Горячий день звенит пчелами, благоухает мятой, полынью и свежим сеном.

Оса вязнет в остывающем малиновом варенье...

Извивается и, извиваясь, кланяется в речной струе черно-зеленая водоросль. Солнечные пятна играют на песчаном дне: там вдруг рассыпались, сверкнули и погасли мелкие рыбешки и скользнула тень большого окуня.

Курица снесла яйцо, раскудаhtалась, никак успокоиться не может...

Из колодезной тьмы выплывает полное танцующей воды ведро; так холодна и чиста вода, будто и нет ее вовсе.

Кто-то чернику просыпал у дороги.

А над головою от трав до Божьих чертогов облако, и оно будто гора, покрытая вечными снегами.

Целый день ворчание далеких громов; их музыка заставляет оставить все заботы и слушать, слушать, слушать...

Вечером солнце зальет землю медовым светом. Потянутся от всего, от самой малой травинки, длинные тени. Вечернее сияние покатится животорной волною и омоет от дневного жара каждый листок. Оно коснется

души, и та вспомнит вдруг покинутую, страшно далекую свою родину. И, вспомнив, как была крылата и не причастна к земным бедствиям, забьется и заплачет...

Но потом успокоится, и золотое облачко в прозрачном, покинутом солнцем небе долго еще будет отражаться во влажных ее глазах.

А потом опустится пахнувшая яблоками темная ночь, и с мирных небес в земные туманы упадут стремительные августовские звезды. Засветится сквозь черное кружево листьев желтое окно. И сверчок, знак вечного, неспешно текущего бытия, будет петь до рассвета...

Всего несколько дней прошло, и над окоемом появилась звонкая лазурь. Созревшие, ставшие плотными облака тронулись в свой нескончаемый путь. Они плывут, белые, одно за другим в холодной синей высоте...

Северный ветерок шумит еще зеленой листвой, и песнь листвы и ветра будет знаком Вечности, заставившим затрепетать тронутое предчувствием сердце.

Жаворонок, робко вскрикнув, выпархивает из придорожной травы. И вот одни кузнечики звенят, да, кружа в облаках, плачет коршун...

О, какая радость, непонятная, странная радость прощания нынче на дороге! Это та самая дорога, о которой с ненастоящей печалью поется в юношеских стихах. Но юность не верит в ее реальность. А дорога теперь — вот она, под ногами.

Пробил час, и по ту сторону затихающего удара стал виден предел. Сколько бы ни прожил ты после того часа — все будет не много. И уж не позабудешь того, что ты счастливцев, ибо есть у тебя еще бесценные твои, только твои счастливые дни...

НЕОФИТ

— Я как делаю? Я на балкон выхожу помолиться. Перед кушаньем. Только начнешь молитву творить, тут ангел мой хранитель и говорит: «Володь, ты Господа всуе-то не поминай. Иди так кушай».

— А вы ангела видите или только слышите?

— А тебе это зачем?

— Ну как же, выходит, вы без молитвы трапезничаете, без Божьего благословения.

— Да что ты в этом понимаешь, в Божьем-то благословении?

— Вы, Владимир, кем были при соввласти?

— Тебе что, статью про меня заказали?

— Да Бог с вами, какую еще статью! К слову спросил.

— Ну, общественником.

— Кем-кем?

— Общественником.

— Что-то о такой профессии я никогда не слышал. А пили?

— Ну, пил.

— Лечились?

— Что было, то прошло. Важно, что теперь. А теперь я по Писанию живу. Мне на этот мир теперь наплевать. Я обязан свою жизнь бдить. Потом скончаюсь. Очнусь в Ерусалиме. А не в Египте, как ты.

— В Египте одни нехристи окажутся?

— Да, такие, как ты и ваши пастора.

— Кто-кто?

— Ну, священники ваши езуитские.

— Понятно. А это в Писании вы нашли, что мир ничего не стоит?

— Где ж еще? А чего в нем? Одна суета. Людишки суетятся как полумные, когда надо пробиваться в Царствие Божие.

— Думаете пробиться?

— Да ведь я не грешу. Я как живу? Я днем посплю, а ночью святых отцов штудирую. Как устану, ко мне Христос является.

— Не может быть! Сам Христос?

— Сам. Все по буквам разобъяснит, все по полочкам разложит.

— Что-то не верится.

— Тебе этого не понять. Он меня и млеком, и твердою пищей питает.

— Млеко у Него что, в бутылке или в пачке?

— Издеваешься?

— Упаси Боже! Но интересно ведь...

— Как тебе это все понять? Как тебе понять-то такое? Понять-то ты сможешь такое, да сначала тебе умереть надо, чтобы понять такое!

— Вот те раз! Я умирать не собираюсь.

— Тогда тебе нечего соваться в это дело! За тебя и молиться-то бесполезно!

— Да неужто я такой безнадежный?

— А какой, надежный, что ли?

— Ну, будет, Володя, не сердитесь. Мне правда интересно, как вы с самим Христом общаетесь.

— Как общаюсь — я спрашиваю, Он отвечает.

— Это Он вам сказал, что людишки в этом мире ничтожном зря суетятся?

— А кто ж еще?

— Ну а если рядом с вами в этом никчемном мире ваш ребенок от боли корчится? Как тогда?

— А у меня детей нету.

— Понятно. Ну а вдруг это не Христос с вами говорит, а Его, как бы это сказать, противоположность? Ведь сказал Христос, мол, берегитесь, чтобы не прельстил кто. Он ведь предупреждал: многие придут под Его именем и внушать будут, мол, я Христос, я Христос. И многие, если помните Евангелие от Матфея, прельстятся. А вдруг что-то в этом роде и с вами происходит?

— Вдруг, вдруг! Вдруг бывает только пук! Мне с тобой неинтересно. Ты в религию не веришь.

— А зачем в религию верить? Верить нужно в Бога.

— Ну, понес! А все оттого, что в рай тебе не попасть. Ты ж вылитый басурманин. Вроде мусульмана.

— А вдруг я еще хуже мусульманина — скажем, индеец какой-нибудь откуда-нибудь из сельвы...

— Откуда?

— Ну, из латиноамериканской тайги...

— Вот, вот, вот, те только с индейцами. Знаем вас, католиков. Только отвернись, вы вашего папу нам на шею. Вместо патриарха-то нашего.

— Бог с вами, Володя, я в православной вере крещен.

— Так эт полдела! И твоего индейца охмурить можно. Да нужно сначала обрести Господа нашего Иисуса Христа в сердце своем.

— Это вы правильно.

— Правильно — неправильно, да где Он в сердце твоём? То-то. Это ты своим индейцам заливай.

— Грустно как-то, Володя. Это сколько ж душ на земле ежедневно погибает.

— Веселого мало.

— А вы не в курсе, сколько спасается? Ну приблизительно.

— Да немного.

— Ну сколько?

— Тебе как, в процентах, что ли?

— Хотя бы в процентах.

— Ну не знаю, процентов десять, пожалуй, наберется.

— А вы сейчас не пьете, Володя?

— Тебе чего от меня надо, балабол?

— Не обижайтесь. У меня нечаянно вырвалось.

— За нечаянно бьют отчаянно. Да мне на тебя нельзя злиться. Потому ты мне брат во Христе.

— Как это во Христе?

— Да очень просто. Мы с тобой в одной коммуналке прописаны, так? Так! Куда от тебя денешься? Вот и приходится терпеть. К тому пес ты знает, может, одумаешься. А тогда все едино в одной тусовке Бога будем славить. Чего ржешь?

— Извините, Володя, странно от вас слышать слова из нынешнего собачьего жаргона.

— Ты чего привязался, сукин сын? Ступай прочь! Мне вечерю нынче стоять, поспать требуется.

— Вечерню, Володя, не вечерю. Вечеря — это у Христа со ученики.

— Ты смотри, грамотей какой! А знаешь, что Христос Иуде сказал?

— Что?

— Лучше бы тебе, говорит, на свет не родиться. Понял?

При Сталине мой бывший сосед начинал «топтуном», то есть секретным агентом, при любой погоде досматривающим за стадом обывателей. Он топтался в бесконечных оцеплениях вдоль трассы, по которой несся бронированный лимузин с очередным кремлевским хозяином. Он старел, тайно лаская в кармане драпового пальто эбонитовые накладки на рукояти пистолета. Несколько пар калош истоптал. Служил исправно, заработал пенсию и болезнь ног.

И вот кремлевские хозяева объявляют, что-де времена переменялись, облачаются в вывернутые наизнанку одежды, и нате вам, наш бывший агент в мгновение становится, как он утверждает, «келейным монахом», дико ненавидящим все якобы посягающее на его правую веру. С Христом запросто. Ангелы у него чуть ли не на посылках...

Господи, что же с нами всеми дальше-то будет?

НЕ ОЧЕНЬ ВЕРУЮЩИЙ АНГЕЛ

Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога...

Быт. 22: 12.

Пятясь в горку, я держался за плетень, сколоченный из живописно кривых слег. Передо мною возлежала колоссальной протяженности долина, и я обозревал отсюда, с гребня пологого возвышения, ленты лесов на горизонте и за ними следующие ленты лесов. Русла извиляющихся речек, отмеченные зарослями ольховника, сжатые хлебные поля, изумрудные скатерти озими, ленты дорог, переходящие в улицы деревень, — все играло и менялось под бегущими по земле пятнами солнечного света. Высоченные облака надвигались с севера и тащили за собою бескрайнюю серосинюю тучу. Туча достигла Иосифо-Волоколамского монастыря, монастырь вспыхнул белыми стенами и поблек; одеяло дождя накрыло монастырь, и он стал невидим. Еще свадебной свечью виделась колокольня церкви в Язвище, еще солнечным лучом возжигались окрест нее пятна плачущей листопадом осени.

«Вот и дожил я до старости. Иду своими ногами. Держусь за плетень своими руками. И главное дело, точь-в-точь как в отрочестве, чуть не сво-

дит меня с ума расточительная, неизвестно зачем созданная вот эта красота. Выходит, жизнь удалась».

— Ай не налюбуйсси? Вот те Бог отломил — глазом не съешь. Чем эт Ему угодил?

Я отпрянул. Чтобы не упустить хотя бы малость из природного действия, я все шел и шел спиной вперед и на кого-то натолкнулся.

— Чего спужалси? Ангелов не видал?

Говорил крылатый мужичок, костистым задом расположившийся на верхней перекладине плетня. Лицо с розовым носом, крестьянское. Уши большие, прозрачные. На теле когда-то не то желтый, не то оранжевый хитон. За спиной два прямо-таки театральных, поистаскавшихся по гастролям крыла. В одереженевшей, с синими жилами ладони крылатый мужик держал окурочок. Над прядью жидких волос криво сидела ушанка из тех, что носят солдаты и заключенные. Мужик затянулся и продолжал:

— Красота тута — залюбуисси. Ежели иметь мозги, существовать пользительно тут: можно сказать, райская территория. Да у вас мозгов нету. Загадили все, едрит вашу корень. Как эт загадили? А так: какой не то Зимний дворец отгрохае, картинок в ем повешае, мебели флорентийские наставите, а сами во дворе в чапыжнике без штанов заседае. Ты, прохожий, смекай: всякая цивилизованность начало имеет с устройства отхожих мест. Чего тарашисься? Эт не мое постановление, а Божье.

«Какой-то ангел от сортиров, — выскочило у меня, но губ не расцепил, сдержался. — Где-то я уже кого-то от сортиров встречал».

— Да генерала от сортиров ты встречал. В книжке про Швейку, про страшну тогдашню катастрофу. Генерал-то хоть и дураком там глядит, да твой Швейка полная дрянь, как и его писатель, бездельник и пьяница. От таких дерьмовых солдатов не одна империя пала.

Помолчав, Ангел продолжал:

— А я те говорю, в тылу любого действия должен быть сортир. Позади вас же, окромя гадости, ничего нету. Атомнү дрянь куда заховаешь? В небе дырья, и там вкруг земли опять же ваше дерьмо в контейнерах крутится. Оружьё подлейшего понаклепали столько, что оно, как пить дать, шархнет под вашей же задницей. Для врагов вшей ядовитейших в бутылках напарили такую пропасть, что достанется аж по горсти на кажинного земного жильца. Да вам и в башку не идет: вши-то смертельные энти с вас же и почнут. Все б это собрать да спалить в бездонной ямине, да нету у вас тех ям. Оттого так, что отхожих мест для ваших мозгов не позаботились соорудить. Мысли-то из какого места из вас выходят? То-то! Кто напридумал реки убить, леса свести, птиц-зверей вполовину извести? Сами уж жабрами дыхае; вы ж давным-давно пропащие! Вашими мыслями все отравлено.

Не могу вспомнить всего говоренного жутким ангелом-мужиком. В голове моей все перемешалось, помнятся какие-то обрывки его объяснений, объяснений диких, всему привычному противоречащих.

— Гляжу, с интеллигенции будешь. Знаю вашего брата: проснетесь, раздражните слабые свои мозги — и давай на все яды пушать. И то не так, и это погано, аж тошнит вас. Остановиться до могилки не можете. Болтае, болтае, сто книжек прочитаете, сто напишете. Лучшей в тюрягу идете, чем работу какую-нибудь сработать. Обязательно до революциев дотякаетесь, и тады для вас самый скус — кровя.

Я слушал как в бреду, глядел на его словно молью траченные крылья, и, вместо того чтобы запоминать, в голове ни к селу ни к городу зудело: «Победоносцев над Россией простер свиные крыла».

— Ишь ты! Победоносцев! Крыла, вишь ты, простер. При трех императорах России верой-правдой Петрович служил, скопил всего-то на чай с сухарем, и нате вам — крыла, вишь ты, свиные простер. Ежели б вы парходы свои не именем алкоголика нарекали, а именем слуги отечества,

так и голова бы работала, жили бы по-людски, а не по-свински. Да у вас ить все с ног на башку перевернуто, вы без дури как без розог. Чего? Знал ли Победоносцева? А как жеть! Вреднющий был старикан, да душа у его благая была. Умница был. А уж как болел Россиею! Помирал, все сокрушался, что с ею станется. Чего? Читал ли Блока? А чего его читать, когда я сам наблюдал евойные фортели. Он ить что, Блок-то, винищем зенки нальет, унцию дурь-порошка ноздрею всосет...

«Ангел-то малограмотный, наверное, хотел сказать „порцию”», — сумничал я.

— Да нет, сказал я правильно — унцию. Примерно грамм тридцать. Всосет, говорю тебе, и давай: «Мы дети страшных лет России!» А кто энти года такими изделал? Что сами наварили, то и жрете. Вас, вишь ты, сатана смущат. Ишь ты, умники, сатану себе нарисовали, мол, эти все безобразия не от нас — от его, от сатаны. Вона он чего натворил. Лукавое вы отродье, нету никакого сатаны! Эт у вас от ваших деяний рога на башке произрастают. Быват, глядишь, как такого на погост волокут, и дивишься — кто в домовине, людя либо сохатого хоронют. Ишь ты, Победоносцев!

— А вы... — вытянул я к нему палец.

— Эт ты насчет занятий наших? Изволь, праведникам способствую. Каки таки праведники? Да обнакнавленные, все более по обочинам зельем распластанные. К ему подлететь-то ужасно: грязнющий, вонючий, кишка от винопития уж ослабела, а душонка из поганого нутра взывает: «Спаси Христа ради!» Евойну рожу хамску так бы со щеки на щеку и разукрасил, да не приказано. А приказано жисть оскверненных душ продлевать сколь возможно. Да к носителю-то души, к скверной гадине этой, поверишь ли, и пальцем-то прикоснуться — вырвет, а ты ему дыханию уста в уста вынь-подай. Чтoб, значит, полегчало ему, чтоб далее, проспавшись, жил да Богом дарованную душеньку мог до запада своего дотащить. Сволочь!

— Где тут праведник? — вставил я вопрос.

— Он-то и есть праведник, горой ему положь-то! Цыплячья его душа проста, ложью не схвачена, ткни ее маненько, она вмиг способная станет к Божьему. На чужое горе, к примеру, охоча больно делается, себя отдаст и не ахнет. Хоть и махонька она, да все не чета агромадным душонкам ваших главноначальствующих, что не мухами загажена, неправдой, что теми слонами в три наката засрана.

— Где же правда? — старался я не сойти с ума.

— Там, — указал ангел пальцами с окурком в небо.

— Да почему же правда неправду не уничтожит?

— Да как слабоумного-то убить? Глядишь, глядишь, как вы сами себя мильенами словно капусту крошите, поплачешь да опять давай в вас прямой угол искать.

«Почему он говорит со мной жутким каким-то, изуверским языком?»

— А мы другова языка ня знам. При наших-то занятиях. Что ж делать, такая у нас квалификация — в чужом говне копать, вашу вшивость сан-пропускать. Оно, конечно, и нам свойственно в начальники устремляться — работенка-то у начальства почище будет, — да, видать, рылом не вышли. Эх, касатик ты мой, пошто личиком-то побелел? Чего такого страшного услышал? Ежели я бы тебя всею правдой попотчевал, ты б у меня тут же душонку-то и испустил.

— А вы... верующий? — прошептал я.

Он даже развеселился:

— Как так не верить? Веришь, веришь, да как узришь-ваших ереев, так и забьешься куда не то в уголок и зыркаешь оттель, как оне в золотых шапках туды-сюды ходют, сладки думы напуцают в топленой своей храмине. А ноздря-то, баловница, так и трепешет от жадности, вдыхая ладана туманы. И вопль из тебя так и стремится: «Господи, вот оне, истинно-то верующи!» Чтoб таку высокоу веру блюсти, питание хорошее должно иметь; на столах-то ихних сыр, колбаса, конфеты, то есть одна польза. Подрем-

лют опосля трапезы, тогда и продолжают веру свою. Глядишь на них, и глазищи завидуши давай слезу источать: от бы денек так походить туды-сюды по бесценным-то половикам, от бы кадилецем помахать так! От она, вера-то! А мы што, мы в темной щели дырья на рубище ушанкой прикрываем. Каки мы верующи! Куды с грязным-то нашим носом!

И он стрельнул давно потухшим окурком в бурьян.

«Как же можно так о церкви? Ведь там Христос», — осторожно подумал я.

— О какой такой церкви изволите, сударь, беспокоиться? От Его церкви и следа не осталось. Вы из Его церкви зоологический сад устроили, растащили Его учреждение на клетки, и только железные прутья не позволяют вам рвать друг у друга кадыки.

Я смотрел на него в ужасе. Фразу эту высоким голосом произнес не он, кто-то другой, невидимый. Мне почудилось, зрачки его глаз съжились, стали красными точками. Но наваждение исчезло: он стал прежним.

— Христос, друг ситный, точно в вашей церкви. Он на кресте там висит. Может, Он со креста и сошел бы, да вы Его не пуцаете, горой вам положь-то! Вам, вишь ты, другая положения неприемлема.

— Жить в невозможности невозможно! — пропел я в отчаянии.

— Ишь ты, куды загнул! Аккурат в фальватере здравого смысла ступашь. Да не нам знать, где можно, где направления в ад.

Помолчали. Внезапно он крикнул:

— Ты свою дитю резать станешь?

— Вы что, с ума сошли? — крикнул и я в испуге.

— А вот известному всем старому дураку помстилось, будто бы Бог ему сына велел прирезать. Во славу, дескать, свою. Старый дурак хватить ножик и уж к горлу пацану приложил, да, слава Создателю, я тут случился и воззвал: «Стой! — ору. — Ты что, старый хрен, ополоумел?» Налетел на дурака, руку заломил, ножик изъял, а он тарашится рыбьими глазенками и ни хрена, вижу, не изображает. «Ты что, совсем, дед, спятил? — трясую я его. — Сказывай, белену жрал?» — «Ага, — говорит, — самую малость». — «Ничего себе малость, — говорю, — дитю взялся, аки барана, резать!» — «Да мне, — объясняет, — сам Бог велел». — «Ты что, самого Бога, что ли, видал?» — спрашиваю. «Во как тебя, — отвечает. — Раз меня любишь, грит, так младшего во славу мою режь». — «Так и сказал?» — ужасаюсь я. «Ага, так и сказал. Велел зарезать, опосля сжечь». — «Слухай-ка, отец, — разъярился я, — еще раз такое удумаешь, я тя задницей в очаг посажу и погожу, пока ты, скот окаянный, головешкой станешь!»

У меня в голове замелькали картины Рембрандта, дель Сарто, Рубенса... Не может того быть! Златовласый ангел на полотнах об Аврааме и сыне его Исааке — это он, что ли?

— Это вы про Авраама? — спросил я.

— Про кого ж еще? Про него, Аврама. Ты, соколик, еще всякие рельефы на церквах запоматывал, картинки в древних книжонках да на стенках катакомб разных.

— Так это не Бог испытывал старика Авраама?

— Тьфу ты, дурья башка! — рассердился он. — Как такую дурость Бог удумать-то смог бы? Бог те абрек, что ли, людей резать? Эт свое-то подобие! Создавал, чтобы резать! Создал, полюбовался — и раз ножом! Потом в огонь!

Я перестал соображать, говорю:

— Бог все может.

Ангел поглядел, поглядел на меня, успокоился и тихо продолжал:

— Совсем Бог не всеилен. Во зле Он вовсе бессилен. Слабоват Он подлости выдумывать. Это вы, черти рогатые, подлостью живете. Сильны вы в ей. Да уж больно любит Он вас, все полегче расплату подыскивает, говорит: не ведают, что творят. Ведают, ведают! Всегда ведали!

Туча уже дышала над головой; от нее сильно пахло сырими лесами, мокрой травой. Ангел сполз с плетня, задрал к туче голову:

— Те хорошо, влазишь в свою автомобилью — и баста. А мне лишний раз перо мочить — ревматизму не оберешься. Эт у вас жизнь удалася, а у нас спина зудит плюнуть на все это и расчет взять.

Он надвинул поглубже ушанку, плюнул на ладони, растер и с криком: «Эх, щас бы тышонку годков с костей скинуть бы!» — поскакал по стерне. Распустившиеся крылья оторвали его от тверди, помахивая ими, он несколько криво полетел вослед поглощаемых тучей бегущих по земле солнечных пятен.

Я увидел его на Страшном суде. Он сидел одесную Света и, опустив голову в медно-красной шапочке со странным зеленым обручем, читал какую-то бесконечную табличку. Он был совсем другим, но трудно было его не узнать. К тому же рядом с его локтем на сияющей плоскости столешницы покоилась та самая ушанка. Боже мой, до чего же шапка эта была страшна! И вдруг я догадался: это же последняя корона нашей несчастной империи!

Нестерпимо захотелось, чтобы он меня узнал. Глупо, конечно: как отличишь знакомую икринку в набитом икрою корыте. Вдруг он поднял голову и посмотрел на меня. Больше ничего не помню.

КОНЕЦ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Над полями, где-то между Яропольцем и Теряевой слободой, появился однажды большой, матово сияющий шар. Неделю висел он, не снижаясь и не поднимаясь. Военные вели себя тихо и не докучали шару самолетами и прочим. Телевидение показывало шар в ежечасных передачах новостей, и многочисленные ученые несли с экрана о чуде каждый свою ахинею.

Множество народа устремилось в те поля и, расположившись на траве под шаром, дневали там и ночевали. Люди приезжали не только по самой ближайшей к шару железной дороге, рижской, но и петербургского с белорусским направлений. Поезда не вмещали всех устремившихся к невероятному шару, обещавшему конец, казалось, навеки окостеневшей жизни. Все шоссе и проселочные дороги забиты были автомобилями и автобусами. Над людскими потоками стрекотали военные и милицейские вертолеты.

На восьмой день утром шар стал тихо опускаться на землю, коснулся ее, бесшумно выпустил четыре лапы и таким образом утвердился на грунте. Днище шара, как электрическая лампочка перед поломкой, вспыхнуло, погасло, и трава вокруг метров на пятьдесят в окружности сделалась, как и сам шар, серебряной. Несколько генералов милиции и спецслужб пошли к шару, но, подойдя к серебряной границе, остановились, как будто наткнулись на преграду. Тысячи людей, не слушая милицейских мегафонов, требовавших оставаться на месте, подтянулись и стали ждать.

В половине одиннадцатого в стене шара обозначилось отверстие, выполз трап, не опускаясь к земле, остановился, образовав небольшой балкон на уровне примерно третьего этажа. В отверстии показались фигуры в светлой одежде. Это были почти наголо стриженные, безбородые мужчины. Человек десять. Они вышли на «балкон» и стали пристально смотреть на пожиравшие их глазами толпы. Все молчали. Было слышно трепетавших над полем жаворонков.

Всю жизнь чувствовал я: где-то рядом существует огромное, непобедимое, противоположное происходящему на земле. Во все дни тосковал я по чему-то, что обязательно явится и пресечет уничтожение остатков жизни

на планете. Мне враждебен был и чужд мир, воздвигший очередную вавилонскую башню в виде «покорения» небес, куда устремились до последней капли опорожнившие чашу веры, одичавшие люди. Хрустальный свод стремительно переполнился человеческими отходами, мусором, ломом. А единственная наша опора, предвечный наш дом, где могло быть так хорошо, снова и снова содрогается от чудовищных взрывов, посредством которых снова и снова подпрыгивают во тьму полной неизвестности железные уроды.

Но вот и все! Безднаказности — конец. Я смотрел на вышедших из шара, и не было у меня сил порадоваться: все силы я потратил на ожидание. Меня хватило только на глубокий вздох, с которым иссякли остатки прошлого. И я позавидовал будущим насельникам нашего дома, избавленным от ненасытности и наглости себялюбия.

Впереди прилетевших стоял человек лет пятидесяти. Худой, смуглый, с седым ежиком волос, с голубыми, почти бесцветными глазами. Как и его товарищи, он был недвижим, внимателен, строг. Почему-то казалось: суровый этот человек среди всех прилетевших один имеет право назначить нам наказание и его осуществить. Все мы, затаив дыхание, смотрели на него. Он смотрел на нас. Вдруг черты лица его дрогнули, и, не меняя позы, не поднимая рук, он заплакал.



ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ



В МАРСИАНСКОМ РАЮ

Памяти Рильке

Под мертвым куполом — расплывшийся огонь,
Торгующих толпа, глядящаяся дико,
Старушка, лодочкой сложившая ладонь,
На эскалаторе — Орфей и Эвридика, —

Запомню, словно сон, и снова повторю:
Толпа безумная, торгующая в храме,
И нищенка-рука, к небесному Царю
Плывущая от нас с убогими дарами, —

Вот то, что видит он, и то, что зрит она,
Когда печаль сняла с очей слепые бельма,
И ночь открылась им без края и без дна,
Качая возле глаз огни Святого Эльма.

Быть может, никакой там Эвридики нет,
Лишь даль безлюдная звездами осиянна,
И лодка впереди, как зыблущийся свет
На мраморной плите ночного океана;

И голова певца за лодочкой плывет, —
А буйная толпа, заждавшаяся плети,
Уходит без следа в валов круговорот,
Уходит, как вода сквозь золотые сети...

Вдогон ее улыбке

Должно быть, наша связь — ошибка,
И этот мир — ошибка тоже,
Вот почему скользит улыбка
По этой хитрованской роже.

Вот почему она бродяжка,
Коня троянского подружка,
У ней чеширская замашка
И в животе — глинтвейна кружка.

Она, конечно, виновата,
Но жизнь, ей-богу, так забавна,
Как будто теребят щенята
Послеобеденного Фавна.

Они тревожат отдых Фавна,
Они покой смущают Овна,
И шалопайничают явно,
И получают год условно.

Преступник спит, улыбка бродит
По бороде его небритой,
Идет направо — песнь заводит
О юности полуразбитой.

Бывает глухо, словно в танке,
Но разбежится дождик мелкий,
И вспоминаются Каштанке
Ее счастливые проделки.

Улыбка, ты не просто рыбка,
Морей немая идиотка, —
Из глубины, когда нам зыбко,
Ты возникаешь как подлодка.

Твой перископ на Лабрадоре,
Радар твой на Мадагаскаре,
Твое ли тело молодое
Я обнимаю и ласкаю.

И обнимаю и ласкаю,
И отпускаю виновато,
Плыви, плыви, моя морская,
В даль милую — без аттестата.

Где было сладко, там больно

Он проснулся
в чужом доме
от боли в груди
ему снилось
что он ночевал
в чужом доме
проснулся и увидел
свою старую подругу
она мыла посуду на кухне
он подошел к ней сзади
и обнял

Она вдруг обернулась
как в страсти
или в лихорадке
схватила его руку
и потянув ее к себе вниз
прошептала:
Тут больно

вот тут — вот тут —
и обвела полукружьем
там где больно:
Где было сладко, там больно

Прости
я бы спас тебя
я сотворил бы чудо
но я не знаю
что с тобою
и где ты
всю жизнь
я расплачивался
фальшивой монетой
за это
горячее олово
льется сейчас
мне в глотку

Старик

В дырявом канотье, в пурпуровых трусах
По пляжу он идет, как клоун по канату,
И море на своих расстроенных басах
Играет небесам закатную сонату.

Магометане волн пред ним простерты ниц,
Готовится финал в скрипичном гуле шквала.
Он с тихой нежностью глядит в глаза блудниц,
Ища меж ними ту, что всем всегда давала.

Она идет к нему, она уже близка,
Прибой о ней поет и сладостно, и тошно...
И, аплодируя триумфу старика,
Привычно хлопает отставшая подошва.

* *
*

Как отрока в семнадцать лет
загадка атома или ядра
влечет — и он ночами не спит,
стремясь понять загадку ядра,

вот так направленный в пустоту
дурацкий вопрос: как она могла? —
терзает взрослого — и он не спит,
стараясь понять, как она могла;

и эта неразгаданная пустоты
загадка — приковывает сильнее
любого участия или добра
к великой — непостижимой — к ней;

и оттого, что получить
ответ на этот вопрос нельзя, —
как пьяная девка, проходит жизнь,
рассыпав лица и голоса.

* *
*

Я буду помнить тебя и в марсианском плену —
В колоннах каналорбочих, в колодцах шахт,
Угрюмо глядя сквозь красную пелену
И смесью горючих подземных газов дыша.

Я буду помнить тебя и в марсианском плену,
Вращая динамо-машину, дающую ток
Какому-то Межгалактическому Гипер-Уму,
Пульсирующему, как огромный хищный цветок.

На грустной земле и в марсианском раю,
Где больше мы не должны ничего никому,
Закрою глаза, уткнусь в ладошку твою —
И этого хватит на всю грядущую тьму.

Ночью на шоссе

Оглянувшись, ты видишь его вдали —
огонек, что ныряет с холма в долину,
и невольно ширишь шаги свои,
словно взгляд почувствовав острый в спину.

Ты на тень косишься — пряма ль, горда? —
отмечая, как твердо пружинят ноги,
и примерно уже рассчитал, когда
обернуться опять и сойти с дороги.

И чуть-чуть не успеешь, всего чуть-чуть
своевременно голову повернуть,
когда вдруг, безжалостным светом залит,

обомлеешь, как заяц, в последний миг,
не поняв, что за ветер тебя настиг...
Мать родная! Да что же он не сигналил!



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



ВМБ

Повесть

В октябрьский полдень 1953 года эскадренный миноносец «Беспощадный», изображавший на учениях отряд легких сил «красных» и болтавшийся милях в сорока от эскадры, стал вдруг приближаться к ней, будто по сигналу флагмана. Многоопытные штабники сразу догадались, какая дурость подвигла эсминца, по чьему умыслу попирает он их планы, и посматривали на уже показавшийся корабль, злорадно переглядываясь, поскольку давно уже точили нож на своенравного командира «Беспощадного».

Эсминцу предложили стать концевым в кильватерной колонне и, чтоб уж наверняка изобличить его, приказали дать координаты на 12.00.

Что эсmineц и сделал, подняв на фалах флажные сочетания, обозначавшие широту и долготу. Оказались они в двадцати трех милях от флагмана! Случилась ошибка, свойственная не желторотым штурманцам, только что кончившим училище, а матерым судоводителям с многолетним стажем и чрезмерным апломбом: вся акватория Черного моря поделена картами на квадраты разных масштабов — разных, что при переходе с одной карты на другую забыл учесть штурман эсминца.

Гнев штаба эскадры был не показным, решено было сурово расправиться с командиром «Беспощадного», старпомом и штурманом.

Однако произошло еще более непредвиденное. Выяснилось вдруг, что командира эсминца наказывать нельзя, потому что оглашение приказа о случившемся нанесет непоправимый ущерб кадровой политике командующего Черноморским флотом. Старпомом же — о чем с удивлением узнал штаб — так и не были сданы экзамены на право самостоятельного управления кораблем, и стань этот факт известен, Москва иначе глянула бы на итоги учения. Но тем самым возникал еще более обоснованный соблазн расправиться со штурманом, на год отсрочив ему присвоение очередного воинского звания! Приказ уже был сочинен, когда вспомнили, что штурману давно обещан перевод на штабную яхту «Ангара», на которой держал свой флаг командующий флотом, а тот вроде бы уже свыкся с тем, что хозяином штурманской рубки станет командир БЧ-1 ЭМ «Беспощадный».

У штаба зудели руки, потому и выместился весь гнев на младшем штурмане, командире ЭНГ (электронавигационной группы), хотя в эти исторические для «Беспощадного» часы прокладку курса он не вел. Повод для расправы с ним вскоре нашли, в гидрографическом отделе юный штурманец получил неоткорректированные карты, которые, спохватившись, отнес обратно на исправления, но небрежность, которая могла стать роковой, все-таки проявил. После суровейшего нагоняя лейтенанта Андрея Маркина (фамилия бедолаги вмиг стала известна всей эскадре) реше-

Азольский Анатолий Алексеевич родился в 1930 году. Закончил Высшее военно-морское училище. Автор романов «Степан Сергеевич», «Затяжной выстрел», «Кровь», «Лопушок», «Монахи», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен премии Букер за опубликованный в «Новом мире» роман «Клетка». Живет в Москве.

но было сослать к черту на кулички, то есть в Потийскую ВМБ, военноморскую базу, заодно и придержав ему третью звездочку на погоны.

Лейтенант Андрей Маркин уже год служил на эскадре и верил, что руководящие им старшие офицеры и адмиралы намертво закованы цепями устава. Предположить, что они опутаны еще и сетями обычных людских пристрастий — вражды, приятельства, соседств по дому, — он не мог. Взывать поэтому к справедливости не стал, да и — такое признание выдвинулось — сам не безгрешен, ибо отчетливо помнил, как по глупости взял карты, куда еще не внесли корректур. Что с ними, картами, какой-то непорядок — он об этом догадался еще в коридоре гидрографического отдела, но обо всем забыл, оглушенный щебетаниями обленившихся корректуриш, ослепленный их лстящими ему взглядами.

Приказ о ссылке еще не подписали, и Маркин убыл на берега Невы, в отпуск, нагруженный подарками родителям и сестре-школьнице. Время проводил насыщенно, приглашал знакомых девушек в кинотеатр «Гигант», посиживал с ними в «Астории». Каким-то непостижимым образом они узнали о его новом месте службы и разительно изменились. Те, кто ранее намекал на желание следовать за ним хоть на край света, считали теперь, что Поти находится за краем света и жить в нем поэтому невозможно. Хуже этих предательниц были прозревшие вдруг накануне выпуска студентки: эти клялись, что с детства мечтали только о Поти.

Маркин так и не сказал родителям о том, что ждет его впереди. Правда, в его многочисленной родне все не раз возносились и падали, двоюродный брат даже сидел, и семья приучилась к отъездам и длительным разлукам.

Теплоходом «Победа» убыл он из города русской славы в Поти. Отлученный от эсминца, эскадры и Севастополя, Маркин мог сравнить себя с котенком, коего выкинули из теплого дома. Но тыркаться в закрытые двери подъезда, жалобно мяукая, не стал, оказавшись в заброшенном, загаженном, вонючем, мокром и слякотном полуподвале Черноморского флота, то есть в Поти, на должности, весьма далекой от судовождения, — дежурным офицером ПСОДа, пункта сбора и обработки донесений. Сойдя с теплохода, он доложил о себе новому начальству и получил трое суток на подыскание комнаты для жилья.

Во всем виноваты женщины — от этой мысли избавиться трудно. Лейтенанту Маркину существа иного пола представлялись отныне грозной навигационной опасностью — крестовой вехой, которую корабли обходят со всех сторон; к бдительности зывали бывшего штурмана и прочие предостерегающие знаки — о затопленных кораблях и мелях, о свалках грунта; некоторые участки моря заштрихованы красным: мины! Чтоб штурмана знали, какие беды поджидают их в море, гидрографы рассылают навимы, навигационные извещения мореплавателям, но то, что услышал Маркин в первый же потийский день, повергло его в ужас, как если бы оказалось, что проложенный им на карте курс привел корабль на плотное минное заграждение и взрыв под самым носом эсминца неминуем. Сигналы об угрозе атомного нападения уже вошли в разные наставления и таблицы, пугающий значок о радиоактивной опасности еще, правда, не появился, но будь придуман символ «гонорея», то город, куда прибыл служить лейтенант Маркин, поместили бы им непременно и страшились бы его, как места, где совсем недавно провели испытание водородной бомбы.

Ибо в портовом городе Поти, где располагалась Потийская военноморская база, свирепствовала дикая венерическая болезнь, вызванная резистентно-пенициллиновыми гонококками! И завезли эту мерзость иностранные матросы с транспортов, приходивших сюда за марганцевой рудой. Возбудители болезни к пенициллину привыкли, и только стародавние варварские способы, мучительные, как четвертование, изгоняли их. Применительно к Маркину это означало: кораблю из базы лучше не выходить! И

никаких карт ему не видать! И навимов тоже! И век ему быть пришвартованным к пирсу!

После многочасовых блужданий по городской грязи нашел он комнату с отдельным входом. Лампочка без абажура свисала с потолка, к матрацу и ветхому одеялу не прилагались ни простыни, ни наволочки, ни пододеяльник. Подушки тоже не было. Единственное окно выходило в сад. Ни штор, ни занавесочек, ни ложки-вилки. В далекое прошлое ушла чинная, с детства знакомая квартира на Охте, гулкие училищные кубрики, уют и сытость эсминцевской кают-компании, приткось вестового, пришивавшего подворотнички к кителю да драившего пуговицы. Покосившаяся тумбочка придавала жилищу еще большую убогость. В комнате погуливали сквознячки. Убого, уныло, гнусно.

Сто пятьдесят рублей в месяц выдавалось на наем жилплощади, двести — на питание, о тридцати процентах морских — забудь, оклад — девятьсот (у командира группы на эсминце — тысяча сто рублей), где-то изволь завтракать и обедать — не бесплатно, как в кают-компании, конечно. Тем не менее в сыром городе этом, во влажной комнате этой надо тихо просуществовать год, по флотским традициям отведенный тому, на кого направился дурной глаз начальства.

В магазинах — пустые полки. На базаре удалось купить абажур, две тарелочки, ножницы, с помощью которых три метра ситца стали занавесками (иголка и нитки постоянно, по курсантской привычке, носились с собой). К счастью, веник подарила хозяйка. Несмотря на все поиски и расспросы, вешалка нигде не нашлась. Одолженным молотком вбили гвозди для кителя и шинели, которая до весны будет всегда влажной, никогда не просыхающей от дождя.

Всю зиму шел этот тягучий нудный дождь, небо истекало влагою, и не верилось, что город и порт — в субтропиках, что скоро воссияет жаркое солнце и ветви в садах отяжелются фруктами, формой и цветом повторяя то светило, которое пропадало зимою. От небесного дождепада река Рион вздулась и раздалась, мутные грязные волны ее подступали к окнам лепящихся к берегам строений или плескались у свай, возносивших над водой дома. По вечерам сквозь туманную мглу тускло желтели фонари центральной улицы от площади Сталина к порту, куда два раза в неделю заходили на ночевку теплоходы, утром давали прощальный гудок, уходя либо на север в Сухуми, либо на юг в Батуми, либо напрямиком в Одессу, и куда именно — мог знать, не заглядывая в расписание, Маркин, раз в четверо суток дежуривший на ПСОДе, куда всеми видами связи поступали донесения обо всем, что происходило на суше и водах в четырехсотмильной — вдоль побережья — зоне ответственности базы.

Поти — не лучшее место службы на Черном море, а точнее — ссылка, как Порккала-Удд на Балтике; из проклятых этих баз бежали всеми доступными способами — вплоть до увольнения в запас, для чего добывались спасительной строчки в характеристике: «Ценности для флота не представляет». Офицеры тихо и громко пили, обзаводились мотоциклами, спяну застревали в грязи, вываливались в ней, отмывались и покорно шли под суд чести младшего офицерского состава. В зимние месяцы весь город — в лужах, по ним чапали в запрещенных уставом галошах. Топкая грязь сдирала их с ботинок и засасывала. Когда же чуть подсыхало, торчавшие из черных глыб земли галоши напоминали боевую технику, брошенную при паническом отступлении.

Всегда чисто выбритый, пахнувший шипром Андрей Маркин на службу ходил без галош, потому что жить надо было строго по уставу, иначе — водка, мотоциклы, неубранная постель, грязный подворотничок на кителе и резистентно-пенициллиновые гонококки. Выбирал наименее грязные дороги, но всегда в штабе приходилось отмывать ботинки.

Жаркой весной грязь превратилась в пыль, ослепительно синее небо прочерчивали барражировавшие над базой самолеты; от писка комаров, якобы изведенных при осушении Колхидской низменности, звенели стекла. Потом они задребезжали: заквакали лягушки. Болота и каналы, населенные ими, возносили к небу миллионголосые брачные страдания. Голова трещала от квака. Стало очень жарко. О зимних дождях вспоминалось как о жизни, которая кому-то все-таки удалась.

Служилось Маркину так плохо, что временами собакой хотелось выть. Начальство его не любило и не могло любить, хорошо зная, что человек он случайный, скоро уйдет на корабли, и поэтому нещадно затыкало им все дыры, заодно обвиняя во всех грехах. Пить Маркин умел, головы не терял ни при какой рюмке или бутылке, и тем не менее начальство, в пух и прах разнося какого-нибудь пьянчугу, обязательно добавляло: «С Маркина берите пример, этот никогда не попадается, пьет ночью и под одеялом!» Смеха ради сослуживцы порою спрашивали о том, как пьется под одеялами и простынями, и Маркин серьезно подтверждал эту небылицу, потому что скажи честно — никто не поверит. В умении пить не пьянея была игра с самим собою, начинал он ее, когда надо было оставаться трезвым, продолжая вливать в себя алкоголь. Четыре училищных года и советы отца обучили его правилам этой игры. Чтоб не показаться пьяным, хорошо держась на ногах после выпивки, надо, возвращаясь с увольнения, при проходе через КПП и мимо знамени училища внушать себе — для обмана организма, — что не водка и не вино поглощались всеми клетками тела, а всего-навсего в горле полоскался невинный лимонад; или — пиво на худой уж конец.

Письма приходили редко, ленинградские девушки его забыли, на службе ни с кем не сходилась, только он один был на ПСОДе с училищным образованием, остальные офицеры — мичмана в прошлом, второпях обученные войною. Скучно и нудно было на душе, и мечталось: вот наступит ноябрь, начнутся кадровые перестановки, придет приказ из Севастополя с назначением на корабль — и Потю останется в памяти дурным несбывшимся сном.

Девушек и молодых женщин в городе не было, то есть они жили в каких-то домах, ходили, такое случалось, по улицам, но грузинки, следуя обычаям, с ходу отметали все попытки сблизиться, русские же — наперечет, да и призрак стойкого резистентно-пенициллинового гонококка, отбивающий все желанья... А женщины хотелось — и не столько для ночи, сколько ради покоя в душе, оскверняемой городом, о котором давно уже офицерская молва сложила поговорку: «Если Москва — сердце нашей Родины, то Потю — ее мочевого пузыря». После дежурств Маркин очумело сидел в кафе, лимонадом и сухим вином запивал переперченную местную пищу. Порою чудилось: приходит домой, открывает дверь, а на подоконнике — женщина в белом, медленно поворачивает голову в его сторону, странным голосом вопрошает: «Не ждали?..»

Город Потю страшил — непредсказуемостью, дикими нравами, пещерными обычаями. Два встречных круговых автобусных маршрута опоясывали Потю, но за проезд по часовой стрелке платить надо было вдвое больше, причем набитая пассажирами машина могла остановиться надолго у какого-либо дома, пока шофер не отобедает. Скромные и по виду тихие горожане по утрам разбирали пешеходный мостик через Рион, чтоб ровно за пятерку перевозить на лодках спешащих в штаб офицеров. Уже больше года не было Сталина и его грузинских помощников, а республика, взрастившая их и легко отвергшая, продолжала испытывать сомнения в чистоте тех, кого расстреляли некогда: трижды переназывалась улица, на которой штаб базы, пока не засверкала на солнце табличка с фамилией бывшего партийного божка. Хозяином города было местное управление госбезопасности, то есть пятерка пухлых мужчин во главе с пузатым подполковни-

ком; это воинство три раза в сутки с шумом подъезжало к ресторану на площади, молча пило и ело в отдельном кабинете, и от выпученных глаз подполковника официантки не знали, куда прятаться.

Город занимал первое место в СССР не только по гонококкам, был он еще и самым дизентерийным, и достаточно пожаловаться врачу на жидкий стул, как направление в госпиталь тут же выписывалось, и три недели офицеры сидели с удочками на берегу Риона, отдавая улов пронирыстым грузинам, которые с утра разносили по палатам удочки. По истечении трех недель полагалась зверская проверка: в прямую кишку вставлялось некое оптическое приспособление в виде трубы, и вновь дружба народов проявлялась во всей благородной красе. Гиви, местная знаменитость, краса Колхиды и знаток медицины, соглашался за бутылку подставлять трубе свое седалище и так вошел во вкус, что подчас и вовсе бесплатно избавлял защитников Родины от гнусной процедуры. (На отшибе того же госпиталя, за внутренней оградой — одноэтажный корпус, издали похожий на барак, здесь выхаживались страдальцы, пораженные резистентно-пенициллиновой напастью; им тоже передавали удочки, но за рыбой не приходили, и по вечерам моряки варили на костре уху — под заунывные песни.)

В городе полно духанов, шалманов, бодяг и харчевен, ресторанов же — два: «Колхида» в центре и «Новая Колхида» на морском вокзале. Чтоб жизнь казалась краше, офицерское словоблудие возвышалось быт, присваивая звучные имена всему опостылевшему. Зачуханная забегаловка у моста через Рион переименовалась в кафе «Империл», спросом пользовались такие названия, как «Эльдорадо», «Савой», «Астория». На полдороге между штабом базы и бригадой охраны водного района (ОВР) — обычный шалманчик, грязноватенькое место скорого перекуса и выпивки офицеров, заведение, славящееся поварихой, молоденькой Нателлой, и дедом ее, старым-престарым глухим Варламом, — это питейное заведение называлось так: Харчевня Святого Варлама.

Пункт сбора и обработки донесений — на втором этаже штаба. Две комнатки: в большой — планшет (два метра на полтора) с макетиками кораблей и судов и столик дежурного с телефонами, они соединялись со всеми постами СНИС (службы наблюдения и связи), со всеми радиолокационными и тепlopеленгаторными станциями; смежную комнату занимал мичман с двумя матросами, их телефоны и телеграф помогали дежурному поточнее узнавать обстановку, которая порой приводила всех дежурных штаба в бессильную ярость. Рыболовецкие сейнера отказывались ставить у себя аппаратуру опознавания «свой-чужой», тем более не было ее на турецких суденышках, и сколько иноземных корабликов паслось в советских водах, не знал никто, дежурившие на ПСОДе — тоже, но адмиралы сурово взыскивали с лейтенантов; каждые два или три часа обнаруживалось что-либо загадочное или неопознанное, тогда и начиналась телефонно-телеграфная перепалка, к которой подключался Севастополь, пока до ПСОДа не долетал рык Москвы.

С севера и с запада корабли входили в зону, обозначаясь макетиками; другие корабли покидали зону, и макетики их летели в ящичек под столом, но и где-то за пределами четырех сотен миль они продолжали жить и двигаться в памяти Маркина, и если б не это приобщение к большому — запотийскому и загрузинскому — миру, он давно спятил бы...

Однажды приказ погнал его под небо, на самую верхнюю точку Поти — сигнально-наблюдательный пост в порту. Отсюда как на ладони виделся пришвартованный к причалу итальянский транспорт «Калабрия», заподозренный в том, что вел, выйдя из Босфора, радиолокационное наблюдение за эскадрой. Транспорт сверху казался игрушечным, никаких металлических конструкций, похожих на антенны РЛС, нет, доступ в ра-

диорубку никто Маркину не даст, и вся эта проверка, понял он, — очередная дурость начальства, взъерошенного очередной глупостью штаба флота. «Калабрия» пришла за марганцевой рудой, уже загрузилась и вечером уйдет в море, растает в дымке, и в ней растворится эта вот женщина, рукой касающаяся леерной стойки, стоящая у борта: темные волосы уроженки Апеннинского полуострова, полногрудая, в открытой взорам легкой прозрачной (Маркин вооружился биноклем) кофточке без рукавов, — одна из женщин, уже известных по фильмам в интернациональном клубе моряков, возбуждавшая еще и потому, что — заграница, таинственная, обольстительная и шпионская. Кокшами называли на буксирах и разных суденышках неряшливых и почему-то чумазых, будто они только что вылезли из кочегарки, женщин-поварих, но эта отличалась от них не ухоженной прической, кофточкой и улыбкой, а чем-то иным, тем, возможно, что мужчины впадали в задумчивость, на нее глянув, и горевали о чем-то. И не кокша она, а, пожалуй, стюардесса. Такая, подумалось, когда-нибудь да возникнет в его комнате, усядется на подоконнике с ногами, уткнет лицо в колени, а потом, когда он откроет дверь, глянет на него озаряющими все Поти глазами.

Итальянская повариха помахала кому-то рукой и пошла на камбуз. Маркин начал спускаться вниз по круговому трапу, транспорт «Калабрия» укрупнялся, наконец потийской тверди коснулись подошвы ботинок, растоптав остатки мечтаний о женщинах.

Он плохо спал в эту ночь, чесался, вздрагивал, кожа, голова, белье — все казалось грязным; ранним-ранним утром понес простыни и наволочки к морю, бросил под накат волн, они отмывали их, били, как скалкою, о камни; песок и соль моря отбеливали грязно-желтое белье; такие процедуры проводил он ежемесячно, потому что нельзя было привыкать к этому городу, к этим людям, к этим обычаям. И такому же выполаскиванию и отбеливанию подвергал он себя, часами погружаясь в раздумья о том, за чем он живет и что такое жизнь, ни к каким выводам не приходя, но испытывая едкое удовольствие в этой бессмыслице.

Чего-то хотелось... Чего-то такого... Каких-то перемен... Маркин похудел. В свободные часы шел на пляж, зарывал в песок, добираясь до мокрости, литровую бутылку сухого вина и лежал до звезд, до проблескового огня на маяке, до последней капли... Недалеко от него снимали уютный домишко летчики полка амфибий на острове Палеостоми, после полетов они возвращались с бидончиком спирта, приглашали Маркина, рассказывали небылицы — о том, как, по пьянке заблудившись, приняли водохранилище Волго-Донского канала за Азовское море и сели, напугав рыбаков. Однажды присоединили к бидончику зелень с рынка, своих официанток с озера — и позвали для компании Маркина. Тот был настороже, помня о потийской болезни, и потихоньку, чтоб не обидеть, отодвигался от липнувшей к нему совсем молоденькой девчонки, которой вздумалось кормить его, как ребенка, с ложечки, приговаривая при этом: «А вот этот кусочек мы тоже проглотим... И этот...» Она норовила забраться к нему на колени, хвасталась тем, что родом из Ленинграда, и была такой простенькой и глуповатой, что вспоминался почему-то домашний халатик сестренки; на девицу эту имел виды сидевший у радиолы летчик, старший лейтенант, и Маркин с удовольствием уступил бы ее, но Тоня (так звали глупышку) проявила упорство и хитрость: когда Маркин, будто бы окосев, вышел из-за стола, чтоб улизнуть, она подстерегла его на улице и напросилась в провозжаты, а у крылечка вдруг взмолилась:

— Да ты не бойся меня, не бойся!.. Вот, почитай! — и сунула ему, чуть ли не под самый нос, какую-то бумажку. Чтоб прочитать ее (уже стемнело), Маркину пришлось открыть комнату свою, впустить настырную девицу, зажечь свет. Бумага оказалась госпитальной справкой врачбно-санитарной

комиссии при Управлении торговли Потийской ВМБ, и она удостоверяла: у Сеницыной Антонины Федоровны, официантки столовой в/ч 54309, заразных болезней не обнаружено; прилагались и заключения врачей, начисто отрицавших у вольнонаемной Антонины Сеницыной наличие венерических, кожно-венерических и легочных заболеваний, а также психических расстройств.

Весьма убедительный документ! Дата поставлена сегодняшняя, печать и штамп — подлинные, в доказательство чего Антонина Сеницына стянула с себя платье и обмахалась им, поскольку было жарко — так жарко, что для освежения пришлось все остальное с себя тоже снять. Напуганный Маркин быстро выключил свет.

В половине восьмого утра он ее выставил — спешил в штаб на политзанятия (был понедельник). Встретил ее через несколько дней, шла она — на другой стороне улицы — с лейтенантом из стройбата, дружески помахала ему рукой — мол, извини, занята, но как только освобожусь... Он отвернулся, обиженный и даже оскорбленный, но не удержался, глянул вслед: кособокая, и никак не походила на стюардессу с «Калабрии», и не ленинградка она, подумалось, хоть, дуреха, и уверяет, что оттуда родом: не знает, где Русский музей... Ругая себя, весь вечер просидел он в клубе, два сеанса подряд с закрытыми глазами смотря фильм.

Проклятая база! Проклятый штаб, ни на минуту не удлинявший поводка, на котором дергался нетерпеливый щенок в чине лейтенанта. Отдых по уставу полагался дежурному после суточного бдения, но из Маркина выжимали последние капли; мрачный, недоверчивый, поднимался он по трапам кораблей, уходящих в море; кораблям запрещалась радиосвязь в видимости береговых постов, на кораблях надо было проверять позывные для флажных семафоров, обновлять таблицы условных сигналов.

Однажды навестил он такого же, как и он, неудачника, курсантом сидевшего на соседней скамье. Ныне его за какие-то грехи бросили на щитовую станцию, в охрану рейда, и робкое пожелание Маркина «посидеть поговорить» тот встретил открытой насмешкой, озлобленный тем, что мог лишиться — с появлением однокашника — скорбного погружения в одиночество, исключительное, только его постигшее и только ему посвященное.

Лето уже было в разгаре, однажды в полдень принял он дежурство и пятью часами спустя получил из Батуми вздорное и малопонятное сообщение. Звонил командир поста на мысе Гонио мичман Ракитин, и этот много чего испытывавший служака с тревогою докладывал о военном транспорте «Николаев», который вышел из Батуми в Севастополь и только что начал флажками и светом передавать на пост странное донесение в адрес не кого-нибудь, а лейтенанта Маркина, поэтому-то Ракитин и принял решение: в журнал приема текста этого сугубо личного послания не вносить. Ракитин намекал также: и всем постам не следует засорять журналы сообщениями, не относящимися к оперативной обстановке. Известно ведь: использование средств связи в личных целях категорически запрещено!

Предосторожность оказалась не лишней. Текст послания начинался строчками из Блока, чтоб — уже через пост в Поти — продолжиться Сельвинским и еще кем-то. Неведомый Маркину офицер с «Николаева» изливал душу, флажный семафор выражал стенания по поводу быстротекущей жизни и погружался в воспоминания, уходящие в пушкинские времена. Когда транспорт удалялся от берегового поста на расстояние, недоступное глазу сигнальщика, стихотворные строфы обрывались, продолжение их как бы тонуло в волнах, зато следующий пост получал уже другого поэта, который дельфином выныривал из морских глубин. Сквозным чувством протянулась — от Батуми до Очамчиры — одна идея: все — чешуя, все — мура, люди — семечки пожухшего и срезанного подсолнуха, но — все-таки! — мы люди уже потому, что сознаем это.

И вся галиматъя эта шла на имя его, Маркина, и спасало его то, что было воскресенье, в штабе никого из начальства, только оперативный дежурный, а к нему все сообщения постов поступали через ПСОД, и поэма, к счастью, не запечатлелась ни в одном документе.

Наконец «Николаев» лег на курс к Феодосии, и посты о нем уже не докладывали. Из маленькой комнаты выглянул мичман Хомчук, всегда дежуривший с Маркиным и дававший ему правильные советы; мичман страдал излишним любопытством и безмолвно спрашивал: кто автор флажного донесения (подписи под семафором не было). Маркин позвонил в Севастополь, где о «Николаеве» знали больше, фамилии офицеров на транспорте этом ничего Маркину не сказали. Время шло, солнце уже подступало к закату, еще полчаса — и включатся тепlopеленгаторные станции. Рванный текст Маркин склеивал так и эдак и наконец вспомнил: ноябрь прошлого года, Ленинград, гостиница «Европейская», последний день отпуска, знакомство в ресторане с забубенным штурманом, коньяк, заказанный в номер и принесенный смазливой горничной, длинная пьяная ночь, стихи, стреляющие в уши пробкою из шампанского...

Вспомнил — и притаился. Какая-то мысль родилась в нем, толкалась внутри и лезла наружу плодом, покидающим чрево.

Время — почти десять вечера по-московски. И в тот момент, когда солнце погрузилось в волны и на кораблях стали спускать флаги, Маркина пронзила мысль: в Батуми! Хоть на пару дней, хоть на сутки! Взять номер в гостинице, постоять под душем, выпить заказанный коньяк — и на набережную, под пальмы, в гомон толпы. Свобода на двое суток, свобода в оковах офицерской неволи, только тогда она будет желанной, а рабство — преодоленным. Всего двое суток в Батуми — и вольются свежие силы, и с ними легче дождаться ноября, перевода на корабль! И женщина там возникнет, не может не возникнуть! Настоящая женщина, не какая-то там кривоногая официантка со справкой! Как в Москве позпрошлым летом, в отпуске: он вымылся в душе, побрился — и тут же впорхнула женщина, с того же этажа, чем-то ей муж досадил, плакала, обнимая подвернувшегося лейтенанта, — и в Батуми такое может случиться, обязательно произойдет!

Туда, в Батуми!

Озаряющая идея! Лучезарная! Сладостная! Зовущая и устремляющая вперед, то есть на юг! Обещающая на батумской набережной молодую красивую женщину из Ленинграда или Москвы, которой в голову не придет запастись справкой. Скромную — не настолько, однако, чтоб отклонить приглашение зайти в номер на рюмку коньяка.

Блестящая идея, ослепительная идея!

Но не ослепляющая. Потому что едва спасительная мысль засияла в Маркине, как он осторожно глянул направо, а затем налево: не догадался ли кто, о чем мечтает он, не подслушал ли? Справа — задернутое шторкою окошечко, через него суются донесения оперативному, слева — планшет у стены и дверной проем, за которыми мичман Хомчук и два матроса, доверять которым нельзя — как, впрочем, и никому в Поти. Ибо: офицер не имел права покинуть место службы без разрешения на то начальника, в данном случае — командира базы. В феврале батумские патрули изловили двух потийских лейтенантов, решивших понежиться в этом городе, открытом всему миру, и приказ командира базы еще раз напомнил: никому не дано самовольно освободиться от кандалов! «...без разрешения вышестоящего начальника покинули базу, в коей служили...» — вот в чем обвинялись приказом офицеры. Не шумная попойка с битьем посуды ставилась в вину, а — «без разрешения». А получить его было невозможно. Значит, надо бежать из Поти — да так, чтоб стража не заметила. И столь же скрытно вернуться в Поти. Причем глупо и опасно шататься по батумской

набережной в офицерской форме. И по удостоверению личности номер в гостинице не возьмешь: потребуют отметки коменданта города. Нужен паспорт — чужой, разумеется. Наконец, каким видом транспорта проваться в Батуми?

Включились теплопеленгаторные станции, доложили о сомне целей в прибрежных водах, радиолокация нашла быстродвижущийся объект у берегов Турции, на виду потийского поста почему-то застопорил ход тральщик, еще донесение — о водолазном боте в акватории Сухуми, но Маркин, поднимая телефонные трубки и переставляя макетики на планшете, поглядывал на отдельную карту города и порта Батуми... И суматошно рылся в сейфе. Одного взгляда на графики будущих дежурств было достаточно, чтобы понять: побегу из Поти благоприятствует отрезок времени от пятницы 30 июля до воскресенья 1 августа включительно. Именно в четверг 29-го ровно в полдень заступает он на дежурство, сдает его через сутки 30 июля. Затем отдых по уставу до утра 31-го. Если бы этот и следующий день были будничными, начальство нагрузило бы его разными поручениями, но по субботам и воскресеньям руководству не до него. Итого — ровно двое суток отпуска, отдыха, свободы. Не воспользоваться этой свалившейся с неба удачей — значит обречь себя на прозябание, ни в одном из следующих месяцев таких счастливых совпадений нет.

Дежурство, озаренное словом «Батуми» и семафорными строфами, завершилось неутешительным расчетом: перенестись в Батуми по воздуху невозможно, что и следовало ожидать, но исключалась и железная дорога. Местный поезд из Поти шел до станции Миха-Цхакая, где пересесть на экспресс Москва — Батуми можно было лишь раз в двое суток и в очень неподходящее время — в десять утра, и сменявшийся в полдень Маркин на поезд этот никак не попадал. Идущие же в Батуми теплоходы летом на ночевку в Поти не заходили, стоянка всего полтора часа поздним вечером, где-то около двадцати трех часов по-московски, но как раз 30 июля ни «Грузия», ни «Россия», ни «Украина», ни «Победа» в Поти не ожидалась, расписание рейсов соблюдалось строго. «Украина», правда, швартовалась к морвокзалу вечером 29-го, в самые напряженные часы, когда дежурный, лейтенант Маркин то есть, прикован к планшету. Автобусы же из Поти ходили только по окрестным селениям.

Конец мечтаниям! Город как бы блокирован, в осаде. Обнесен колючей проволокой!

Но надо, надо вырваться на волю!

Немыслимые преграды! Неисчислимы препятствия! Которые надо преодолеть так, чтоб никто тебя не увидел и не услышал, и теперь все дни и ночи раззадоренный Маркин искал способ незаметного ухода из Поти, скрытного проникновения в Батуми, тайного пребывания в нем и не менее тайного, чуть ли не под покровом темноты, возвращения в Поти. Указать эту узкую, счастливую лазейку мог бы мичман Хомчук, но тот страдал излишним любопытством, удовлетворение которого могло пойти во вред Маркину; временами на лицо служаки, годящегося Маркину в деды, набегала добродушно-снисходительная усмешка строгого воспитателя, наперед знающего все наивные детские проказы безмозглых школяров. У мичмана уже пошаливало сердечко (что не мешало ему пить), да и желудок он, чистый хохол, подпортил грузинскими кушаньями. Часто в конце смены Хомчук широкой ладонью смахивал со лба пот, будто натруился вдоволь на пашне. Хозяйственный мужик, цепкий, на чужой восточной земле обосновался прочно и на долгий век. Нажитое ценил, готов был драться за него — и потому доверять ему нельзя было.

Тральщики — базовые, рейдовые и эскадренные — почти ежедневно покидали Поти для контрольного траления, но кто из них вечером 30 июля ляжет на зюйд и пойдет в Батуми — неизвестно. Большие и ма-

лые морские охотники бригады ОВРа выскакивали по тревоге и без нее в море, но мало кому дано знать, какой из этих кораблей пришвартуется к батумскому причалу вечером 30 июля. Правда, среди этих немногих осведомленных были офицеры его выпуска, более того, одноклассники, почти родные люди, друзья. Они и шепнут ему, какой БО или МО понесет его, разреза я волны, в Батуми.

В размышлениях о часах и днях конца июля, о хаотических передвижениях кораблей базы, о жизни, которая возродится в нем после Батуми, — постепенно в лейтенанте Маркине вызрело поразившее его решение: ни в коем случае к друзьям за помощью не обращаться! Да, они были верными товарищами, он четыре года с ними грыз военно-морские науки в училище на берегу Невы. Эти честные парни никогда его не обманут. И тем не менее говорить им о Батуми — смертельно опасно. Им хорошо служится, они уже старшие лейтенанты, то есть вкусили некую сладость, они уверенно держатся на мостиках кораблей, их ждут новые должности, новые сладости — и поэтому они уже как-то иначе посматривают на выброшенного с эскадры друга, он им уже какая-то помеха, они уже тяготеют дружбою с ним, и, быть может, не по этой ли причине ему так хочется побывать в Батуми, оказаться там в полном одиночестве? К тому же (мысли Маркина огрублялись все более и более) сказать друзьям о Батуми — что доложить о том же командиру базы. Всегда среди офицеров есть такой, кто в устной или письменной форме оповещает руководство о настроениях и происшествиях. На боевые и вспомогательные корабли Военно-Морского Флота СССР рассчитывать не приходилось. Следовало полагаться только на гражданские суденышки. Было их — вокруг и около базы — множество, и ни одно из них флоту не подчинялось. Препятствия эти ожесточили Маркина. Походка его стала крадущейся, он всегда смотрел под ноги — не потому, что боялся провалиться в некую расщелину или ступить в коровьи лепешки, а опасаясь выдать себя затравленным взглядом, полыханием в зрачках сжигающего его огня. Идя по улице размеренным шагом обычного прохожего, он вдруг делал резкий скачок и перебежал на другую сторону, словно за ним погоня, от которой надо немедленно оторваться. Зоркость в нем развилась необычайная, он даже мог по одному взгляду на женщину определить, кипят ли в ее крови резистентно-пенициллиновые гонококки. Начальник штаба базы еще не притрагивался к ручке двери ПСОДа, а Маркин напрягался, чуя опасность, готовый отразить ее, чтоб ничто не помешало ему в полдень 30 июля благополучно сдать дежурство и несколькими часами спустя незаметно отбыть в Батуми. Вываться из этого быта, который засасывает в грязь, в нечистоты, в неряшество: не стираны носовые платки, липкие носки комком валяются под кроватью, уже не тянет полежать у моря, поплескаться.

В эти полные ожидания и поиска дни столкнулся он с человеком, которого не раз видел издали: изящный, в прекрасно выглаженном кителе капитан-лейтенант этот мелькал в городе, и офицеры молча провожали его глазами, не хуля его, не пристыживая, лишь многозначительно переглядываясь, потому что Валентин Ильич Казарка (так звали офицера), ни разу не попав в комендатуру и вообще ни разу не появившись на берегу пьяным сверх меры, давно считался окончательно спившимся человеком; временами даже, по слухам, он щелчками сбрасывал чертиков с погонов; приговоренный за разные неизвестные мерзости к изгнанию с флота, он до приказа о демобилизации тянул лямку на военном буксире, куда командирами обычно назначали мичманов или главстаршин. Многие удивлялись обилию орденских планок на его кителе: у капитан-лейтенанта, оказывается, было богатое военное прошлое, хотя выглядел он чрезвычайно молодо. Прошлое это и препятствовало, видимо, приказу о демобилизации.

Встреча произошла в кафе, куда Маркин зашел за папиросами (курил только «Беломор» ленинградской фабрики имени Урицкого), и у выхода был окликнут явно нетрезвым Казаркой, пригласившим его к столу с вином и фруктами. «Простите, не пью!» — вежливо отказался Маркин, потому что этот приятный ему человек мог потянуть его за собой на дно. Тогда капитан-лейтенант произнес, полный великой укоризны:

— Не пьешь... А годы-то идут... Жизнь-то — проходит!..

Спасаясь от палищего солнца, Маркин шагнул под тень дерева, но так и не мог установить связи между количеством выпитого и прожитыми годами; он пугливо глянул на кафе, где не раз виденный им капитан-лейтенант наверстывал годы, то ли приближаясь к могиле, то ли удаляясь от нее.

До намеченного дня побега оставалось менее трех недель, а ни паспорта, ни корабля до Батуми не находилось, зато Черноморский флот устроил очередные учения, комиссия из Севастополя навалилась на базу, ПСОД заполнился офицерами в чине не менее капитана 2-го ранга, все обступили планшет, на котором Маркин решал примитивнейшую задачку наведения торпедных катеров на цель, и старшие офицеры, седые и с боевым прошлым, усердствовали, хором подсказывали дежурному, как правильно пользоваться транспортиром и параллельной линейкой, будто он школьник, а не офицер с дипломом штурмана. Они не просто командовали, а помыкали им, и все потому, что от них требовалось совершенно обратное — присутствовать и не мешать. Каждый из них был честным и справедливым, возможно, человеком и офицером, но, собранные в группу, нацеленные на «искоренение недостатков», они потеряли здравомыслие, превратясь в цепных псов, и довели Маркина до затаенного бешенства.

Дежурства его стали очень насыщенными. Прикрываясь служебными нуждами, он названивал в управление порта, стараясь вслух не произносить магического слова БАТУМИ. Середина июля, 15-е число, две недели до последнего срока. Вновь белый конверт на кровати, оказавшийся — пошло, мерзко, обманчиво — приказом быть на базовом тральщике Т-130, который через несколько часов уходил в море и, следовательно, обязан иметь позывные постов СНИС и ТУС, таблицу условных сигналов — вплоть до Туапсе.

Тральщик числился в севастопольской бригаде ОВРа и в адресатах рассылки не значился. Маркин поднялся по трапу, не ведая, конечно, что ждет его дружба с замечательным человеком, который поможет ему взобраться на вершину; память о нем пронесет он через всю жизнь, и при взгляде на небо, солнце и звезды в Маркине будет щемяще-скорбно звучать: Казарка! Казарка! Казарка!

Ни ТУСа, ни позывных на тральщике Т-130 и в помине не было! Хотя помощник командира уверял: есть они, получены и хранятся в сейфе, ключ от которого у командира, который сейчас на берегу, но который... Форсистый помощник, пьяный вусмерть, но хорошо державшийся на ногах, говорил, чтоб не запутаться, рублеными фразами, завершая их протяжным возгласом «ка-аа!..», что, догадывался Маркин, на жаргоне бригадных связистов было знаком окончания радиограмм, а в разговорах — подобием восклицательного знака. Пятнадцать дней до намеченного побега, ни в какие истории Маркин попадать не желал и тихим, скромным голосом просил все же показать ему документы; помощник злил его тем, что врал уверенно, нагло — при свидетеле причем: в каюте помощника на койке как-то скромнехонько и молча притулился знакомый Маркину капитан-лейтенант в белом, хорошо отутюженном и свежем кителе, и любой попавший в каюту моряк понял бы, что офицер не на этом корабле служил и не на соседнем, потому что был не в синем рабочем кителе; офицер, пожалуй, был и не с дивизиона тральщиков, и вообще ни с какого

корабля бригады ОВРа, — офицеру этому и служить-то на флоте запретили бы, потому что, хотя ни один устав Военно-Морского Флота СССР не препятствовал службе людей с такими умными, сочувствующими всему человечеству глазами, равно принимавшими как пороки двуногих тварей, так и добродетели их, горячее вранье и учтивую честность, — тем не менее всякому матросу-первогодку ясно было: нет таким людям места на кораблях и в базах! И Маркину отчетливо вспомнилось, как капитан-лейтенант, услышав отказ выпить с ним, произнес необыкновенно грустно, страдальчески-укоризненно: «Не пьешь... А годы-то идут... Жизнь-то проходит!»

Командир тральщика появился наконец, сделав бессмысленным все пьяные выкрики своего помощника; командир нес с собою только что полученные в штабе документы на переход, и помощник мгновенно присмирел, в последний раз прокукарекал «ка-аа!» и спиной повернулся к Маркину, которого, уже на берегу, ожидал офицер в белом кителе, капитан-лейтенант. Пронзительно и чутко глянул он на Маркина, протянул руку, назвал себя («Казарка Валентин!») и предложил «царапнуть», обосновав выпивку тем, что пора поднять тост за здоровье и благополучие какого-то Федоренко.

И Маркин немедленно согласился. Ему почему-то сделалось так хорошо, словно он узнал, что отныне — при Казарке — зимой всегда будет светить солнце, а летом накрапывать ласковый дождик.

Тральщики швартовались много севернее порта и морвокзала, мило прошагали офицеры по берегу, прежде чем попали на территорию, что была под властью ВИСа, вооружения и судоремонта, и оказались на буксире, краном выдернутом из воды и поставленном на кильблоки. Казарка, приведший Маркина на свой ремонтируемый корабль, проявил истинное гостеприимство, послал матроса за холодной газировкой, разлил по стаканам спирт, глядя на собутыльника всепонимающими грустными глазами, и Маркин вспомнил, как года три назад в Ленинграде автобус при нем раздавил старика, и тот, умирающий, смотрел на Маркина страдающим взглядом, умоляя не приближаться, не помогать ему, потому что смерти ему уже не избежать и смерть надо встретить достойно, то есть помыслить о ней до того, как дух покинет тело.

— К началу своей службы вернулся, — проговорил Казарка, кулаком постучав по переборке. — Кончил училище — и поднялся на мостик именно этого буксира: война началась, выбора не было, немцы уже бомбили Севастополь... Ну, за Федоренко!

— Погиб?

— Живой. Начальник тыла Новороссийской военно-морской базы. Великий экономист и философ. В октябре сорок третьего года мне в море надо было выйти, забрать десант, окруженный немцами в Крыму и к берегу прижатый, — Хомчука твоего, кстати, принял там на борт сильно раненного... Туда сутки идти, там сутки нагружаться, обратно в базу, а начпрод Федоренко выдал хлеб и консервы только на туда, на сутки. Вас, сказал мне, вместе с продуктами немцы утопят... Ну, за него, начпрода!

Много, много любопытного рассказывал Казарка, упомянул он и о хозяине каюты, том старшем лейтенанте, который все повторял, как попугай в клетке, нелепое «ка-аа!..». Мы с ним, доверительно сообщил Казарка, держали оборону, когда нас обоих потащили на парткомиссию, а это то же самое, что десанту выходить из окружения, пробиваясь к берегу. Он, тот старший лейтенант, скорбно добавил Казарка, контужен взрывом страстей на оной комиссии, одурен высокоидейными словесами, потому и пьет, ибо: водка отрезвляет человека.

Не спирт, конечно, подвиг Маркина на отчаянное признание, а грязь и дожди Поти, болотный квак, дурость штабов, влажно сияющие глаза Казарки и, наконец, понимание того, что без краткого, но очень востановитель-

ного отпуска за пределами Поти он свихнется. О Батуми сказал он, и Казарка понял его с полуслова. Да, капитан-лейтенант Валентин Ильич Казарка, пронизанный сочувствием ко всему живому, ко всем людям, лишенным счастья потому, что они когда-нибудь да сгинут вместе с завоеванным этим счастьем, — Казарка, всеми отвергнутый пьяница, обещал Маркину все, поскольку он еще и сам нуждался в человеке, который поможет ему последний раз в жизни выйти в море. В последний — ибо военный буксир ВБ № 147, на котором он командир, до конца месяца обязан прибыть в Батуми, чтобы вернуться в Поти, а затем его передадут порту, переход Поти — Батуми — Поти — это вместо акта о приеме-сдаче, назначено действие на 29 июля, но он, Казарка, в состоянии так сделать, что лишь 30-го во второй половине дня буксир отвалит от стенки морзавода. Что касается паспорта, то их — дюжина: на ремонте шабашат разные околопортовые алкаши, документы их — здесь, в сейфе, выбрать подходящий не составит труда.

Всему сказанному верилось, ибо в уютной каюте под спирт и жареную скумбрию Маркина постигло озарение такое же яркое, как недавно засиявшее в нем магическое слово БАТУМИ: он понял, что на свете есть загнанные люди, умученные не бедами жизни, а тяготами нескончаемости времени. Наверное, и сам он такой. Ему стало плохо, и Казарка его утешил, оторвав от бока скумбрии кусок пожирнее и сказав: «А рыбка-то еще не кончилась...»

Назавтра серия перекрестных телефонных переговоров убедила Маркина — да, все правильно: база передавала пароходству отслуживший все сроки военный буксир ВБ № 147; 27 июля на нем опробуют машины и механизмы, с утра 28-го выход на чистую воду, то есть не дальше окончности волнолома, и 29-го вечером — десятиузловым ходом в Батуми, за какой-то нужной морзаводу железью. Таково было требование приемной комиссии, обоснованно боявшейся самой идти в Батуми на дырявом буксире, и комиссия эта особо не настаивала на точности, комиссия допускала, что тот может покинуть Поти и 30, и 31 июля, но обязательно — до конца месяца. В любом случае, догадался Маркин, Казарке позарез нужен штурман, знающий все береговые огни побережья, поскольку к ночи у командира буксира портилось зрение, и только трезвый штурман протащил бы кораблик до Батуми и обратно.

Отныне Казарка казался Маркину единственным нормальным офицером и человеком. Он жалел его и при редких встречах ни словом не укорял его намеками на вредность постоянного держания спирта в организме, ослабленном тремя ранениями; расспрашивал Казарку о сестре его, о матери, горюя над судьбой семьи, предчувствуя, какая тяжесть падет на женщин, когда выгнанный с флота сын и брат свалится на их голову: полагавшаяся пенсия — тридцать процентов оклада, а тот весьма невелик. Но, жалея и горюя, он с грустью сознавал, отчего так честен и независим Казарка: нещедрая к калекам судьба подарила ему бочку спирта, избавив командира буксира от многих страданий и унижений, от денег взаймы, а когда офицеры зазывали его к столу в ресторане, он присаживался, вытаскивая из кармана фляжку со спасавшей его жидкостью. Он, Казарка, был поэтому свободным, независимым человеком — это тоже осмыслилось Маркиным, и, гадая о будущей судьбе своей, он неотвратимо приближался к выводу: надо, служа флоту, знать свою специальность так, чтоб знание становилось подобием неиссякаемой бочки спирта и никто никогда не смог бы помыкать им.

Время приближалось к намеченному дню. Маркин избегал начальства, стороной обходил патрули и продолжал зорко следить за окончанием работ на военном буксире ВБ № 147. Готовясь к самым непредвиденным обстоятельствам, не мог он не задаться вопросом: а кто из офицеров базы по

службе окажется в Батуми и увидит там Маркина? Такие ведь встречи не остаются в тайне от начальства. Как узнать, как выведать?

Валентин Ильич Казарка приложил руку к сердцу, показывая этим Маркину, что таким поворотом событий он встревожен не менее его. Гражданское платье и паспорт — это, конечно, хорошее прикрытие, но явно недостаточное, физиономию ведь не изменишь, не загримируешься. Выход нашелся быстро. Через военных комендантов обоих вокзалов — морского и железнодорожного — удалось узнать, кто в ближайшие дни предъявлял воинские требования на билеты до Батуми. Всего, оказалось, три человека, все вольнонаемные, и среди них (Маркин не сдержался и громко выругался) — Синицына Антонина Федоровна, ее посылают на трехмесячные курсы поваров; билет на теплоход, правда, выдан ей уже — на 29 июля. Так что нежелательная встреча исключена.

Всегда очень аккуратный, Казарка удвоил бдительность, паспорт искал с именем Андрей, чтоб не попадать в неприятные ситуации; штаба он избегал, почти ежедневные встречи с Маркиным проводил в Харчевне Святого Варлама, но и там остерегались говорить из-за офицеров, облюбовавших это питейное заведение; связанные словом БАТУМИ, они будто случайно сталкивались при входе в Харчевню, успевая договориться о времени встречи на пляже у маяка. Казарка находил Маркина здесь, приносил спирт, Маркин потягивал сухое вино. Они блаженствовали. Каждый час воздушно-солнечных ванн придавал загару Маркина большую смуглость, поскольку обычно офицеры базы не могли часами лежать на песке, делая тело коричневым: на кораблях круглые сутки боевая и политическая подготовка, на верхней палубе изволь появляться только в кителе, и загар внушит батумским патрулям: нет, не офицер этот показавшийся им подозрительным парень!

Однажды неподалеку расположилась компания, две молодые семейные пары. Привставший Маркин печально вздохнул: одна из женщин ему очень понравилась: лет двадцать восемь, поговору — одесситка, чуть-чуть полновата, что придавало телу острую пикантность, хороша собой, и хотя она поругивала мужа за что-то, чувствовалось: все мужское в нем она признает как некую неотъемлемость. Прекрасная женщина, она тоже понравилась Казарке, который вдруг встал и пошел — куда? зачем? Маркин догнал его, севшего на песок и уткнувшего голову в согнутые колени. Кажется, Валентин Ильич заплакал.

— Не могу, — вымолвил он. — Не могу видеть... Это чудное тело, которое через десять — пятнадцать лет обрюзгнет, эта дивная фигура, которая через сорок лет превратится в бесформенное месиво, в подобие квашни... Зачем люди живут? Плодить детей, которые пройдут через все стадии распада?..

В этот затянутый разговорами вечер Маркин проводил его до буксира, уложил спать, посидел немного в тесной командирской каюте. На полке — уставы и таблицы, книг Валентин Ильич не терпел. Каждый пишет, говорил он Маркину, о своем неповторимом видении мира, о своей непредсказанной жизни — и тем не менее они меня учат, меня, у которого все то же: та же неповторимость, тот же одинаковый со всеми конец, а каков он, этот конец, какова она, эта смерть, никто не знает. Она что — такая же непредсказанная и неповторимая?..

Ровно в 12.00 29 июля 1954 года лейтенант Маркин начал прием смены, через пятнадцать минут доложил оперативному дежурному по базе, получил от него добро: «Заступайте!» Доклад о том же начальнику штаба базы — и наступила последняя перед Батуми смена.

Все происходящее на пункте сбора и обработки донесений показывало Маркину, что к исходу следующих суток он окажется в Батуми, сунет администратору гостиницы паспорт от Казарки, получит номер, закажет

коньяк, примет душ, выспится и утром продефилирует по набережной, где встретит московско-ленинградскую девушку, которой в голову не придет записаться справкой. Так должно быть — и так будет!

В подтверждение этой уверенности 29 июля 1954 года жизнь и служба в операционной зоне Потийской военно-морской базы текли размеренно и привычно. Более того, кое-какие отклонения вселяли надежду в более чем благополучный исход задуманного. Единственный человек, кто мог догадываться или даже знать, что произойдет после сдачи дежурства 30 июля, то есть мичман Хомчук, накануне смены отпросился на свадьбу родственника, и вместо него заступил главстаршина Крылов, исполнительный и точный, как штурманский хронометр. Оперативный дежурный в дела ПСОДа никогда не лез, а этот, нынешний, не мог не пребывать в полном спокойствии: командование базы убыло сразу после трех часов дня, к пяти вечера штаб опустел, да все и приустило после бурного Дня флота в воскресенье. Гидрометеослужба никаких перемен в погоде не обещала. Около шести вечера в штаб пришел Казарка и шепотом (в пустынном коридоре) заверил: буксир — в идеальном состоянии, своим ходом дойдет аж до Севастополя, прежний уговор остается в силе, то есть завтра в час дня Казарка пришлет матроса с паспортом в Харчевню Святого Варлама, где Маркину и надлежит быть, оттуда он отправится домой, немного вздремнет, около 18.00 предъявит паспорт в проходной порта, отыщет причал № 14, и еще до захода солнца буксир выйдет в море.

Долгожданный и благодатный вечер упал с неба на Поти, приближая миг встречи с прекрасной незнакомкой, которую судьба пошлет на батумскую набережную — чтоб, возможно, вместе с нею глянуть на швартующийся теплоход «Украина», который по какой-то причине задерживался в Сочи. Прийти по расписанию в Поти он не мог, и макетик теплохода так и остался в ящичке под планшетом. Теплопеленгаторная станция № 1 доложила о планово-предупредительном ремонте, все три РЛС вели греческий транспорт, шестнадцатизловым ходом идущий из Новороссийска в Варну. Ни одной крупной морской цели, американцы по обыкновению подняли самолеты, чтоб подразнить русских, крыльями мазнув по воздушному пространству СССР. Ничто, кажется, не нарушит безопасность флота и, главное, не сорвет планы проникновения в Батуми.

В восемь тридцать вечера Маркин подвел к планшету Крылова, растолковал ему обстановку и посадил за свой стол. Спросил разрешения у оперативного, сходил в галюн, одиноко поужинал в штабном буфете, постоял во дворе. Ранняя южная ночь надвигалась неумолимо, мягко окутывая город густеющей синью. Блистали, не мерцая, крупные звезды, и воздух безмолвствовал. Маркин задрал голову, всматриваясь в небо, под которым он окажется через сутки, когда буксир пришвартуется к батумскому причалу, и, с чемоданчиком и паспортом, вспрыгнет он на стеньку, ощутит нешаткую поверхность под ногами и пойдет к сверкающей огнями гостинице, где примет душ, закажет коньяк и выспится... Сбудутся мечты, все сбудется, ничто и никто не прервет плавного хода событий, до конца смены пятнадцать часов, Харчевня Святого Варлама — в десяти минутах ходьбы от штаба, чемоданчик с сугубо гражданской рубашкой и брюками — под столом, ВВ № 147 исполнит последний долг перед флотом и дочапает до Батуми.

Гигантский купол неба обклеен, казалось, изнутри звездами, подковка луны напоминала горькую гримаску ребенка, обиженного взрослыми. Было не тепло и не жарко, а так, как бывает, когда утомленное тело женщины источает жар, отпадая от мужчины. Ни одного окна штаба не светило во двор, семейные офицеры наставляют детей, холостяки шумят в забегаловках или в клубе на танцах. Маркин стоял под небом, будто под теплым и целительным душем, омываясь далекими мирами, и ему, растроганному, хотелось опуститься, сесть на сухую, истоптанную матросскими

ботинками, измятую автомобильными шинами землю и щекой прильнуть к коленкам.

Но не сел, а несколько настороженно двинулся к зданию штаба, в привычности всего ощущаемого обнаружив какой-то непорядок. Что-то случилось. Произошло нечто, грозящее непредвиденностью, срывом тщательно разработанного плана. Что-то переместилось в этом мире, ускользнув от внимания. Будто все посты СНИС и РЛС доложили о близкой, чуть ли не под самым носом, цели, которую они почему-то не смогли обнаружить ранее, — торпедный катер, скажем, только что покинувший балластную базу и к полному изумлению дежурного возникший в акватории потийского порта.

Маркин прислушался — и наконец нашел в механизме мироздания ту погнутую кем-то деталь, что искажала мерный и, казалось бы, неотвратимый ход событий. Пять минут назад над базой прошли два истребителя: воздушное пространство барражировалось постоянно, но парюю, всего лишь парюю истребителей, а сегодняшним вечером их было больше, на что в прошлое дежурство Маркин внимания не обратил бы, но сейчас, перед Батуми, любая мелочь внушала опасения. К тому же, вспомнилось, час назад матросы на ПСОДе пожаловались: на их волне «сидит» контрольная станция подслушивания, флоту не подчиненная.

Ничем не выказывая волнения, Маркин неспешно поднялся этажом выше ПСОДа, чтоб минутку посидеть в посту ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), где два капитана отнюдь не блаженствовали в безделье, что было им присуще в это время суток. Оба офицера поста висели на телефонах, не зная, что и подумать. Обычно барражировали базу истребители 27-й гвардейской авиадивизии в Гудаутах, ее иногда подменяли звенья из полков авиации ЗакВО, Закавказского военного округа, но строго по расписанию, которое сегодня такого расклада не допускало. И вообще, стали вспоминать дежурные, сегодня с полудня что-то с авиацией не то. Что именно с авиацией не то, дежурные и предположить не могли, они изменение чувствовали печенками, опытом, то есть всем тем, о чем нельзя упоминать в журналах происшествий, в докладных, рапортах, объяснительных записках и оперативных сводках.

Воспоминания дежурных оборвались приходом редкого гостя — начальника контрольной станции подслушивания, и по тому, как он смотрел на планшеты, видно было, что и он взбудоражен чем-то. Чем именно — говорить, конечно, не стал, сбежал вниз и на поджидавшей его машине убрался на свою станцию.

Несколько встревоженный, Маркин спустился к себе, глянул на планшет, на Крылова за своим столом и тем же чутьем понял: да, что-то случилось, и не только с авиацией. Произошло нечто непредвиденное, хотя внешне — полный уставной и оперативный порядок: все корабли на месте, пограничники возятся с турецкими рыбаками. Возятся — но слишком много сегодня погранкатеров и слишком мало сейнеров, а между числом тех и других всегда некое соответствие, какого сегодня нет и что отмечено, кажется, оперативным дежурным базы: этот капитан 2-го ранга, помощник начальника штаба базы по разведке, всего час назад являвший пример полного спокойствия, роется сейчас в шкафах, и что он сейчас ищет, что проверяет — понятно. Почуввав что-то неладное, оперативный готовится к внезапной вводной, а та предваряется каким-либо невинным сигналом, «Вымпел — 3», к примеру, открытым текстом, после чего пакет (с красной или синей полосой, надпись «Вскрыть по сигналу...») бешено ищется в сейфе; изредка случаются конфузы: означенный пакет — только для бригад подводных лодок и никак в штабе базы быть не может.

Раздвинув шторы окна, Маркин наблюдал за роющимся в шкафу капитаном 2-го ранга, за руками его, перебиравшими пакеты... В четырехсотметровой операционной зоне базы происходило, без сомнения, нечто,

напоминающее произнесенную шепотом вводную, которая могла бы развеять мечты о Батуми, нарушив планы побега из Поти. Объявят, к примеру, общештотское учение — и офицеры базы окажутся на казарменном положении. Весь горький опыт применений разных вводных давно ввел правило: оповещать о них надо прежде всего оперативных дежурных, иначе сдуру можно и атомную войну начать. Но многоопытный и многознающий оперативный дежурный — сам теряется в догадках: дважды уже заходил на ПСОД, подолгу стоял перед планшетом, как-то неопределенно поглядывал на Маркина, будто тот спрятал макетики таинственных или неопознанных кораблей. Осторожный звонок Маркина в Севастополь — и дежурный по флотскому ПСОДу слегка развеял подозрения, вселив надежду на благополучное окончание смены. Нет, учениями и не пахнет, командующий флотом приглашен на охоту, а в остальном — все по-прежнему, то есть о всех плановых переходах кораблей базе сообщено, а что касается американцев, то у них тоже плановые вылеты, о чем потийский ВНОС предупрежден.

Несколько успокоенный Маркин положил трубку. Никогда еще Севастополь об американцах не оповещал ложно, отчего поневоле думалось: и американцы тоже все точно знают о кораблях и самолетах в операционной зоне базы.

И тем не менее: какая-то гадость кем-то готовилась, но не американцами. Своими и на местном уровне, то есть жди беды в любой момент: она упадет с неба, выглянет из-под воды и возникнет на суше.

Прошло полчаса. Тревога в душе не улеглась. Тревогою веяло и из комнаты оперативного, куда срочно позвали Маркина. Предполагая, что разговор продлится минуту или две, он ничего не сказал Крылову, а задержался надолго и, когда вернулся, бросил взгляд на планшет и отметил — абсолютно машинально, как это делал всегда, — небольшое изменение, которому не придал бы никакого значения, если б не вползшее в него ощущение надвигающейся опасности.

На планшете возник не им поставленный макетик корабля! Эскадренный миноносец «Безбоязненный» обменялся позывными с сухумским постом, о чем пост и доложил Маркину за несколько секунд до того, как его, так макетик и не доставшего из ящичка, пригласил к себе оперативный. Крылов, следовательно, каким-то образом получил это донесение, а получить его он не мог никак. Его дело — обеспечение связи, а не сама связь.

Маркин сел и стал думать, и чем дольше думал, тем глубже погружался в большую тревогу. Получалось (и как это он раньше не догадался!), что телефон дежурного по ПСОДу — запараллелен, что эти сверхсрочники, верные вроде бы помощники офицеров дежурных, учинили — для собственного блага и как бы ради флотской выгоды — некоторое злодейство: прослушивали все переговоры своих непосредственных начальников. И следовательно, Хомчук доподлинно знает о Батуми и Казарке.

Еще пять или более минут размышлений — и вывод: Хомчук будет молчать. Ему выгодно этим молчанием шантажировать, да ему и не поздоровится, когда узнают о трюке с телефонами. А то, что Крылов подслушал донесение поста, — беды никакой нет. Главстаршина даже хочет повиниться, дважды заглядывал в комнату и как-то уныло и вопросительно поглядывал на него.

Вдруг он, главстаршина Крылов, подошел к нему. Выдернул, смущаясь, из-под планшета стул и сел рядом. Видимо, разговор намечался доверительным, таковым и был, но вовсе не потому, что Крылова загрызла совесть. Крылов хотел знать о сущем пустяке — о том, где сейчас мичман Хомчук. Поскольку Маркин, знавший о Хомчуке, молчал, то Крылов наконец выдал:

— Да мне-то что... Ну, поменялись мы сменами, он за меня отдежурил уже... Он Ракитину нужен... Что-то тот сказать ему хочет...

Тут-то и припомнил Маркин, что уже трижды звонил Ракитин: два раза со своего поста на мысе Гонио и единожды — по междугороднему — из самого Батуми, причем тоже спрашивал о Хомчуке, что, мол, у того случилось, раз он на смену не вышел, и Маркину почудилось, что Ракитин недоговаривает чего-то, ему что-то важное нужно сообщить именно ушам Хомчука, только им, а тот будто предвидел такой интерес к себе и запретил Маркину сообщать кому-либо, где он. В чем ничего подозрительного и угрожающего Маркину нет, что вполне объяснимо, поскольку мичман просто-напросто не хочет, чтоб по какой-нибудь служебной надобности его выдергивали из-за свадебного стола в селе Челадиди; местечко это в семнадцати километрах от Потти, замуж выдается сестра зятя, уже выкопаны из земли четыре громадных, с человеческий рост, кувшина с вином, зарытых в день, когда родилась невеста. Пир горой продлится неделю, и не исключено, что мичман Хомчук еще на одну смену отпросится.

За три недели мечтаний о Батуми у лейтенанта Маркина изменилась не только походка, но и строй мыслей, которым дружба с Казаркой дала размах, и как само собой разумеющееся принял он к сведению дикий и непреложный факт: поиски Ракитиным друга своего Хомчука связаны как-то со звеньями истребителей в небе над Потти, усилением пограндозоров, ненормальным поведением начальника контрольной станции подслушивания и нервозностью начальника разведки базы; поскольку же все радиотелефонно-телеграфные переговоры ПСОДа уже прослушиваются, дальнейшие звонки Ракитина возбуждают излишнее любопытство и навредят лично ему, Маркину.

Поэтому и было вполголоса сказано Крылову, где сейчас мичман Хомчук. И намек был дан: дозваниваться до Ракитина надо только через Самтредиа и, сообщив что надо, предупредить, чтоб тот языка не распускал.

Главстаршина Крылов вежливо поблагодарил, поднялся, убрал стул и ушел в свою комнату.

А Маркин застыл... Он ждал. Он знал, что Крылов звонить Ракитину напрямую не будет, даже через Самтредиа или Тбилиси. У этих повязанных приятельством и сроками службы мичманов и главстаршин — свои приемы, свои тайны, и посвящать в них офицеров они не станут. Это — каста, ставящая себя выше офицеров и всерьез думающая, что на них весь флот держится.

— Разрешите в галюн, товарищ лейтенант?

— Добро. Разрешаю.

И главстаршина Крылов прошествовал — на узел связи, конечно, связывать Ракитина с Хомчуком через домашние телефоны каких-то там Ревазов и Вахтангов, а Маркин со штурманской зоркостью изучил в сейфе все месячной давности документы, хотя бы бочком касавшиеся Ракитина, но ничего тревожного в них не нашел, кроме, правда, любопытной детали: все дни с 20 по 25 июля не покидавший поста мичман всегда был на связи со штабом в Потти, в чем ничего удивительного и быть не могло, поскольку вплоть до самого Дня флота в окрестностях Батуми обретались адмиралы, прибывшие туда на охоту, и близость начальства обязывала Ракитина быть особо бдительным; лишь после того, как охотники перебрались в Сочи, мичман мог дать себе кое-какую волю, тот же День флота отпраздновать дома, однако 26 июля Маркин видел Ракитина в Потти, рядом со штабом, точнее — выходящим из штаба, в 11 утра, за час до того, как Маркина сменили. Что делал он здесь?

Офицеров штаба на КПП знали в лицо, всем прочим выписывали разовые пропуска, что где-то отмечалось.

Звонек дежурному офицеру по штабу — и тот полистал страницы своего грессбуха.

— Да не было никакого Ракитина двадцать шестого числа!.. Да ты сам знаешь, как у нас это дело поставлено...

Еще бы не знать. Особо спешащие пролезали в щель забора, а уставо- послушные маются на КПП, пока дежурный по штабу не высунется из окна и сделает рукою отмашку, разрешая матросу пропускать всех гуртом, потому что на оформление одного офицера уходило минут пять-семь, а офицеров накапливалось у КПП столько, что начальник штаба базы глянет в окно, разъярится — и воткнет дежурному выговор. То есть — местные флотские обычаи.

Тем не менее Ракитин 26-го числа был и не встретиться с Хомчуком не мог: тут и давняя, с военных лет, дружба, и хоть отдаленное, но родство (жена Ракитина — троюродная сестра Хомчука). Но самое главное — оба мичмана не просто хорошо прижились к грузинской земле. Они еще и с земли этой снимали обильные — сам-десять или больше — урожаи. Лавровый лист в Батуми и Поти ровным счетом ничего не стоил, пряность эта растет не в садах, а на улицах, зато лавровые листочки, расфасованные в пакетики, — дефицит за Кавказским хребтом, и мичмана наладили сбор и сбыт столь нужной домохозяйкам специи; в сговоре с ними кое-кто на военных транспортах. Не гнушаются они и случайными сделками. Месяц назад пост СНИС ночью доложил ПСОДу о судне с двумя зелеными огоньками, то есть о водолазном боте, ведущем какие-то работы с погружением чуть севернее оконечности волнолома. Едва Маркин стал выяснять, что за бот и кто дал разрешение на ночные работы, как мичман немедленно вызвался все уточнить и обо всем доложить. И уточнил: плановые погружения, тренировки. Но спустя неделю Казарка рассказал, что на самом деле происходило глухой безлунной ночью. Рыболовецкий колхоз решил вытащить из государства деньги (44 тысячи рублей) на покупку трала взамен утопленного. И деньги эти получил. Но покупать трал не стал, а ночью — не без содействия Хомчука — поднял его со дна, щедро возблагодарив мичмана.

Теперь, размышлял Маркин не без некоторого злорадства, мичмана всполошились. В Батуми что-то происходит, спекулянты от флота забежали, опасаясь разоблачений. Комиссия там, что ли, засела какая? Но адмиралы не разрешат тревожить себя, о комиссиях всегда оповещают заранее. Так что же там, в Батуми?

Тот же едкий вопрос стал тревожить и оперативного дежурного. Под рукой у него был не только базовый узел связи. Нечто большее. И оперативный позвонил в Сочи, в санаторий имени Фабрициуса, где от трудов праведных отдыхали московские адмиралы. Установил: ко сну высокие товарищи еще не отошли, но с минуты на минуту хоромы их погрузятся в темноту. И все они, адмиралы, на месте и никаких экстренных сообщений не ожидают.

Оперативный дежурный положил трубку, раздосадованный неопределенностью, а Маркин, слушавший переговоры через приоткрытое оконце, ждал дальнейшего, дополнительных сведений о Батуми. Начальнику разведки базы полагалось знать состав турецких ВМС, их базирование, а равно корабли и самолеты стран НАТО, в частности, весь 6-й (Средиземноморский) флот США. Но чтоб не только соответствовать должности, но и утвердиться на ней, требовалось знание более высокого порядка, и капитан 2-го ранга, отвергнув комендантов Батуми и Поти, позвонил второму секретарю батумского горкома КПСС, то есть фактически главному в городе товарищу — русскому причем. Разговор о погоде изобиловал междометиями, одинаково понятными обоим собеседникам, и завершился звонком в Тбилиси, после чего оперативный промолвил: «Когда-нибудь это да должно было случиться... Я предупреждал — Калугина... А толку что... Ну, и до нас доберутся дня через три...»

Он-то предупреждать мог — того же Калугина, командующего авиацией, а Маркин рта не раскрыл, потому что не по чину звонить ему Калугину, потому что все эти месяцы он, человек свежий и новый в Поти, не

мог, как то сделали все или почти все офицеры, свыкнуться со служебно-бытовым, нагловатым и безнаказанным разгильдяйством штаба Потийской ВМБ и всего Закавказского военного округа; лишь единицы с тревогою видели: в строе службы, в несении дежурств — всеобщий и всепронизывающий самообман, который во всем, но более всего — в противовоздушной обороне базы. Агентурная разведка регулярно подавала из Турции точные сведения о полетах американских самолетов-нарушителей — настолько точные, что авиация ЗакВО стала лениться, на перехват американцев самолеты не поднимались, заранее зная, что граница нарушена не будет, а если где и углубятся американцы в воздушное пространство, то на столько-то минут или миль. Летчики дежурных звеньев сидели в самолетах на аэродроме, но по отчетам — поднимались и вступали в контакты с американцами, отгоняя их. Экономили горючее, но не только: летчикам полагалась денежная прибавка за взлет и патрулирование и, наверно, допзапек. Ради этих выгод две авиадивизии изображали бдительность. Так длилось уже не менее двух, если не трех лет, и, возможно, американцев подобная взаимовыручка удовлетворяла. Но что найдется когда-нибудь человек в Москве, который сравнит АГД (агентурные данные) с фактическими вылетами истребителей, — это было делом времени, и, кажется, такое время настало. По некоторым сведениям (или слухам) какие-то тихие товарищи появились в Батуми, Зугдиди и Тбилиси, товарищи что-то вынюхивают, товарищи не могут не узнать о том, что и сухопутная граница нарушается когда угодно да еще и с ведома пограничников. Одно время Маркин оторопело принимал от Ракитина донесения типа: «Пограничную реку перешла группа из двенадцати человек...», пока ему не растолковали: река отделяет грузинскую часть села от турецкого, что наносит ущерб родственным чувствам односельчан во времена свадеб или общесемейных празднеств. Почему-то эти чувства стали учитываться только год назад, будто кто-то специально нарушает пограничный режим. На кораблях базы как бы шутя рассказывали о батумских прелестях, о кофейнях, о турецком консульстве на улице Ленина, где к пяти вечера собиралась толпа глазеть на балкон, там консул совершал церемонное чаепитие с дамой редкостной красоты; «Колхозник» по-грузински звучит так: колмэурне, среди прочего рассказывали и о кафе «Колмэурне», куда будто бы запросто приходили офицеры американской армии, отчего и заведеньице это переименовали в «Калифорнию». Два года назад, в один темноватый февральский вечер, командир ныне ликвидированной Батумской ВМБ контр-адмирал Чинчарадзе возвращался с женой из кинотеатра, супруги шли по набережной, муж впереди, жена далеко сзади (уважающий себя грузин не допустит к себе женщину ближе), неожиданно из темноты выскочили два типчика, оглушили адмирала, сунули его в мешок и потащили — за холмы, как в Грузии называли Турцию. Супруга забыла про обычаи гор и заблуждала порусски. К счастью, с поста в порту возвращался часовой, который и открыл стрельбу. Из брошенного мешка извлекли адмирала, который вытряс из дамской сумочки супруги все деньги, присовокупил к ним свои, объединенными усилиями семьи часовой нежданно-негаданно получил вознаграждение за мужественный поступок, после чего его долго еще таскали по разным присутственным местам.

Понятно теперь, почему делец Ракитин слова путного не может сказать по телефону: на посту СНИС шуруют, возможно, московские товарищи из военного отдела ЦК.

Оперативный дежурный штаба Потийской ВМБ не стал докладывать командиру базы о вероятных визитерах с широчайшими полномочиями, поскольку никакого донесения или рапорта об их присутствии не существовало. Это еще была и месть за то, что к докладам его не прислушивались. Тем более что лишь летающие лодки с озера Палеостоми подчинялись флоту. Вся прочая себя обманывавшая авиация была в ведении ЗакВО.

Был еще один повод держать язык за зубами: помощнику своему оперативный прочитал вдруг лекцию о творчестве Николая Васильевича Гоголя, о губернском городе, грехи которого и породили тревожное ожидание ревизора, того самого, который всем мнится сейчас в Батуми, ослепленном золотом адмиральских погон. «Никого там, в Батуми, нет, кроме страха...» — так сказано было оперативным. А Маркиным владела одна мысль, одно желание: немедленно после сдачи смены покинуть штаб, помчаться в Харчевню Святого Варлама, дождаться там паспорта, под покровом темноты добраться до бесстрашного военного буксира № 147 и покинуть на нем Потю!

Двадцать минут, не больше удалось поспать — сидя, подперев голову ладонью. Концовка этой двадцатиминутки была страшной: Маркин догадался, какая беда стряслась с Ракитиным и Хомчуком, что сотворили два седых ветерана и что им грозит, если верны его предположения, — догадался, когда вспомнил, что выходивший из штаба Ракитин был с пистолетом. В приказе, предваряющем отдачу того под суд, могут появиться такие строчки: «...о чем мог знать лейтенант Маркин, но надлежащих мер не принял, в результате чего...»

Уже светало. Судя по физиономии Крылова и его частым отлучкам на узел связи, до Хомчука он не дозвонился и с Ракитиным его не связал. Но свяжет, когда Хомчук чуточку протрезвеет. И мичман немедленно помчится в Потю, чтоб перехватить его, Маркина, чтоб застать его в Харчевне Святого Варлама, потому что точно знает о всех местах его встреч с Казаркой.

Наступило наконец утро 30 июля. Казарку уже не предупредить, Харчевню не отменишь, семафором можно добраться до буксира, но на нем ни вахтенного, ни сигнальщика, а слабеющий глазами Валентин Ильич даже в бинокль не прочтет флажное донесение.

08.00 — рассчитана, расписана и разослана по кораблям таблица условных сигналов, без которой корабли не имели права выходить в море, и среди адресатов значился корабль Казарки, который не доложил о приеме таблицы: еще одна уловка, объяснение того, зачем Маркину после дежурства идти в Харчевню — мол, именно там он якобы передаст эту таблицу командиру.

В 09.00 пришедший на смену оперативный дежурный вместе со сменяемым пошли докладываться начальнику штаба базы. Вернулись, и, судя по лицам обоих, в докладе не прозвучало ни слова о негласной ревизии. Полчасом позже на ПСОД зашел начальник района связи, выслушал доклад Маркина, покрутился у планшета и удалился. ПУГ, поисково-ударная группа, выскочила из базы и через час вернулась. Один за другим пришвартовались к причалам четыре транспорта. С контрольного траления пришел дивизион БТЩ. Новороссийск сообщил: звено торпедных катеров следует до Очамчиры после 13.00. Севастополь спрашивал: где военный транспорт «Одесса»? Ответили.

А от Казарки — ни слова. Значит, все в порядке.

Нет, не все в порядке. Маркин соединился с тем постом СНИС, откуда он не так давно обзирал не столько палубу и мачты «Калабрии», сколько кофточку стюардессы. Приказал доложить обстановку, даже не намекнув, конечно, что интересуется его военный буксир № 147. И пост без запинки перечислил все плавединыцы у причалов.

Буксир Казарки пришвартован был не на 14-м причале, а стоял у борта плавдока. Что-то случилось, что-то произошло.

Без двадцати двенадцать мимо окон прошел заступавший на дежурство сменщик, почти следом за ним — помощник его. Матросы, как всегда, не торопились. Новый дежурный, седьмой год служивший на ПСОДе, бросил беглый взгляд на планшет, сходил в кабинет оперативного, сравнил оба планшета, вернулся (Маркин ждал трепеша), небреженько почитал опе-

ративные журналы и кивнул: все в норме, пора. Вдвоем зашли к оперативному, доложили, затем тот же доклад — помощнику начальника штаба базы (сам начштаба убыл уже на обеденный перерыв).

- Разрешите сдать дежурство, товарищ капитан второго ранга?
- Добро!
- Разрешите принять дежурство, товарищ капитан второго ранга?
- Добро!

Ровно в 12.13 лейтенант Маркин неторопливо миновал КПП, прошел полсотни метров по улице Мелания, свернул влево и, дыша полной грудью, двинулся к Батуми, то есть к Харчевне Святого Варлама. Левая рука его несла легкий чемоданчик с гражданскими шмотками, что вполне соответствовали паспорту, который принесет ему около 13.00 матрос Казарки. На ходу буксир, не на ходу, а паспорт будет, шаг в сторону Батуми сделан, хоть маленький, но сделан!

Конспирации ради надо бы пошататься по улицам — до условленного часа, но уж очень жарко, душно, и Маркин спустился в Харчевню.

Это был длинный, с закопченными низкими сводами полуподвал, источавший кисло-терпкие запахи вин, соусов, горелого мяса, разных пахучих трав и пряностей. После уличной духоты прохлада казалась освежающим душем, свет дня проникал через верхи запыленных оконцев. Под гнутым стеклом буфетной стойки — образцы закусок, проем в стене позволял видеть плиту, пышущую жаром, сковороды на ней и котелки. Сбоку от плиты — разделочный столик с устрашающего вида ножами. Обычно в кухонном чаде царствовала внучка Варлама, подоткнув за пояс все три грузинские юбки, что вопиюще нарушало обычаи, запрет женщинам обнажать все, что между ключицами и щиколотками. Выставленные напоказ — много выше коленок — красивые ноги Нателлы умножали славу Харчевни, и офицеры, единственные посетители заведения, подолгу задерживались у буфетной стойки, глаза на невиданные в Грузии прелести. Появлялась Нателла около одиннадцати утра, делала жареное и горячее, исчезала, чтоб появиться ближе к вечеру, при наплыве офицеров бригады ОВРа, когда они, сойдя на берег и устремляясь к центру города, пропускали стаканчик-другой, отмечаясь, так сказать, и частенько здесь задерживаясь ради недопустимо длинных и возбуждающих конечностей внучки дряхлеющего с каждым годом Варлама. Обеденный перерыв в штабе — с двенадцати до четырнадцати, семейные штабники заправлялись здесь коньячком перед домашним обедом. Уже заправились, почти все, лишь два капитана 3-го ранга никак не могли допить бутылку коньяка, и означать это могло одно: в штаб они сегодня не вернуться. Разлили наконец по стаканам коричнево-золотую жидкость, чокнулись, поднесли ее к губам, что-то пожевали. «Варлам!» — гаркнул один из них, а второй еще громче завопил: «Хозяин!» — потому что тот, в честь которого забегаловка получила громкое название и не менее громкую известность, был глух как пень и офицеров выслушивал, чуть ли не к самым губам их подтягивая хрящеватые уши свои. На голове — что-то, похожее на ермолку, узорный поясок придерживал на теле длинное одеяние, на ногах — шлепанцы с загнутыми носками; седые усы, седые кустистые брови, пухлый крючковатый нос, цыплячья шея, красные прожилки в глазах, потерявших, наверное, способность видеть. Глухой и полуслепой, он еще и по-русски понимал еле-еле, что порою веселило офицеров, а чаще всего — радовало, потому что на помощь деду из кухни вылетала Нателла с хорошим русским языком и — главное — с открытой нараспашку грудью, которой могла бы позавидовать выросшая на молоке и сметане какая-нибудь деревенская девка из-под Воронежа. Никакие специи восточной кухни, никакой кухонный дух не мог побороть прущий из Нателлы жасминный запах семнадцатилетнего девичьего тела.

— Хозяин! — раздался вторично зычный зов офицера.

Прошла минута... Вдумчивой старческой походкой Варлам вышел из-за стойки, негнувшиеся кривые ноги зашаркали по каменному полу. Одолев расстояние в десять метров, он, истощив силы, остановился, наставил ухо, в которое и прокричали:

— Старик! Отбивную! Или шницель! Котлету хотя бы!

Ни того, ни другого, ни третьего уже не было, о чем Варлам поведал, отрицательно помотав головой; привычные офицерам мясные блюда, которые быстренько готовила Нателла, все были съедены, и капитаны 3-го ранга начали, поворчав, рассчитывать, перечислять выпитое и съеденное, но сколько ни орали, старик все чего-то недопонимал, и тогда они, махнув рукой, вывалили деньги на столик, похлопали Варлама по плечу и удалились. Старик сунул червонцы в карман; поднос, найденный им под столом, помог ему дотащить тарелки и бутылки до кухни. В Харчевне никого, кроме Маркина. Он ничего не заказывал, ожидая матроса от Казарки и радуясь тому, что Хомчука нет. Столик занял у окна, чемоданчик поставил на пол, в ноги. Время текло. Маркин закурил. Расположился так, что мог видеть и ермолку присевшего за стойкой Варлама, и входную дверь. Двадцать минут до матроса, пятнадцать... Время шло, приближая момент встречи с пальмами батумской набережной, с подносом в смуглых руках горничной, с коньяком, и глоток его зачеркнет в памяти этот мерзкий подвал с наглыми грузинскими мухами, кусачими и жадными...

Двенадцать минут... Десять. Семь.

Время текло, и время начинало подсказывать Маркину, что пальмы на батумской набережной он увидит только после встречи с Хомчуком, если все предположения его правильны. Более того, из Харчевни уходить ему нельзя, потому что от Хомчука сейчас зависит все, в том числе и возвращение осенью на корабли.

Две минуты оставалось до срока, и жуликоватый матрос от Казарки, не раз уже выполнявший обязанности связного, лихо приложил руку к бескозырке и вручил Маркину конверт. Столь же лихо повернувшись, так и не услышав каких-либо слов для передачи их командиру военного буксира № 147, и потопал. А Маркин вскрыл конверт и с поразившим его равнодушием увидел в нем билет на теплоход «Украина», который пришвартуется к морвокзалу в (была карандашная пометка рукой Казарки) 23.30 сегодня вечером и спустя полтора часа уйдет в Батуми.

Почему военный буксир № 147 в море не выйдет — о том ни слова. Но и то, что в конверте, достаточно. Можно было уходить — домой, спать, чтоб к 23.00 быть на морвокзале.

Но Маркин не ушел. Жужжали неугомонные грузинские мухи, Харчевня замерла в ожидании Хомчука, который не может не появиться здесь — к такому окончательному выводу пришел Маркин.

Донеслось хлокотание автомобильного мотора, поперхнувшегося какой-то гадостью, так и не выплюнутой. Хлопнула на тугой пружине дверь, по шатким ступенькам спустился Хомчук — в полной парадной форме, будто сегодня День Военно-Морского Флота: белая тужурка, увешанная орденами и медалями, белые брюки, белые парусиновые туфли, белая фуражка, кортик. Явно выдернутый из-за праздничного стола в Челадиди, еле державшийся на ногах, мичман матерно обляял Варлама, понося его за тупость, старость и глупость, и чем грознее хотел казаться Хомчук, тем в большую тревогу начинал впадать Маркин, потому что оправдались-таки самые невероятные предположения его: никакие аферные делишки со сливочным маслом и лавровым листом не потащили бы полупьяного Хомчука из Челадиди в Харчевню, да и само появление в городе было для мичмана смертельно опасно — по пятницам комендатура не лютует, но Хомчук стал бы легкой добычей патрулей при самом малодушном коменданте; белая тужурка положена только адмиралам, да и как за свадебным

столом ни оберегал ее мичман, была она все же забрызгана красным вином, а брюки политы соусом, что — в совокупности — повлекло бы недельное пребывание на гарнизонной гауптвахте с выставлением самого Хомчука на общебазовое посмешище... При громовых раскатах мичманского голоса ермолка Варлама оставалась неприступной, старик даже ухом не повел в сторону Хомчука, а тот, куражась и взвизгивая себя, сохранял тем не менее спокойствие и, шаг за шагом приближаясь к Маркину, будто не узнавал его, что давало тому время на тягостные размышления о собственной фатальной невезучести, позволяя заодно наблюдать за превращением удалого и наглого мичмана в жалкого, озлобленного, раздавленного жизнью и службой человека, спасти которого от неминуемой беды мог только Маркин; десять суток ареста от коменданта с содержанием на гарнизонной гауптвахте — сущий рай по сравнению с тем, что ожидало Никиту Федосеевича Хомчука: от восьми до пятнадцати лет тюрьмы. Был человек — и не стало человека. Все псу под хвост: и пенсия, и нажитое добро, и дом, и прикопленные деньжата. Примерно то же самое грозит и Ракитину. Правда, в гораздо больших размерах: высшая мера социальной защиты, то есть расстрел.

И Маркину не миновать расправы.

Глубоко вздохнув, еще до того, как начал правду говорить Хомчук, он стал прикидывать, что можно сделать, чтоб спасти не только этих двух подлецов сверхсрочников, но и себя.

— Варлам, сухого... — сказал он обычным голосом, потому что считал некрасивым орать старику и орать на старика. — «Саперави!» — уточнил он голосом потверже, никак до Варлама не долетавшим. Надо было отойти от края пропасти, к которой придвинул его мичман, и отвлечься на что-то бытовое, хлопотное, обыденное. Хомчуку же было не до лейтенантских тонкостей, и он гаркнул во всю мощь пропитого баритона:

— Варлам! Мать твою...

Орудийные залпы его голоса докатились до уснувшего, кажется, старика. Варлам подошел, чуть ли не прислонил себя к Хомчуку, выслушивая заказ. Да, старая оглохшая скотина (это сказано было громко и в самое ухо), ты правильно понял: стакан коньяка и бутылку сухого для лейтенанта! Веки много чего повидавших глаз Варлама прикрылись, он кивнул и зашаркал шлепанцами, скрылся за стойкой. А Хомчук сказал, что на грузинской свадьбе и впрямь тамада сидит в резиновых сапогах, потому что вставать из-за стола ради малой нужды, а возможно и большой, не позволяет обычай. Сам же он восседал на почетном месте, во главе стола: во первых, близкий родственник, а во-вторых, очень уж чтут грузины ордена и мундиры!

«Саперави», очень приятное в такую жару своей холодной кислотинкой, принеслось Варламом, и, потягивая вино, Маркин представлял, как на эти ордена и медали будут посматривать следователи военной прокуратуры, выбивая из Хомчука показания по уголовному делу...

— Выкладываете, Никита Федосеевич, выкладываете все.

Словно заранее поняв то, что начнет сейчас говорить мичман, и в обоснованном страхе от еще не услышанного, жирные липкие грузинские мухи взметнулись над столом и трусливо жужжащей стаей взлетели к потолку...

Да, тогда, то есть 26 июля, в 11 утра, Маркин не ошибся: мичман Ракитин вышел из штаба базы — и был мичман при пистолете! Ибо только что покинул 8-е (шифровальное) отделение, получив там пакет парной связи на декаду от 20 июля до 31-го. Конечно, начальник отделения не мог не спросить его, почему декадный шифр получается только сейчас, 26-го числа, а не 19-го, не 20-го, на что, без сомнения, Ракитин ответил примерно так: «Будто сами не знаете!» А тот, как и все в штабе, знал про

адмиральские забавы под Батуми. И пакет был получен, и предполагалось, что исполняющий обязанности командира поста СНИС мичман Ракитин отбудет на свой мыс Гонио, причем — вот она, власть местного обычая! — никем и ни в каком документе не было предписано, каким транспортом должен следовать за сто километров от штаба вооруженный пистолетом человек со сверхсекретным шифром. Порою проездных документов даже не выписывали: да добирайся как знаешь! Но не встретиться после двенадцати, когда Хомчук сменится, компаньоны и боевые товарищи не могли, и, конечно, напрямиком из штаба Ракитин отправился в дом Хомчука. «Ну, выпили...» — так скромно объяснил Хомчук то, что последовало далее, а выпито было так много и основательно, что из головы Ракитина вылетела дата свадьбы, на которой обязан был восседать — при орденах и медалях — Хомчук. Потом же произошло нечто необъяснимое. Пришедший к Хомчуку Ракитин, свято оберегавший военную и государственную тайну, пакет спрятал, а где — сам не помнил и о пакете вообще не тревожился бы, не навались на Батуми странная комиссия. Раз в сутки в 13.07 посту СНИС на мысе Гонио отводилась частота для выхода в эфир, и только на выделенной частоте применялся пакет парной связи, только со штабом базы мог связаться пост СНИС, используя шифр этого пакета. Его-то и хватился Ракитин, когда на пост спикировала странная эта комиссия или слухи о ней докатились до мыса Гонио; мичман и стал вчера названивать Хомчуку, намекать и прямо указывать, что пакет спрятан там, в доме его, он и просил Хомчука срочно доставить шифр в Батуми, чего тот, пакет все-таки нашедший, сделать сейчас, то есть ни сегодня, ни завтра, не сможет. Но для доставки его, полагал Хомчук, Маркин более чем подходит. Во-первых, он вооружен, потому что на катере Казарки есть пистолет (мичман не скрывал, что знает все о планах Маркина, мичман выразился даже более точно: да каждый год, сказал он, кто-то из лейтенантов летит, как на огонь, в Батуми!). Ему же самому никто не выдает пистолета, да и как он объяснит желание получить личное оружие почему-то именно сегодня и на двое суток? А на причале морвокзала в Батуми Маркина встретит Ракитин. Пакет же — здесь (Хомчук похлопал себя по тужурке и для вящего доказательства извлек его из грудного кармана). Во-вторых, ему, Хомчуку, удаляться из Челадиди нельзя: покинуть свадьбу — значит нане-шаркал шлепанцами, скрылся за стойкой. А Хомчук сказал, что на грузинской свадьбе и впрямь тамада сидит в резиновых сапогах, потому что тавать из-за стола ради малой нужды, а возможно и большой, не позволяет обычай. Сам же он восседал на почетном месте, во главе стола: во-рвых, близкий родственник, а во-вторых, очень уж чтут грузины ордена мундиры!

«Саперави», очень приятное в такую жару своей холодной кислятин-й, принеслось Варламом, и, потягивая винцо, Маркин представлял, как эти ордена и медали будут посматривать следователи военной прокуратуры, выбивая из Хомчука показания по уголовному делу...

— Выкладывайте, Никита Федосеевич, выкладывайте все.

Словно заранее поняв то, что начнет сейчас говорить мичман, и в обнованном страхе от еще не услышанного, жирные липкие грузинские хи взметнулись над столом и трусливо жужжащей стаей взлетели к полку...

Да, тогда, то есть 26 июля, в 11 утра, Маркин не ошибся: мичман Ракитин вышел из штаба базы — и был мичман при пистолете! Ибо только о покинул 8-е (шифровальное) отделение, получив там пакет парной язи на декаду от 20 июля до 31-го. Конечно, начальник отделения не иг не спросит его, почему декадный шифр получается только сейчас, -го числа, а не 19-го, не 20-го, на что, без сомнения, Ракитин ответил имерно так: «Будто сами не знаете!» А тот, как и все в штабе, знал про

в галльон по малой нужде — и напоролся на пьяненького командира базы. Для базового начальства столовая отвела особое помещение, отдельный кабинет размером с банкетный зал, там-то и шла пьянка, оттуда-то и вышел контр-адмирал, в пьяненьком добродушии мягко пожуривший лейтенанта за то, что тот пришел сюда пить. «Я трезвый, товарищ адмирал!» — возразил не подумавший о последствиях Маркин, на что адмирал с укоризной покачал головой и даже погрозил пальчиком. Лишь на улице Маркин осознал идиотизм ситуации, в которую вляпался: он, лейтенант, уверял пьяного адмирала, что трезв, и уверения эти, соотнесенные с разницей в чинах, граничили с оскорблением высокого должностного лица и сокрушением всех норм не только устава, но и жизни. Вчера при заступлении на дежурство он столкнулся с командиром базы в коридоре и по взгляду того понял: именно сокрушением основ, на которых держится флот, признаны были адмиралом слова лейтенанта Маркина: «Прошу прощения, товарищ адмирал, но я трезв!» — именно так было сказано им после того, как сановный адмиральский пальчик пригрозил тяжкими карами. Вот так вот: командир базы — помнит. Более того, припомнит — в ноябре, когда будут решать: быть Маркину на кораблях или гнить на берегу?

Подталкивая Маркина к нужному ему решению, Хомчук вновь предложил уйти отсюда в столовую военторга, и вновь Маркин утвердился в решении: быть в Батуми! Обязательно быть! И обязательно с пакетом! Потому что не трудно представить, что произойдет, если комиссия заставит Ракитина начать радиосеанс со штабом базы. Немедленно сыграют аврал всей контрразведке не только базы, но и всего ЗакВО, всего ЧФ. И будет непреложно установлено, где находится лейтенант Маркин. Выхода нет. То есть он — единственный: отобрать пакет у совсем потерявшего рассудок Хомчука и двигать в Батуми.

На столике же между тем появились свиные отбивные, с жару, свеженькие. И четыре бутылки холодного пива (привозного, «Мартовского»), что редко, очень редко случалось в Харчевне. Хомчук зубами открыл две бутылки, протянул Маркину. Выпили. Отправили в рот по куску мяса. Счастливо вздохнули — так хороши были отбивные.

— Дай-ка глянуть на конверт, — сказал Маркин, еще в штабе подумавший, что пакет утерян, и обрадованный Хомчук достал его из кармана.

Маркин глянул. По виду — тот самый, штатный. Приблизился к оконцу, чтоб рассмотреть получше, но стекла не промывались лет десять, в Харчевне тускло. Тогда перешел к проему, откуда бился свет из хорошо освещаемой кухни. Убедился: да, тот самый конверт. Обычного почтового формата, слева в верхнем углу чернилами от руки выведен номер поста, сам же конверт запечатан и засургучен. И — на свет — виднеется содержимое: еще один конверт, размером раза в три меньше, в нем-то и самое главное и ценное — дополнение к общему флотскому пятизначному шифру, двадцать два листочка, сброшюрованные в блок, с группами цифр на тончайшей папиросной бумаге. Печать на конверте настоящая и цельная, не поврежденная (Маркин долго рассматривал ее, вертя в руках конверт так и эдак), сам же конверт немного помят: следы пребывания в кармане. Почему на этих конвертах с пакетами парной связи не делались устрашающие надписи типа «Совершенно секретно», Маркин не знал, мог только догадываться: существует такая степень важности документа, что слов не хватит для измерения ценности и скрытности.

— Хорошо, — сказал он. — Я забираю его. Ракитина предупреди: до Батуми я добираться теплоходом «Украина». Пусть ждет меня на морвокзале, у трапа. Два вооруженных матроса при нем. И давай беги отсюда. Никто не должен видеть нас вместе... Стой! — крикнул он, бросая конверт в чемоданчик. — А шифр на первую декаду августа?

Тот пошел фельдьегерской почтой, позавчера — таков был ответ, и за Хомчуком прикрылась дверь. Фыркнул мотор «Победы», унося в Челадиди

мичмана, оставившего на столе подношение — бутылку прекрасного коньяка, унесенную со свадебного стола, и сотенную за отбивные и пиво. Маркин снял китель и фуражку, из чемоданчика достал бело-голубую в клетку «бобочку», рубашку с короткими рукавами, и натянул ее на себя. Теперь он — штатский человек, с паспортом, Андрей Иванович Кокушкин, 1933 года рождения, из Челябинска. Документ особой важности будет доставлен в Батуми во что бы то ни стало!

Старик Варлам долго не мог понять, что от него хотят; в скважину уха летели просьбы подсчитать, сколько ему должны, но слова так и не долетали до дна. Маркин оставил на столе деньги, погладил старца по плечу, жалея его, убогого и доброго.

Путь к дому лежал через Рион, но грузины так и не восстановили разобранный с утра мостик; с кичливым народом этим ничего не могли поделать ни партия, ни армия, ни флот, и Маркин, весь в злости от воспоминаний о пьяноватеньком адмирале, уразумев, что за переправу лодкою на другой берег реки с него сдерут пятерку, решил добираться до дома другой дорогой, поскольку денег было мало, жизнь на берегу — дороговато стоит, это не корабль. Впереди же — Батуми, роскошный город с безумными расходами.

Будь мостик на месте, Маркин все равно повернул бы обратно: в нем подрагивал — неповоротливым грязным животным — страх, который обволокло его, пропитало и, наконец, пронзил отчетливым пониманием того, что сейчас или сегодня им совершена преступная глупость и даже нечто большее. Беда поджидает его, опасность почти смертельная! Какая беда и какая глупость — уже не додумаешься, уже не понять, потому что с какого бока прошедшие сутки ни рассматривай, а никакой глупости вроде бы с языка не слетало. Ощущение, однако, гадкое, то самое, что навалилось на него в штурманской рубке, куда он принес неоткорректированные карты. Кто сегодня обманул — вот в чем загадка. Всю эту историю с пакетом парной связи ни Хомчук, ни Ракитин выдумать не могли. А с другой стороны, никакого секрета в этих листочках папиросной бумаги нет. На них — произвольные, взятые «с потолка» группы пятизначных чисел, прибавляются они к уже зашифрованным группам при отправке сообщения, а затем вычитаются при приеме. Поскольку пакет парный, то есть существует в единственном экземпляре только у передающего и только у принимающего, раскрыть основной шифр ни теоретически, ни практически невозможно. Цифры, выданные командиру, например, поста СНИС в Очамчире, в Батуми уже не никак не применяются. Мороки с этими сложениями и вычитаниями столько, что за последние восемь месяцев ни разу еще пакеты никем не вскрывались. А если пакет пропадет, то беды никакой нет, сеанс связи не состоится, вот и все. Но если комиссия потребует связи со штабом — пропажа пакета ударит по всей базе, по всему ЗакВО, удар сметет с лица земли и Ракитина, и Хомчука, и — теперь уж наверняка — самого Маркина.

В голове дежурного по ПСОДу планшет жил независимой от штаба жизнью, макеттики передвигались сами собой в те дни и часы, когда Маркин спал у себя в комнате или лежал на пляже. И полтора часа назад, сдавая смену, он принял донесение сухумского поста: стоявший в порту теплоход «Украина» вышел в море, держа курс на юг; теплоход опаздывал на сутки, но, конечно, укоротит стоянки и в Поти, и в Батуми, чтоб войти в расписание. Билет же на руках, отпала нужда толпиться у кассы.

Итак, в шесть утра завтра он будет в Батуми. Все складывалось как нельзя лучше, если б не этот проклятый пакет парной связи. С ним надо как-то решить. Его уже Хомчуку не вернешь; но и не сидеть же здесь под платанами или потягивать пиво в Харчевне, которая, кстати, прикрылась: Маркин увидел, как Варлам навесил замок на дверь и куда-то резво поспе-

шил — старик, оказывается, не такой уж тягуче-медлительный. Или в галльон торопится?

Надо, подумалось, как-то избавиться от сверхсекретного пакета, в котором никаких секретов нет. Никаких! Однако свеж еще в памяти случай, обнародованный в приказе Главкома ВМФ. У старпома подводной лодки пропал в каюте секретный документ. Установлено было абсолютно точно: документ где-то на лодке, не мог быть вынесен никак. Десять лет — таков был приговор. А семь месяцев спустя на ремонте в доке при вскрытии обшивки каюты документ был найден, что тем не менее на судьбе старпома не сказалось, он продолжал томиться. Эти же листочки в пакете только тогда имели ценность, если в нарушение всех инструкций не уничтожались после применения, а сохранялись, что влекло наказание, даже если они не попадали в руки американских шпионов.

Маркин поднялся, покинул тень. Сразу дохнуло сорока градусами раскаленного воздуха. Спасала надетая на голое тело рубашка, в кителе было бы невыносимо. При ходьбе тело обдувалось. Чемоданчик с кителем, удостоверением личности, пропуском в штаб, фуражкой, паспортом, пакетом и бутылкою коньяка оттягивал руку.

Обеденный перерыв еще не кончился, на часах — 13.35, и, когда до штаба оставалась сотня метров, Маркин начал переодеваться. Рубашка впечатляющей расцветки отправилась в чемоданчик, фуражка обосновалась на голове, а на теле — китель. Все решив и рассчитав, он прибавил шагу, надеясь управиться с задуманным делом до того, как через КПП потекут офицеры...

Поднявшись на третий этаж, он постучался в знакомую, обитую кровельным цинком дверь с надписью «Посторонним вход строго воспрещен». Немногие посвященные в дела этой комнаты знали условные стукки, и Маркину — после тройного удара кулаком — приоткрылось окошко, выглянул дежуривший мичман, узнал, лязгнул замком, на немой вопрос кивком головы указал на выгороженную в комнате клетушку, обитую, как и дверь, металлом. Маркин побарабанил по ней костяшками пальцев. Еще одно оконце открылось, а затем и дверь. Вышел капитан-лейтенант, на кораблях именуемый так: офицер СПС (средства потайной связи), а здесь — начальник 8-го отделения. Его в штабе не любили, как, впрочем, и нигде — за придирки и постоянные напоминания о бдительности. Достав из кармана конверт, Маркин посвятил главного шифровальщика базы в суть того, зачем пришел сюда. Конверт с пакетом парной связи, сказал он, выдан мичману Ракитину 26 июля сего года для последующей доставки на пост в Батуми, но до сих пор содержится в штабе. Не исключено, что конверт придется отправлять к месту назначения, но сегодня-то — 30 июля, причем сеанс связи если и предвидится, то только завтра, 31-го числа. Следовательно, все предшествующие этой дате листочки — лишние, не будут использованы ни при каких обстоятельствах, и надо их уничтожить — здесь, в Потти, а не там, в Батуми, поскольку — это общеизвестно и общепринято — пересылка или передача неиспользованной документации запрещена. Таким образом, подытожил Маркин, надо сейчас по акту десять листков с группами пятизначных чисел аннулировать путем сжигания или какой-либо иной процедуры.

Капитан-лейтенант, подумав, согласился — после того, как позвонил на узел связи и установил, что на выделенной Ракитину частоте радиобмена не было. В клетушке он достал разные журналы учета, включил настольную лампу и с лупою изучил печать на конверте. Те же действия проделал и мичман. После чего конверт был вскрыт и все листочки, прихваченные клеем по левому краю, пересчитаны дважды. Самый последний (на 31 июля, для односторонней связи) оставлен, для него нашелся чистый конверт. Мичман включил электроплитку и поставил на нее жестянку с

сургучом. Заодно в розетку воткнулась еще одна вилка, стала нагреваться специальная печурка, накалилась она быстро. Вновь пересчитанные папиросные листочки на электрических углях скукожились, изогнулись в черные пластины и превратились в пепел, который струей воды из-под крана смылся в канализацию. Начальник отделения быстро заполнил акт об уничтожении, он был — не без некоторой торжественности — подписан всеми тремя присутствовавшими при аутодафе. Маркину пришлось выдерживать нелегкую минуту: капитан-лейтенант вознамерился было вписать в журнал выдаваемый офицеру ПСОДа конверт, но после напоминания о том, что запись уже есть (датированная 26 июля), изменил решение. Рукопожатие, два-три слова о жаре — и Маркин миновал КПП до того, как через него пошли косяком офицеры штаба. Дело сделано, нарушены все мыслимые и немыслимые инструкции, приказы, наставления и даже сами местные порядки. Вот что значит знакомство с начальником самого секретного отделения.

Теперь можно не спешить. Автобус привез к дому. Чемоданчик поставлен на пол, тело разлеглось на кровати, веки смежились, Маркин впал в состояние небытия, напоминающее длительный и невидящий взгляд на планшет. Корабли и самолеты операционной базы шли разными курсами и пересекали воздушное пространство, их перемещениями на планшете ведал заступивший на смену новый дежурный по ПСОДу, но и во сне Маркин продолжал следить за ползущими макетиками, и когда теплоходу «Украина» оставалось до Поти тридцать миль, он проснулся. Глаза еще были закрыты, а ноги уже обосновались на полу. Голова ясная, думающая, желудок радостно пуст, щеки и подбородок требуют лезвия, скользящего по намыленности. Черные флотские ботинки начищены, черные офицерские брюки не на клапанах и мало чем отличаются от штатских, фуражка и белый китель уложены в чемоданчик, туда же полетела разная мужская мелочь. Долгих пять минут длилось разгадывание ребуса — совместим ли паспорт с удостоверением личности, принимая во внимание, что обладатель того и другого держит в чемоданчике конверт особой секретности. К паспорту может прицепиться милиция, к удостоверению личности — сверхбдительные стражи военно-морского порядка. Что будет в том и другом случае — трудно представимо, поэтому удостоверение личности было сунуто под половицу, а паспорт уложен в карман брюк. Коньяк решено было взять с собой.

Наиболее же трудная часть задуманного сделана была в полторы минуты. Конверт вскрыт и подвергнут операции уничтожения. Квадратик папиросной бумаги с пятизначными группами сложен вдвое, потом вчетверо. Острием гвоздя выщелкнута крышка ручных часов «Победа», и дополнение к шифрам улеглось на механизм, а затем крышка вдавилась в корпус, замуравав государственную и военную тайну. Несколько дольше длилась порча браслета. Теперь снять с запястья ручные часы было невозможно.

Дверь едва не была закрыта на ключ, когда пришла мысль: голубая в клетку рубашка — да чересчур уж она в глаза бросается, слишком приметна! Долой ее, снять, надеть эту вот, серенькую, мятую, невзрачную. В путь! Теперь — в путь!

До швартовки теплохода оставался час. Есть еще время найти якобы случайного знакомого, обязательно в штатском и не местного, вместе с ним подняться на борт, ибо два оживленно беседующих человека — это не одиночка с недобрыми намерениями, каким представлялся пограничникам сам Маркин, частенько до полуночи валявшийся на пляже. Как там замечилось, обходивший берег дозор никогда не останавливался около парочек, исходя из сугубо математических расчетов: вероятность того, что шпион любит закатом, невысока, но два шпиона вместе — это уже стремящаяся к нулю величина. Потому так нужен временный попутчик,

чтоб он заслони́л Маркина, в котором даже наметанный и опытный взгляд не должен опознать переодетого офицера штаба.

Чистая и ясная голова алкоголика Казарки все продумала точно, билет взят им правильно: именно палубный наиболее выгоден, ночь будет проведена в шезлонге. Температура наружного воздуха — плюс двадцать два, море — один балл, ветер юго-западный, почти штиль. Лучшего места и времени не найдешь. Взять каюту — это обозначить себя. Третий помощник капитана, ведавший пассажирскими перевозками, может запомнить его, да и какие-нибудь шастающие по коридорам вахтенные заприметят.

Наступали решающие часы в исполнении скрытно и тщательно разработанного плана. Под мерцающими звездами пробирался Маркин к порту, держась подальше от улицы Ленина, ведущей к морю, всегда людной в вечерние часы. Небесная синева сгущалась, скрывая его, крадущегося к морвокзалу. Никого из знакомых не повстречалось, и это казалось хорошим признаком. «Украина» была уже в трех милях от порта, приветствуя Маркина огнями и призывая к бдительности, к бдительности и еще раз к бдительности. Впереди шла женщина, перекидывая большой чемодан из руки в руку, и прибавивший было шагу Маркин (женщине надо же помочь!) резко осадил назад, потому что узнал Антонину Синицыну!

Это было уже сущим издевательством: сплошные завалы на пути к Батуми, минные заграждения на фарватере, вроде бы уже протраленном! И Маркин приотстал, благо время позволяло не спешить, и будущая повари́ха растаяла в темноте, поглотившей негромкую брань, обращенную Маркиным на себя: нельзя, нельзя расслабляться, надо помнить про опоздание «Украины» на сутки!

Теплоход уже вползал в акваторию порта, приближаясь к огням морвокзала, где царила суэта, обычная при швартовке. Зал ожидания почти пустой, отдельного человека там увидят и опознают. Народ толпится на причале: громадный корабль, покорно теряющий движение и соединяющий себя с неподвижной землей, всегда почему-то притягивает взоры. В офицерской форме — всего трое, все из береговых частей, никто из них Маркина не знает, да они всего-навсего встречающиеся, с букетиками цветов высматривают кого-то там, наверху, на палубе. Ничего загадочного или подозрительного: бригада ОБРа — в море. Однако лучше никому не мозолить глаза и минут на тридцать побыть там, куда не сунется ни милиция, ни патруль, ни Антонина Синицына. Комендантский «газик», кстати, уже покати́л прочь, удостоверюсь в трезвости офицеров и законности их пребывания на причале морвокзала. В ресторан «Новая Колхида» лучше не заходить, публика вся местная, к одинокому едоку либо женщина прицепится, либо грузин. Но и торчать на виду неразумно. Надо найти такое место, откуда виден и приваливающий к причалу борт теплохода, и ресторан, где среди публики мог обнаружиться нежелательный свидетель.

Такое место Маркин нашел — за столиком под навесом, у ресторанных окон. Бутылку «Мукузани» взял в буфете, а товарищ в штатском, под прикрытием которого можно будет подняться на борт, сам себя предьявил, сев рядом с ним и дружелюбно кивнув: я ведь не помешаю, да?.. Светлая рубашечка на молнии, серый пиджак спортивного покроя, уже теряющий модность, — словом, одет без наглого шика, обычного у грузин его возраста; русский, лет тридцать, не больше, очень приветливые глаза, рассматривают ресторанный народ за окнами, приглядываются и к тем, кто ждет, когда трап опустится и можно будет подняться на борт. По тому, с каким наивным и любознательным интересом глазел человек этот, можно безошибочно догадаться: он — впервые в Поты, ему совершенно незнакомом, он проездом здесь, ему все здесь внове, потому что публика в ресторане, народ на причале и парень за столиком (Маркин то есть) — все они

для него как добродушные медвежата в зоопарке, неуклюжие и доверчивые. Раздались наконец громогласные — через динамик — команды на теплоходе (уже заносился носовой швартов), трап спустили, по нему медленно сходили люди, и вдруг Маркин услышал:

— Не в Батуми ли?

— Ага.

— И я тоже... Да вот конфуз: чемодан мой умыкнули злодеи... — Мужчина беззлобно рассмеялся. — Там трусики и майки, но все равно обидно... Самого чемодана жалко, он примерно такой, как у вас...

Мужчина чуть отодвинулся от стола, чтоб разглядеть чемоданчик Маркина у ног его, и удовлетворенно кивнул — да, именно такой, мол, был у меня, да сплыл. И Маркин глянул на свой чемоданчик, легкий, обычный, с каким не стыдно корабельному офицеру сходить на берег. И услышал, как сосед по столику грустно промолвил:

— Один товарищ рядом крутился, он и попользовался, наверное... Такой парнишка в бело-голубой рубашке... В клетку... Не видели?

— Нет.

— Ну что ж, в Батуми куплю... Не беда. А вы здешний?

— Не совсем... — замялся Маркин, несколько удивленный тем, что в Потти кто-то, кроме него, обладает бело-голубой клетчатой рубашкой, купленной матерью в Таллине. — На судоремонте работаю.

— Вадим, — назвал себя мужчина и протянул руку, — Сергеев.

Минута понадобилась Маркину, чтоб назвать себя паспортным и настоящим именем. Фамилия, как назло, улетучилась из памяти, но Вадим Сергеев удовлетворился одним именем. Закрепляя знакомство, он покинул на время Маркина, покрутился в ресторане, явно для того, чтоб найти все-таки воришку, взял в буфете графинчик с коньяком и вернулся к столику. Выпили, многозначительно промолчав, поскольку говорить было не о чем. Зато коньяк как бы сделал их не просто знакомыми, но и собутыльниками, коньяк как бы обязывал их вместе подниматься на борт теплохода.

Толпа на причале сильно поредела, Синицына Антонина уже добралась до верхней площадки трапа, где вторично проверялись билеты, и Маркин, глаз с нее не спускавший, подхватил свой чемоданчик. Рядом шел Вадим Сергеев.

— Во сколько прибудем? — спросил тот уже на трапе, и Маркин ответил, что-то добавив, а к добавленному что-то еще присоединил Вадим Сергеев, и так они, оживленно переговариваясь, оказались на пассажирской палубе, где Маркину уже не требовался ни попутчик, ни собеседник, ни тем более собутыльник — как, впрочем, и Сергееву, который все еще не терял надежды найти воришку и то смотрел на причал, где тот мог показаться, то взглядом пощупывал каждого на палубе... отошел от Маркина, затерялся в толпе пассажиров, липнувших к борту и сверху глазающих на скупо освещенный морвокзал.

А Маркин бочком, бочком — и в ресторан, сел за дальний столик: до того, как поднимут трап и отдадут швартовы, двадцать минут, на борт еще может подняться патруль или пограничники, и тогда сидение в ресторане засвидетельствует — человек просто выпивает, не имея злостных намерений покинуть Потийскую ВМБ. Не стал возражать поэтому, когда к столику подгрребла Антонина Синицына, таща фанерный чемодан отвратительно желтого цвета, еще и перепоясанный солдатским ремнем. Дура дурой, а чемоданчик Маркина заметила, как глубоко ни засунул его под стол Маркин.

— Вот те на! — сказала. — И ты никак в Батуми!

За половину этих выжидательных двадцати минут узнано было, что трехмесячные курсы начинаются с понедельника, по окончании их будет выдан диплом повара второй категории... Кроме того, болтливая официантка выложила кое-какие секреты о подругах, что сидели в прошлый

раз за столом у летчиков, да и самих летчиков не пощадила: тот старший лейтенант, что пытался поухаживать за ней, погорел, в дымину пьяный завалившись в часть, а другой старший лейтенант не прошел предполетного медосмотра, и будь такой прогар впервые — был бы прощен, но — уже в третий раз...

— Давай выпьем! — оборвала вдруг новости с озера Тоня и похвасталась выданными командировочными, выдернув пачку денег из-под бюстгальтера. — Закажем шампанею!

Одно утешало: к тому времени, когда Тоня после курсов вернется в Потю, его в базе уже не будет.

Маркин слушал чутко — но не Тоню, а все происходящее на палубе. Заработали трап-тали, что означало: патрулей на борту уже нет, пора посылать к черту эту Тоню с желтым чемоданом да поискать укромное местечко на палубе... Пора. Надо лишь найти предлог, чтоб отвалить от будущей поварихи, готовой пить всегда, сколько влезет и с кем угодно. Мог бы помочь заглянувший в ресторан давешний знакомый Вадим Сергеев, подсесть — и уж на этого красавца Тоня клонет. Но тот взглядом и жестом дал понять, что не намерен нарушать лирическое уединение за столиком.

Вдруг Антонина пригляделась к Маркину и ойкнула:

— Слушай, а почему ты в этой мятой рубашке? У тебя же есть такая миленькая, в клеточку, голубенькая!..

— Грязная...

— Не мог меня попросить... Сказал бы своим соседям, моим летунам, передали бы...

Она смотрела на кого-то, стоявшего за спиной Маркина. Сказала со сварливостью бабы, которую пытаются обсчитать:

— Вы вот что, гражданин... Идите куда подальше. У нас свои интересы, нам по-семейному поговорить надо...

Маркин повернулся — и увидел Вадима Сергеева, который дружески положил руку на его плечо, а затем сделал полупоклон. Голос его был серьезен и вкрадчив.

— Моя прекрасная незнакомка!.. — Он сделал паузу. Антонина Синицына пялила на него глаза. — Мой друг Андрей не нашел в себе мужества представить меня вам... И я понимаю его робость: не всякий достоин этого... Так позвольте же назвать себя: Вадим Сергеев, пассажир...

Не ожидая приглашения или разрешения, он смело устроился рядом и так улыбнулся Тоне, что у той отпала охота гнать его прочь. Потом глянул на стол, как бы дивясь тому, что на нем нет достойных его и всех сидящих напитков и блюд.

Заработали машины громадного корабля, ногами, телом ощущалась мелкая дрожь корпуса, а Вадим Сергеев призывным жестом дал знать официантке, что той надобно подойти и принять заказ; чуть привстав, он понизив голос сказал, что чрезвычайно уважает право прекрасной незнакомки семейно поговорить с молодым человеком по имени Андрей, поведение которого он осуждает, ибо нельзя быть таким бестактным и бесчувственным, когда к нему с самыми добрыми намерениями обращается красивая молодая девушка, предлагая выпить...

Ему вновь пришлось привстать, потому что замороженно смотревшая на него Антонина Синицына протянула руку, чтоб тот пожал ее, и даже назвала себя.

— Конечно, — продолжал Сергеев, воодушевляясь все более и более, — высокое звание советского рабочего, коим гордится Андрей, разрешает ему выборочно относиться к приглашениям разного рода, однако...

— Да никакой он не рабочий! — вспыхнула Тоня, очень довольная тем, что с нею знакомится мужчина по имени Вадим Сергеев. — Он офицер, в штабе служит... А вы кто, гражданин?

— Я скромный советский служащий, — ответствовал Вадим Сергеев. — Отпуск, сами понимаете, желание пообщаться с далеко не худшими представителями советского народа...

Официантка уже открыла шампанское, наполнила бокалы, дополнительно плеснув известие: ресторан работает до двух ночи, — на что Вадим Сергеев отозвался просто, предложив пить коньяк не рюмками, а фужерами, иначе не напьешься! Отпуск так отпуск! Отпускать так отпускать!

В недрах теплохода бился пульс машины, оторвавший борт от причала, развернувший корабль носом к выходу из бухты. В ход пошла первая бутылка коньяка. Вадим хохотал, рассказывая еврейские анекдоты, и с такой почтительностью обходился с Тоней, что Маркина начинала злить это мужское умение быть сразу предупредительно вежливым и наглым, и уж совсем бесила беспросветная дурость официантки, начавшей издеваться над товарками по профессии.

— Девушка, — обидчиво протянула она официантке, прочитав меню от корки до корки. — А почему у вас такие дорогие котлеты по-киевски?.. — И важно надула губки.

— Потому что они из самого Киева!.. — рассмеялся Вадим и продиктовал заказ.

Карандашик миловидной девушки попрыгал по блокнотику, девушка готова была подать что угодно, хоть себя, так ей нравился этот Сергеев, так охотно, заранее угадывая его просьбы, исполняла она все, и, уже отойдя, волчком, в каком-то гибком танцевальном движении развернулась так, что края юбки взметнулись, вопрошающе глянула на Вадима, который к винам, коньякам и фруктам добавил:

— Свиную отбивную, шницель по-венски будьте любезны! И для дамы — котлету подешевле, из-под Киева!

И в тот момент Маркин догадался, кто обхаживает его, только его (дура Тоня не в счет), потому что вспомнил Харчевню, глухого как пень Варлама, с пятнадцати метров уловившего негромко произнесенное Хомчуком желание вонзить зубы в свиную отбивную и пивом запивать мясо, порскающее брызгами жира и масла. Никогда бы отбивные и пиво со льда не появились на столике перед Хомчуком, не услышь будто бы тугой на ухо Варлам о шифре и конверте. А также — уже позднее — о теплоходе. После чего — около половины второго уже вчерашнего дня — Варлам спешно покинул Харчевню, оповестил кого-то о гуляющем и безохранном пакете с шифрами, который в чемоданчике офицера, лейтенанта в белоголоубой клетчатой рубашке. А в одиннадцать вечера, то есть через девять с половиной часов, человек, называющий себя Вадимом Сергеевым, уже был в Поти. В шесть вечера с чем-то на станцию Самтредиа приходил поезд Батуми — Москва, бросок на такси — и ты в Поти. Или проще: прямо из Батуми в Поти на такси. Сам он, Сергеев, не местный, в Грузии он новичок, с винами путается, «Салхино» принял за «Саперави». Но — русский, речь правильная, еле слышен какой-то акцент; границу пересек совсем недавно, еще не освоился в СССР...

Чемоданчик, где будто бы лежал этот пакет, Маркин машинально подвинул ближе к себе, зажав его меж ног, что не осталось Сергеевым не замеченным, и Вадим понимающе кивнул: да, все правильно, а то сопрут, как у меня... Теплоход уже лег на курс 180 градусов, прямо по носу — Батуми (Маркин мысленно переставил макетик на планшете), штопор выдергивал пробки коньячных и винных бутылок, и после того, как выпили за штаб, в стенах которого служит «наш дорогой друг Андрюша», Маркин сказал себе: «Хороший лимонад!..»

— Почти сухое вино... — промолвил он после очередной порции коньяка (Вадим не скупился на тосты, а чтоб у сидящих за столом не мелькну-

ла мысль о том, что расплачиваться придется им, он сунул при всех деньги в кармашек официантки).

— Лимонад-то — выдохся, — про себя констатировал Маркин и впал в состояние, какое называется «лыка не вяжет». Подпер кулаком подбородок и ждал дальнейшего развития событий, догадываясь уже, что произойдет в ближайшие три часа, и приоткрывая веки, чтоб наблюдать за столом. И верил, и знал: русская баба от пьяного мужика своего не отойдет, в обиду его не даст.

— А друг-то наш — кажется, наклюкался... — посетовал Сергеев, на что Тоня, привыкшая к неразбавленному спирту, успокоительно махнула рукой.

— Он по пьянке терпимый... А вот пить не умеет... Да и не выпавшись, с дежурства... Ну-ка подсчитаю сейчас... Когда это мы с ним гужевались? Ага, — стали загибаться ее пальцы. — Тогда он только сменился, дежурства у них суточные... Ну правильно! Он в полдень сдал смену, ночь не спал, вот и притомился.

— Так спал бы у себя в казарме или где там... Что его потащило в Батуми?

— Что-то, значит, важное потащило... Им же, офицерам базы, запрещено покидать Потю. Значит, по службе. А она у него — секретная.

Антонина Синицына умолкла, чтоб Вадим Сергеев оценил важность ее слов. И поскольку молчание его как бы ставило под сомнение ее слова, авторитетно уточнила:

— Он в пункте служит, где что-то собирают и кому-то доносят. ПСОД называется. Я однажды шла по улице с одним лейтенантом из стройбата, махнула Андрюшке рукой: привет, мол, а он отвернулся.

— Интересно, — сказал Вадим и пальцем проверочно ткнул в горло Маркина. — Вам повезло, на вас он уже не донесет... Давно его знаете?

— Ну не так чтобы уж давно... Знаешь, что я тебе скажу... — Она поманила к себе Сергеева пальчиком, и он придвинулся к ней. — Ты знаешь, — она понизила голос, — я с ним переспала.

Сергеев разрезал ножом яблоко и ждал продолжения.

— Пе-ре-спа-ла. Сознательно. Идя навстречу не его пожеланиям, а своим. То есть не ломалась. Сразу разделась. Сама. Понимаешь это?

— Понимаю. Последний и решающий довод есть не только у королей. Продолжай. Если б ты знала, как приятно слушать тебя.

— Ну и слушай. Переспала. Хоть он и упирался. Не хотел сперва. Боялся. У нас в базе болезнь такая среди мужчин и женщин ходит, триппер, от которого сладу нет, ни один пенициллин не помогает. Вот он и забоялся, что я... Так я ему справку предъявила, что — не заразная.

— А что — такие справки есть?

— Есть. Иначе на работу в общественное питание не возьмут. Я как справку эту ему предъявила — он сразу согласился полюбить меня как женщину.

— А ты не можешь показать мне эту справку?

— Ни в жисть. Она у меня с собой, но... Секрет! Военный! Нас предупреждали, когда на работу брали. Извини, такая уж я.

— Извиняю. И извиняюсь. И справку не требую. Было бы чистым безумием спрашивать королевский ордонанс у Жанны д'Арк.

— Чего-чего?..

— Успокойся: ничего.

— А все-таки?

— Золотце мое, радость моя... Слова твои — бальзам на мои незаживающие раны... Однако: ведь ему-то ты справку показала? Секрет выдала! Наверно, потому, что Андрюшка твой — из штаба! И служит в этом, забыл, как ты его называешь, секретном подразделении.

— Вот уж нет так нет! Да ко мне хоть сам командир базы подвалит — от ворот поворот! Ну догадайся, почему отдалась с ходу?

— А чего гадать?.. Ты его полюбила. Есть же любовь с первого взгляда. С первого или последнего поцелуя. И в середине волнующего акта сближения.

— А вовсе нет! Я не раз любила с первого взгляда, но ничего не позволяла. А Андрюшке — разрешила. Потому что он — тридцать первого года рождения. Вот! Потому что ему уже двадцать три! Понял?

Маркин свесил голову, а потом и уложил ее на столе. Под ухом — тиканье часов, напоминающее о шифре. Сквозь веки видны — сбоку и снизу — наклейки на бутылках, ножки фужеров, тарелки плашмя, полусжатые кулаки Сергеева и руки Тони, коротко, очень коротко обстриженные ногти ее: видимо, таково было требование курсов поваров.

— Не понял... — со вздохом признался Сергеев.

— Тогда... налей-ка мне вон того, массандровского... Ага. Так вот, я из Ленинграда, блокадница. Слышал о блокаде?

— Кто не слышал...

— Сам-то — воевал?

— Воевал: фонариком сигналил, на велосипеде мотался из одного квартала до другого, друзей предупреждал... Сопrotивлялся, так сказать...

— Нет, ты ленинградскую блокаду знаешь?

— Знаю. Когда такой вот стол и во сне не привидится.

— Нет. Блокада — это не тогда, когда жрать нечего и когда куска хлеба не будет ни сегодня, ни завтра. Блокада — когда ни с кем говорить не хочется. Потому что боишься услышать: дай хлебушка. Когда не собою становишься. Потому что — я это поняла там, в блокаду, — ты только тогда человек, когда говорить не боишься. И я с зимы сорок первого боялась. Услышать боялась: одолжи пятьдесят граммов. Это я-то, со всеми добрая до того, что мать бивала не раз. А в зиму сорок второго, в ноябре, мне тогда десять лет было, встретил меня на улице у дома мальчик, ему двенадцатый год пошел, мы с ним часто в очереди вместе стояли в магазине на углу, до войны еще... И мальчик вдруг говорит мне: дай мне до завтрашнего утра кусочек хлеба, а то умру.

— И?..

— Не дала я ему! Не дала! А был у меня кусочек хлеба в носовом платке! Был!

— И?..

— И он умер. А может, и не умер. Но его я с того дня уже не видела.

Сергеев долго думал. Ножик крутился в его пальцах.

— Значит, с тех пор ты...

— Угадал. Только тем даю, кто в тридцать первом году родился. И кто из Ленинграда.

— А откуда ты узнала, что он, тот мальчик, — с тридцать первого года?

— А он сам сказал. Он, так думаю, уже хоронил себя и заранее определял, сколько лет ему довелось быть живым.

— И с тех пор ты...

— Кормлю народ. Мясом, хлебом да картошкой я многих обслужу в столовой, всех сразу, если они, которые с тридцать первого, вместе сядут, как солдаты в обед или ужин. А вот собою покормлю только тех, кто попадает, кому хочется или кого я хочу.

Сергеев замолчал надолго. Видимо, прожевывал шницель по-венски. Нож и вилка, покончившие с мясом, легли на тарелку.

— Так ты, душа моя, солдат обслуживаешь... А вдруг вся рота — с тридцать первого года рождения, а? Так ты всей роте отдашься, что ли?

— Дурной ты, однако... В полку давно уже демобилизовался тридцать первый год. У нас служат с тридцать четвертого, есть и с тридцать пятого...

— Извини. Ты прекрасный, чудный человек. А где, кстати, ты жила в Ленинграде?

— На проспекте Володарского. Родилась там. Жила одно время.

— Не слышал о таком проспекте... Какое-нибудь историческое место там есть рядом?

— Проспект Нахимсона. Но он потом стал Владимирским. А который Володарского — Литейным.

— Значит, они все-таки попали в историю, этот Нахимсон и этот Володарский.

— До четырех лет жили там. Потом переехали на Кронверкскую.

— Как ты сказала? На Кронверкскую?

— Ага.

— Чудны дела твои, о господи... Ты не ошибаешься — Кронверкская? Не какого-то Лассаля или Маркса?

— Ну не совсем на Кронверкской прописана была... На углу Большой Пушкарской.

— Та-ак... — как-то убито промолвил Сергеев. Руки его задвигались, пальцы расставляли на столе солонки, соусницы, вилки: Сергеев делал карту участка Петроградской стороны, и Тоня ему помогала. Два ножа, впритык поставленные, изобразили Большой проспект, и от него выстроились улицы и дома, проложенные к Петропавловской крепости.

— Так ты в этом жила? — Сергеев вилок ткнул в пепельницу.

— Не... Я же сказала: угловой, но с другой стороны... Как в сторону Невы идти...

— Четырехэтажный?

— Точно!

— Надо ж... А на каком этаже?

— На втором.

— Там две квартиры на этаже.

— Которая слева.

Послышался, кажется, вздох разочарования.

— Экая неудача... Чуть-чуть — и...

— Что — и?

— И выпить ничего приличного нет по сему поводу... А кто сейчас в той квартире живет?

— В какой?

— Которая справа.

— Там четыре семьи. А кто — точно не знаю. Я и свою-то не помню уже... Меня вывезли через Ладогу в ноябре сорок третьего. Мать умерла, комната освободилась... долгая история. Я к тетке подалась в Сочи, но там ко мне приставать взрослые дяди стали, я и рванула к летчикам сюда. А в правой квартире только Соньку помню, отец — работяга с завода, я его очень уважала, он умелый, на стенах висели почетные грамоты. В прошлом году была в Ленинграде, сердце изболелось. Как вспомню блокаду — все ноет и ноет... Поездом возвращалась, так в Армавире на остановке вышла покушать и вижу: во весь перрон стол, чего там только нет, а я расплакалась: вот бы все это в ту зиму ленинградскую!

— А стол что — по-коммунистически? Бери сколько хочешь бесплатно?

— Дадут тебе и еще догонят... Семь рублей сорок за обед, но шамовка, скажу тебе, та еще... Повар там на станции классный. Я вот и хочу стать настоящим поваром, с понедельника буду учиться на курсах, от каждой воинской части посылали на них, так что — научусь!

Сергеев разжал кулачок Тони, распластал ее ладошку по скатерти и погладил.

— Я, кажется, догадываюсь, почему ты хочешь быть умелым поваром. От доброты. Тебе хочется, чтоб люди благодарили тебя за вкусную пищу. И чтоб никто не замаялся животом. Правильно. Тот, кто хорошо делает свое дело, всегда человеколюбив... Про Гревскую площадь слышала?

— В Ленинграде или в Москве?

— Правильно мыслишь. И такая была там и есть, наверное... Я о другой, на которой гильотина стояла в годы Французской революции. Головы отсекала врагам народа. Кто эту гильотину обслуживал, свое дело знал: за все годы отсеканий — всего, кажется, три или четыре случая, когда нож неудачно опустился на шею и осужденному пришлось вторично, причем в мучениях, прощаться с жизнью. Вот научат тебя умело готовить людям пишу — и добром они тебе отплатят.

— Ага. Курсы трехмесячные, вернусь в полк — такой борщ сварганю! И летунам, и технарям, и солдатушкам. Я на озере работаю, там самолеты-амфибии. Девять штук.

Сергеев еще раз погладил руку Тони.

— Золотце ты мое... Не надо разглашать военную и государственную тайну. Это очень неосмотрительно.

— Да какая там тайна! Самолеты-то — американские, каталины; свои в Геленджике испытываются. Да что-то с двигателями не то. С гермокабиной для экипажа опять же трудности. И еще чего-то там, с неподвижными пушками. Летчики говорят, что на рулежках и подлетах плохая продольная устойчивость...

— И тем не менее... — вздохнул Сергеев. Вновь пальцем больно ткнул Маркина, встал и подхватил обмякшее тело его, едва не сползшее со стула. — Друг наш, подозреваю, вряд ли сегодня в состоянии любить тебя.

— Да не нужна мне его любовь! Одного раза хватит. У меня принцип: ни с кем больше одного раза! А то ведь на всех, кто с тридцать первого, меня не хватит.

— Разумно. Однако же замуж за кого выходить будешь?

— Ну, это ты не путай... Переспать — это одно, а детей нарожать и мужика по утрам кормить — это другое.

— Блестящее решение проблемы, — согласился Сергеев и пальцами скрутил ухо Маркину — так, что тому пришлось сжать зубы, чтоб не вскрикнуть от боли. — А почему он, твой Андрюша, не в офицерской форме?

— Я ж тебе говорила: очень он скрытный! Ужас даже. Подозрительный. Дела, значит, какие-то в Батуми.

— Рубашку, ты правильно заметила, мог бы другую надеть. Очень уж эта дрянная.

— У него есть хорошенькая, заглядишься, в крупную клетку, синие квадраты на белом поле. Он ею очень дорожит. Очень даже. Знаешь, когда я разделась догола, то Андрюша не то что другие, которые на тебя тут же наваливаются. Он сперва печати рассмотрел на справке моей, а потом рубашку свою выходную — ту, сине-белую, — аккуратненько так сложил. Я даже немножко обиделась. Некоторые, как только платье снимешь, звереют, а этот будто на прием к врачу пришел...

— А может, к нему девушки, — рассмеялся Сергеев, — как к врачу, на прием ходят? И по этой части он не трехмесячные курсы кончал?

— Да ничего он не кончал!.. Мальчишка еще. Толком не знает, что и как. Я его подучить кой-чему хотела...

Сергеев осмотрел бутылки, выбрал, налил — себе и Антонине.

— Приятно общаться с высокообразованной женщиной, способной многому научить людей... Так научила?

Фужеры звякнули, потом Сергеев повторил вопрос.

— Расхотелось учить... — Раздалось хихиканье. И пальцы Антонины вспорхнули. — Он вдруг заявляет: садись, мол, на подоконник. Отказалась, конечно. Я не циркачка, чтоб на подоконнике... Я из простой семьи, разных фокусов не знаю, это образованные подоконником пользуются, и если уж ему так приспичило, то Любку позову, эту хлебом не корми, а дай что-нибудь позаковыристее.

— А на каком этаже это происходило?

— Известно на каком: на первом.

Сергеев засмеялся.

— С подоконником, признаюсь, мне самому не совсем понятно... — взгрустнулось ему.

Подозвал официантку. Та наклонилась и кивала головой, соглашаясь. Зашуршали деньги и спрятались в ее кармашке.

— Так ты говоришь: в семь сорок обошелся тебе шведский стол по-армавирски? А сколько вообще получаешь?

— Да мало. Восемьсот. Я вольнонаемная. Но сам понимаешь: кто ближе к котлу, тому и сытнее. Так везде.

— Везде. К сожалению — везде.

— А чего ты все обо мне да обо мне? О себе расскажи. Родился — где?

— Из тех же мест, что и ты, как ни странно... Но у каждого своя Ладога.

— А лет тебе сколько? Мать-то — на заводе работала или где? Живая?

— А лет мне много. Мать в краснокрестном движении участвовала, умерла в позапрошлом. Кстати, ты в какую школу бегала там, в Ленинграде?

— Вроде бы восемьдесят третья. Это туда, в сторону Кировского проспекта.

— Кировского... — повторил Сергеев и умолк, разделявая грушу. — Это не тот, который к Неве выходит у Петропавловской крепости?

— Он самый... А что за краснокрестное движение, где твоя матушка вкалывала?

— Она была... ну, как тут поточнее... вроде старшей санитарки в Обществе Красного Креста и Полумесяца. Я правильно выразился?

— А кто тебя знает. Чудно ты как-то говоришь.

— Потому что редко разговариваю. В блокаде я. Мне не с кем поговорить. Я даже боюсь говорить со своими. С чужими получается лучше.

— Так я тебе — чужая?

— Ты мне больше чем своя. Я очень жалею, что родился не в одна тысяча девятьсот тридцать первом году от рождества Христова.

— Никак намекаешь?

— Ничуть.

— То-то. Но вообще-то мужик ты правильный, я, пожалуй, сделаю заключение.

— А друг Андрюшенька?

— Зануда он. Противный. Если б ты видел, как он мою справку читал! Будто я в комендатуру попала, а он проверяет увольнительную записку! Недоверчивый он какой-то, печать на справке к самой лампе поднес, вот он какой!.. А утром разбудил и вытолкал меня взащей, а мне, скажу честно, — голос Антонины стал игривеньким, — а мне кое-чего захотелось! А он — на корабль, мол, опаздываю, будто я не знаю, где он служит!

— Ах, какой реприманд!.. — Сергеев долго смеялся и вздыхал. — Воистину, бдительность — наше оружие! А откуда ты знаешь про ПСОД?

— А летчики говорили... Да у нас в Потти все знают, кто в штабе и чем занимается. А вот ты неизвестно кто. Может, шпион. Ты кто?

— Да никто. Странствующий бухгалтер. Кое-что учитываю. Немножко историк. Побочная профессия. На досуге увлекаюсь. — Горький вздох. — Жизнь не сложилась, прелесть моя.

— А у меня вот — еще как сложилась. Я, конечно, и не по линии венторга могла пойти. Учительницей стать, историю преподавать. Русский язык и литературу. У меня хорошо в восьмом классе получалось: «Люблю отчизну я, но странно любовью...» Поэта Лермонтова в школе проходил?

Сергеев вспоминал долго. Наконец сказал:

— Да, был он в программе.

— Мне бы по литературе пойти. Да не получилось. Иногда жалею себя. Такая-сякая, со справками бегаю, одной только нет — что я девушка...

— Не кручинься, крошка моя! — Сергеев горестно вздохнул. — Как сказал один писатель, которого ты не проходила: девственность так же трудно сохранить, как и доказать. И наоборот, добавлю от себя.

Официантка подошла к Сергееву, что-то шепнула, удалилась. В руке Сергеева лежали ключи. Он долго рассматривал их.

— Каюта люкс, — произнесено было, и один из ключей опустился в ладонку Антонины. — До Батуми еще три часа. Поспи. Тебя разбудят и подадут завтрак в постель.

— Люкс! — ахнула она. — Так бешеные деньги же! Я тебе честно признаюсь: сама упросила, проездные чтоб дали на теплоход, хотела в люксе доплыть! Да как бы не так! Вольнонаемным положены палубные места, а доплатить за люкс надо столько, что я в Батуми с голодухи помру! И вообще эти каюты никто и не берет, до того дорогие.

— Не ты же платить будешь... Я.

— А у тебя-то деньги откуда? Голодать будешь!

— Не беспокойся. Деньги — казенные. Спи в люксе безмятежно. Тот же поэт Лермонтов писал: «А я на шелковом диване ем мармелад, пью шоколад, на сцене, знаю уж заране, мне будет хлопать третий ряд».

— Ну, тогда другое... Хоть раз в жизни прокачусь как в раю. Шелковый диван, да?

— Да. «Теперь со мной плохие шутки, меня сударыней зовут, и за меня три раза в сутки каналью повара дерут...» Тоже из того же поэта.

— А повара-то за что?

— За то, что не учился на трехмесячных курсах... Чемодан сама донесешь?.. Ну вот и молодчина. Спи. Куаферку не обещаю, поэтому в пеньюаре не засиживайся.

— Что-что?.. Ладно... А Андрюша? Куда его девать? Как бы его на палубе не обчистили, народец у нас боевой, бедовой... Чемоданчик опять же. Может, что ценное там.

— Не беспокойся. Я и ему каюту взял.

— Тогда так: ты его уложи да ко мне, а?

— Я такой награды еще не заслужил. И не хочу провоцировать тебя на выдачу государственной и военной тайны, то есть справки. Благородство обязывает, как говорят на проспекте Жореса или Лассаля, кому как нравится. Но век буду помнить. И буду гордиться тем, что ты отдалась мне мысленно. А это, пожалуй, почтеннее реального обладания. Оно минутно, а память о несбывшемся — вечна. Иди. А за мальчиком твоим тысяча девятьсот тридцать первого года рождения — присмотрю.

Он выдернул чемоданчик из сжатых ног его, взвалил на плечо и понес тело все соображавшего и не имевшего сил двинуть рукой-ногой Маркина.

Дверь каюты открылась и закрылась. Маркин был уложен, сквозь приоткрытые веки он видел и понимал: каюта второго класса, иллюминатор, столик, двухъярусные койки, он — внизу.

А Сергеев не спешил. Очень важная часть операции была завершена, до полного успеха оставалось совсем немного, и можно, пожалуй, передохнуть, набраться сил перед финальным броском. Теплоход «Украина» рассекал гладь моря, не потревоженную ни ветром, ни волнами; корабль поскрипывал — так тренированное человеческое тело при неспешной ходьбе поигрывает упругими мускулами, и как в человеке изредка кишечник чуть слышно вздыхает, а руки безотчетно что-то почесывают, так и теплоход издавал утробные звуки, понятные морякам, и пружинил, мягко сопротивляясь толщам вод и бестелесной массе воздуха. Тяжесть влилась в руки и ноги Маркина, обездвиженного алкоголем и, вероятно, каким-либо подброшенным в коньяк снадобьем. От Сергеева, сидящего перед столиком в каюте, его отделяла портьера и два метра, но так обострился слух, что все достигавшее ушей мгновенно становилось зримым. И не только уши восполняли и расцветивали не проникавшие в глаза картины.

Ноздри по запаху папиросы, закуренной Сергеевым, определили: в табаке есть нечто, способствующее восстановлению и подъему сил у наволновавшегося шпиона, за истекшие двенадцать часов совершившего стремительный марш-бросок от турецкой границы в Потти, где он нашел нужного ему человека, несмотря на то что полученные данные о нем оказались неточными, вводящими в заблуждение. Более того, человека этого он отсек от мешавшей делу женщины, на что ушло более четырех тысяч рублей.

Утомительная часть операции позади, и Сергеев наслаждался покоем. До Батуми — два часа, более чем достаточно для снятия фотокопии с пакета. Раздался легкий щелчок — это распахнулся чемоданчик, представив взору Сергеева фуражку, китель, бутылку коньяка, бритвенные принадлежности, мыльницу, носки и носовые платки, зубную щетку в футляре и порошок «Здоровье». Он удовлетворенно хмыкнул «угу». Рука потянулась к иллюминатору, закрывая его шторкою. Еще одно движение — это включилась настольная лампа, Сергеев проверял освещенность, так нужную для объектива миниатюрного фотоаппарата. Какие-то суетливые движения рук — и несколько отупелое молчание, понятное Маркину.

Пакета не было! Того, какой описан Варламом и образец которого имелся у тех, кто послал его сюда! Прямоугольник со сторонами 15 × 11 сантиметров. В левом верхнем углу — название воинской части: в/ч такая-то. На обратной стороне в центре — сургучная печать.

Пакета в чемоданчике не было! А он должен был быть! Потому что паспорт здесь — документ, который никак не мог принадлежать офицеру. Только удостоверение личности! Которого нет, но в котором уместится сложенный вдвое пакет-конверт!

Он еще раз закурил, обдумывая неприятное открытие. Папироса на этот раз была обычной. Надолго задумался, переоценивая, то есть дооценивая способности пьянчужки лейтенанта доставлять секретные документы. Извлек из чемоданчика китель, чуткими пальцами стал прощупывать его в поисках содержимого конверта, раз уж самим конвертом пожертвовали, кажется.

Белый офицерский китель — без подкладки, но под мышками — сатиновое уплотнение, вбирающее в себя пот, и Сергеев чрезвычайно внимательно осмотрел китель. Той же зрительной экзекуции подверглась бутылка «Енисели», затем — фуражка, а околыш прощупан и даже мысленно разрезан вдоль и поперек. Пластмассовый козырек не удостоился ни малейшего внимания, как и бритвенный станок. Зато все внимание перенеслось на погоны. По ширине они совпадали со сброшюрованными листиками шифра, и пришлось чуть надрезать погон — один, затем другой, — чтоб убедиться: нет, ничто не зашито внутри. Рука еще раз сунулась в кармашек чемодана, лишний раз убеждаясь: нет! Крышечка с мыльного порошка «Нега» сдернута, палец погрузился в сыпучий материал, ничего не найдя в нем. Как и в бритвенном приборе. Как и в пачке «Невы», вскрытой для того, чтоб одним из лезвий взрезать подкладку чемоданчика. Вытряхнутое из мыльницы мыло было проткнуто в нескольких местах. Короткое шило в перочинном ножике погрузилось также и в зубной порошок. Вадим Сергеев едва не чихнул. Встал и приблизился к койке. Отдернул портьеру, наложил пальцы на лоб Маркину, большим и средним пальцем охватил виски. Пальцы вчитывались в содержание пьяного сна. Отнялись, чтоб расшнуровать ботинки, снять их и сдернуть брюки с тела спавшего, изучить их. Более внимательному осмотру и исследованию подверглись ботинки. Подозревались они в том, что в подошве их — тот самый блокнот с цифрами. Подозрения, однако, рассеялись после детальнейшего рассмотрения. Неудача поджидала Сергеева, когда пальцы помяли снятые с ног носки и подтяжки для носков. Тогда иные подозрения возникли: уж не прикреплен ли пакет к телу? Не приклеен ли к нему?

И тело было осмотрено. Пальцы даже намеревались войти в анальное отверстие, но из-за явной глупости намечаемого действия передумали. Еще одна мысль засияла. Сергеев снял Маркина с койки и перенес на диванчик у переборки. Койка была основательно осмотрена и прощупана, одеяло выдернуто из пододеяльника.

Нет пакета! Нет!

Пакета (или его содержимого) не было!

Размышления над таинственным обстоятельством этим потребовали еще одной папиросы. И более высокого полета мысли. Из пепельницы были извлечены оба окурка и помещены в бумажный кулечек, сама же пепельница ополоснута водой из умывальника. Смочен носовой платок, чтоб протереть им все предметы, которых касался Сергеев. Видимо, заряд энергии, полученной папиросою, еще не исчерпан, Сергеев вдруг вышел из каюты, чтоб тут же вернуться и прислушаться к дыханию Маркина.

И вновь вышел. Маркин осторожно шевелил ногами и руками, восстанавливая толчками крови способность двигаться. На часах — 05.10, и все то, что далеко от каюты передвигалось рукой дежурного ПСОДа, перемещалось и в мозгу Маркина, он чувствовал, что «Украина» входит уже в порт, потому что ход уменьшился узлов на восемь; он видел у 14-го причала военный буксир № 147, он чуть ли не в затылок дышал Сергееву, который проник уже в каюту люкс, рыщет сейчас в чемодане Тони, заглядывает во все углы каюты; вот он приподнял одеяло, сунул руку под подушку, потом поворошил разную мелочь в сумочке.

И ничего не обнаружил! Впору подумать о розыгрыше или, что тоже вероятно, о дьявольском ходе русской контрразведки, нейтрализовавшей всю операцию.

Еще одна мысль пронзила: вернувшегося Сергеева, и он стремительно вышел. Он, возможно, тряс официанток ресторана, ведь пакет мог вывалиться из кармана пьяного лейтенанта.

Вернулся ни с чем. Сел, закурил. Рассмеялся — тихо, над собою. Встал.

— Пора, мальчик, — толкнул он Маркина. — Твоя ненаглядная пьет шоколад... Вставай! — заорал он. И тут же принес извинения: — Прости, пожалуйста... Но мы уже в Батуми.

На ходу надевая брюки, Маркин бросился по коридору в галльон. Удалось сполоснуть физиономию, утеревшись майкой. Полагалось изобразить удивление, и он спросил, как это оказались они в этой каюте и где Антонина.

— Ты был очень пьян, — сожалеюще произнес Сергеев. — Я опасался, что кто-нибудь умыкнет твой чемоданчик, и взял тебе, пьяному, эту каюту, на пару с собой. Однако палубный твой билет не был учтен при оплате этой каюты. С тебя — сорок пять рублей. А твою Антонину пристроил к люксу. Она так напугана им, что уже стоит с чемоданом на палубе. «Чудна судьба, о том ни слова, — начал он вдруг декламировать, — на матушке моей чепец фасона самого дурного, а мой отец — простой кузнец!»

Сияющая покоем и счастьем страна предстала перед ними с палубы теплохода. Далеко на горизонте белели снежные вершины гор, а юг утопал в зелени холмов. Пальмами оброс берег, и запах жареных зерен кофе щеколтал ноздри; музыка небес лилась сверху, растапливая души. Это была иноземная страна, каким-то чудом перенесенная в Грузию, и Маркин был близок к слезам. Он достиг желаемого, он исполнил чью-то добрую волю, и, наслаждаясь выпавшим на его долю счастьем, он тем не менее сверху видел открытую зеленую автомашину на причале, в ней — мичмана Ракитина, предупрежденного Хомчуком, и двух матросов. Он чувствовал, как напрягся Сергеев, когда за спинами их, стоявших у борта, прошла пара: капитан с портфелем, напоминавшим ранец, и человек в штатском. Это были фельдъегери, и Сергеев не мог не предположить, что именно этим

ребятам мог каким-то путем отдать пакет лейтенант из штаба базы. Улыбаясь, посматривал он на давно проснувшийся город, толкнул локтем Маркина, когда увидел опередившую их Тоню: она первой сошла с трапа и уже торговалась с шофером такси.

— Тяжелый чемодан... Уж не утюг ли взяла она с собой?

Ответил Вадим Сергеев, покопавшийся, конечно, в чемодане.

— Просто одежда и обувь... Так я думаю. Запасливая девка. Все, нажитое за двадцать один год, везет с собой. Богатая. У меня вот — ровным счетом ничего. Ни дома, ни, естественно, мебели. Денег тоже нет. Костюм, пальто и шляпа остались у друзей. Перекати-поле... Что делать-то будешь? — спросил он.

Ответ предназначался для отчета: надо ж как-то объяснять провал, которого, возможно, и не было. Что-то не сладилось в операции. Да и машину с Ракитиным он давно заметил.

Уже спускались по трапу вниз.

— В гостиницу двинусь. Червонец в паспорт — и номер дадут. Но сперва надо с одним товарищем побеседовать.

Он пошел к машине, к Ракитину. Пожали друг другу руки.

— Дай кусачки, — попросил Маркин, разломил браслет, а Ракитин, догадавшись, отверткой поддел крышку часов и увидел, что там. — В штабе есть, — продолжал Маркин, — акт об уничтожении неиспользованных листочков за все дни, кроме последнего. Постарайся выйти в эфир, чтоб тут же составить акт об уничтожении...

Часы без браслета держаться на руке не могли, да они не ходили и заводиться не желали.

— Выбрось их по дороге, — сказал Маркин.

Сергеев издали наблюдал за ними. Когда вернулся Маркин, развел руками, как бы говоря: да, нравы нынешней Совдепии, то есть СССР, не сразу становятся понятными. Рассмеялся.

— До гостиницы один дойдешь?

— Дойду. Вон она, рядом.

— Денег-то на обратную дорогу — хватит?

— Вполне. А у тебя?

Сергеев промолчал. Теперь у него одна забота: не дай бог, что случится с офицером. Те, кто послали его сюда, о доставке шифра узнают, и поскольку с офицером приказано было обращаться поосторожнее — иначе и пакет ни к чему, — то в любой беде с ним обвинят его.

Никуда не пошли. Сели на скамеечку и молчали. Сергеев сокрушенно покачал головой, как бы принося извинения: да, недооценил, проморгал, не учел кое-какие чудачества власти, особенности местных обычаев. И Маркин пожал плечами, понимая его: начальство-то — везде дурное, какого черта и кому понадобился этот пакет парной связи, этот бессмысленный набор цифр?.. Адмиралам в Америке захотелось поставить галочку в отчете. И «бросили на уголек» мало знающего СССР человека, русского, из эмигрантов, из Петербурга, мать или отец которого учились в Александровском лицее или Введенской гимназии. Чем-то провинился этот Вадим Сергеев — как и он, Маркин, получивший неоткорректированные карты. Возможно, столкнулся в писсуаре с каким-нибудь начальником, надерзил — и погнали его в наказание на «Украину», как Маркина на «Калабрию». Но понимает, понимает, что теперь ничто ему не грозит, потому что ни в какие МГБ-МВД и особые отделы так и не обокранный им офицер не сунется: не с чем идти. Во-первых, шифр доставлен. Во-вторых, при доставке его офицер, отличавшийся редкостной пунктуальностью, нарушил какие-то чрезвычайной важности инструкции, ибо не под крышкой же карманных часов переправляются шифры даже в такой непонятной и загадочной стране, как Советский Союз! Тут что-то не то, тут служебное преступление, и офицер не станет доносить на себя.

— Ну, прости, если чего не так...

— И ты тоже, — ответил Маркин. — Удачи тебе, — добавил он, потому что Вадиму явно не поздоровится, если он расскажет своему начальству о часах! Не поверят!

Простились у входа в гостиницу. Сергеев помахал ему рукой, когда за стеклом прошел мимо него с ключом в руке Маркин, поднимаясь на этаж.

Одноместный номер, свежее белье, не в морской воде выстиранное. Окна распахнуты, вид на море. Где-то рядом, говорят, кофейни и заведение, называемое так: хашная. И набережная видна, по которой сегодня вечером прогуляется он.

Горничная принесла бутылку коньяка, нарзан. Маркин постоял под душем; в счастливом недоумении от того, что радости жизни его все-таки не миновали, он улыбнулся и заснул.

Желудок разбудил его, зов кишечника. Он раскрыл глаза. Ночь, но из угла комнаты брызжет свет. Маркин приподнялся и увидел Казарку.

Тот сидел за столиком, перед ним — бутылка коньяка, та, что подарена была Маркину в Харчевне Святого Варлама. И ваза с яблоками и грушами.

— Виноград еще кисловат, — сказал Казарка. — Вставай, выпьем.

Только сообразив, где он, Маркин встал. Болело ухо, выкрученное безжалостными пальцами Вадима Сергеева.

— За Грицаева, — поднял фужер Казарка. — Я дублером был командира эскадренного тральщика, тот в шторм попал, в Северном море это было, а нагрузили нас спецаппаратурой. Никого за борт не смыло, но пострадались. Больше всех суетился в Североморске замначальника разведки флота. О судьбе своей плакался. Вам-то что, говорит, вы утонете — и с вас взятки гладки, а меня за недоставленную аппаратуру на парткомиссию потянут... Ну, за Грицаева! За стоимость жизни!

Выпили.

— Надо побриться, — сказал Маркин, потрогав подбородок. — Да движем на набережную.

— Движем, — согласился Казарка. — На корабль. Пора в Потю. Тебе завтра утром надо уже быть в штабе.

После долгих раздумий Маркин осторожно осведомился, какое сегодня число.

— Воскресенье, первое августа. Вечер. Двадцать два, — Казарка глянул на часы, — двадцать пять.

— Значит, я...

— Значит. А груз я получил уже.

— Часы потерял, вот что... Были бы они — не проспал. Я штурман, мне время показывают не стрелки, а само тиканье механизма.

Взбивая в чашечке пену, он спросил, что случилось с буксиром в пятницу 30-го, почему не мог выйти в море.

— Пожар в машинном отделении... Пока потушили, пока... Вообще что-то неладное творилось на причале, какая-то дурость напала на всех, с ума, что ли, сошли: обычный швартов на кнехт занести не могли... — Он допил бутылку, приложил к глазу горлышко ее, а дно наставил на звезды за распахнутым окном. — Кончилась бутылка — кончилась и жизнь. Или началась. Что одно и то же. А небо останется.

Добрались до буксира, отдали швартовы. По створам Маркин определился, девиацию компаса никто на корабле не уничтожил и не замерял, приходилось ориентироваться по береговым огням. Полагался по штату секстан, но его Казарка пропил в те дни, когда ему подарком с неба еще не свалилась бочка спирта.

Всю ночь Маркин простоял на мостике. Казарка спал в ногах его. Валентин Ильич не смог бы вспомнить, когда он стал дно морское считать

звездным небом. Но Маркин, досконально расспросив и покопавшись в биографии, отметил не Керченский десант, а май 1946 года. Тогда Казарка опоздал из отпуска, причина уважительная — болезнь матери, никакой справкой, к сожалению, не удостоверенная, и все жалкие оправдания Казарки отверглись однажды вскользь брошенным упреком руководства: «Вот если умерла бы, мы тебе и слова не сказали!» Поначалу оглушенный и ослепленный, Валентин Ильич не только окончательно свыкся с манерами своих начальников, но и признал их единственно верными, полезными даже, потому что после предположения «умерла бы» мать здоровехонькой выписалась из больницы и по врачам больше не ходила. Но пожелание смерти ей странно повлияло на Валентина Ильича: он в каждом живущем стал видеть черты покойника, зажмуривался в некотором испуге, и только водка возвращала ему ясность сознания.

Что происходило в ночь с 30 июля на 31-е — это решено было облудать позднее, но Маркин всех жалел: и Сергеева, и себя, и Казарку, и Тоню. Кабельтов за кабельтовым, миля за милей — буксир одиноко скользил в ночи, раздвигая осыпанные звездами волны. Время приближало корабль к Поти, винты его накручивали секунды, минуты, кабельтовы — и Маркин начинал тихо ненавидеть Вадима Сергеева за то, как тот изощренно издевался над доброй, чудесной и невинной Антониной Синицыной, и на траверзе Кобулету решена была им судьба Вадима Сергеева, а в пятнадцати милях от Поти — покончено со службой на флоте, которая ничем иным, как крахом, не могла не кончиться.

Он представлял себе, как в первые же потийские часы пойдет в Особый отдел и честно расскажет обо всем; начиная рисовать себе картины того, что произойдет, он спотыкался уже на первой же, на грозном окрике полковника Романцова, главного особиста базы: «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?!» Сам-то Романцов отчет отдает: командованию базы грозят многие беды, на Поти навалятся комиссии, и хотя контрразведка к делам 8-го отделения не причастна, громы и молнии оглушат и осветят всю деятельность штаба. Копнут поглубже — и вылезут чудовищные происшествия, выдача государственной и военной тайны, поставленная чуть ли не на поток. Те же пакеты парной связи выдавались подчас не командирам постов, а чуть ли не матросам второго года службы, а сама рассылка пакетов была запутанной, Севастополь то фельдъегерской связью отправлял их по постам, то той же связью — прямо в базу для последующей рассылки. И разоблачения тем более станут опасными, что ни одна из предыдущих комиссий ничего не заметила. А всего год назад шифр, возможно, выдался американцам на блюдечке. Тогда базой командовал контр-адмирал Малков, любовница его уехала в Сочи, общался с нею адмирал шифровками, и поскольку 8-е отделение всегда пользовалось словами из пятибуквенного шифра, то выражения типа «люблю», «страдаю», «целую» и им подобные, в свод военно-морских сигналов не входящие, посылались сочинскому посту с шифрованием по буквам, а порою и открытым текстом, причем по незащищенным линиям телефонной связи. Головы полетят — и Ракитина, и Хомчука, и начальника ПСОДа, и начальника района связи, и начальника штаба базы, и командира базы, и...

Не полетят — вот до чего додумался он уже в пяти милях от базы. Не полетят! Такого грандиозного провала не допустит сам главнокомандующий. А снесут голову ему, лейтенанту Маркину, и даже не снесут, а придушат, как цыпленка. Придерутся к чему-либо, организуют суд чести младшего офицерского состава, разжалуют, и вслед за лишением звездочки — увольнение в запас. Начнут мурыжить, как Казарку, держать на призыве, приказ главнокома застрянет на полдороге. Два месяца будут платить оклад по должности, еще два месяца — только за звание, пятьсот рублей в месяц (или четыреста, если станет младшим лейтенантом). Как выжить — подскажет Валентин Казарка, да он, Маркин, сам бессознательно прики-

дывал свои возможности: еще задолго до рывка в Батуми нашел рыбацкую столовую, где обед стоит десять копеек. Уже вышел срок носки выданного два года назад обмундирования, можно получить новое, и если продать его выгодно, то — еще как продержится. Еще как! После приказа начнется другая жизнь, та, о которой он и не догадывался все четыре училищных года. Не корабли — берег. А берег — это вонючая комнатенка, это свобода, потому что в этой, иной, жизни — люди, подобные Казарке, и женщины, похожие на официантку Тоню и живущие рядом с тобой не ради денег и ночных удовольствий. Капитаном этого вот буксира он будет. К родителям не вернется, они, высоконравственные, его не поймут. Дети. Скучная зарплата. Стаканчик спирта по вечерам и — наслаждение от того, что все еще дышится, все еще двигается, все еще любит. Жизнь, предопределенная ему. Поток, увлекаемый его, щепочку. Луна и звезды, солнце и ветер, которые для всех и для него. Жизнь, которая — местный обычай. Великая человеческая жизнь, данная ему человечеством. Бытие рук и ног, глаз и ушей, тела, повторяющего бытие иных существ.

Маркин поднял Казарку, пришвартовался, сбежал домой, взял удостоверение личности и ровно в 08.00 был у КПП штаба. До самого 12.00 понедельника — политзанятия, но после десяти его отпустят на обед: в полдень заступление на дежурство.

Дверь Особого отдела — единственная на проходной лестничной площадке второго этажа, к ней можно подойти и со двора, и по коридору, и спустившись с верхних этажей. Маркин постучал. Выглянул дежуривший чин, сказал, что офицеры будут после двух часов дня: политзанятия сегодня, дорогой товарищ, пора бы знать!

Вот оно, всевластие местных обычаев! Постояв во дворе, перебрав все варианты, Маркин остановился на следующем: Особый отдел от него не убежит, до дежурства же — полтора часа, надо пообедать так плотно, чтоб даже в камере гауптвахты быть сытым, а набить желудок с запасом можно только у Варлама: столовая военторга распахнет двери в двенадцать, до кафе «Интурист» дорога длинная, и грузины могут не восстановить разобранный с утра мостик через Рион. И глянуть на старика хотелось, просто так, еще до того, как следователи сведут их на очной ставке. Могло и такое произойти: старик — секретный сотрудник местного КГБ и Вадим Сергеев не шпион, а всего-навсего подосланный грузинами ловкач, выкраденный им пакет оказался бы у подполковника, который и начнет какие-то торги с флотскими особистами.

И еще чего-то хотелось... Странное чувство гнало его в Харчевню: какая-то вина была у него перед древним грузином.

Но еще большая — перед собой и флотом. Когда в Батуми ступил на палубу плюгавенького кораблика, какого-то несчастного военного буксира, когда взял первый пеленг на маяк, то испытал удовольствие, радость от дела, которому обучен и которому предан — как флагу, как женщине, что станет когда-либо его женой. Поэтому и шел к Варламу — в последний раз побывать в Харчевне, с которой так много связано!

Она, Харчевня, еще не открылась, что показалось странным — и Маркину, и дюжине офицеров, которые под предлогом срочных дел в штабе сбежали с политзанятий в ОВРе. И никаких признаков готовящегося обеда: ни дыма над трубой, ни звяканья разных кастрюль, тазов и сковородок. То есть ни Нателлы, ни глухого Варлама.

Она показалась наконец — Нателла: вся в черном, и черный платок был повязан так, что только глаза видны.

Нет деда — вот что слышали офицеры. Старика убили, вчера поздно вечером. Кто-то постучался, из темноты попросил Нателлу позвать Варлама, тот вышел и уже не вернулся. Труп его нашли в десяти метрах от дома. Кто убил, как убили, за что — Нателла не знала. Единственное, что могла она услышать от врачей в больнице, так это то, что «смерть наступила

мгновенно». То есть старик не мучился, отошел безболезненно в мир иной.

Макетики на планшете в мозгу Маркина задвигались, восстанавливая ход вчерашних событий. Теплоход «Украина» пришел вчера в Потти около десяти вечера и ушел в Сухуми после часу ночи, и Сергеев уже растаял в российской темени, устранив самого важного свидетеля, того, без которого все слова Маркина Особый отдел посчитает пьяным вымыслом, а парижанин Вадим растаял в том пространстве, на котором не поместятся макетики.

И нет поэтому никакой нужды идти к особисту.

В 11.50 он пришел заступать на дежурство и сразу же глянул в журнал входящих радиogramм. Мичман Ракитин послал-таки позавчера шифровку, использовав листочек из парного пакета, да он и не мог поступить иначе, листочек надобно было уничтожить, и единственный способ сделать это — использовать его по назначению. В донесении ни слова о комиссии, но уже то, что заговорила почти год не работавшая частота, для оповещения о войне выделенная, насторожило штаб базы так, будто в видимости поста на мысе Гонио американцы высаживают десант, и мысль о зловредных посланцах из Москвы напрашивалась сама собой. Сеанс радиосвязи, кстати, удостоверил высокую выучку связистов Потийской ВМБ. (На ПСОДе предположили, что Ракитина отблагодарят каким-либо образом: присвоят звание младшего лейтенанта, поскольку по штату на должности командира поста СНИС должен быть офицер.) До командира базы невинный текст шифровки дошел только к десяти вечера, весь следующий день он провел в штабе. Был, кстати, объявлен большой сбор, искали среди прочих офицеров и его, Маркина, но не нашли.

Впрочем, кого найдешь: выходной день! Да и нельзя было штабу показывать прыть и осведомленность.

В 11.55 еще не заступившему на дежурство лейтенанту Маркину приказали немедленно прибыть к командиру базы.

Не только его вызвали. В приемной ожидали: начальник района СНИС, которому подчинялся ПСОД, и сам начальник ПСОД. По тому, как держались они, как глянули на Маркина, понятно стало: кого-то милуют или казнят за стенами, у командира базы, но неизвестно еще, как на нем, Маркине, скажется кабинетное адмиральское судопроизводство.

Пятнадцать минут прошло, двадцать... Маркин, чтоб определиться, выразительно глянул на начальника своего и пальцем ткнул в настенные часы: время-то — пора заступать на смену! На что начальник ПСОД досадливо округлил глаза: я, что ли, держу тебя здесь?..

Еще один человек ступил на ковер приемной — дежурный офицер штаба, лейтенант с дивизиона больших охотников, ныне замещавший флагманского химика, который по примеру многих решил сделать себе внеплановый трехнедельный отпуск, шепнув врачу, что у него жидкий стул. Лейтенант этот в роли флагхима быстро стал известным всему флоту после того, как заставил все-таки командира базы надеть противогаз по химической тревоге: когда все словесные предупреждения не подействовали, он раздавил ботинком в его кабинете ампулу с хлорпикрином, сам выскочив вон, после чего адмирал пытался в поисках глотка свежего воздуха выброситься из окна на улицу.

Танцующей походкой химик приблизился к столу адъютанта, отдал срочную телеграмму на имя командира базы, веселенькими глазами оглядел офицеров, коротко хохотнув при этом; держать язык за зубами приплясывающий юнец не умел и посвятил всех в суть того, что происходит сейчас в кабинете. Минувшим воскресеньем, то есть вчера, 1 августа сего года, в батумском кафе «Колмэурне» некий гражданин, личность которого только что установлена, учинил дебош, разбил зеркало, попытке задержать

его воспротивился, издавая нечленораздельные вопли, и, будучи опознанным как офицер Потийской ВМБ (со слов случайного свидетеля), предъявлять документы отказался — да их, документов, при нем и не оказалось. Час назад офицер этот доставлен в Поти и теперь сам предъявлен командиру базы.

Сообщив эту новость, химик удалился с торжествующей ухмылкой, а в приемной все глянули на Маркина, будто это с его слов в буянившем гражданине распознали офицера Потийской ВМБ.

Наконец дверь распахнулась, и оттуда стремительно вышли несколько офицеров бригады ОВРа, как бы эскортируя парня в гражданских брючках и ковбойке, и Маркин узнал в нем того вдребезги пьяного помощника командира тральщика Т-130, который все фразы заканчивал возгласом «ка-аа!...». На человека этого больно было смотреть, и все отвернулись, кроме Маркина. Жалость, к которой примешивалась ревность, пронизала его, потому что со слов Казарки знал он: парень этот, в ковбойке и брючках, был родом из Ленинграда, пережил блокаду и в графе «год рождения» у него — 1931. То есть он, старший лейтенант этот (пока еще старший лейтенант и офицер), и сам Маркин были как бы членами тайного братства, оно обязывало Антонину Синицыну печься о каждом из братьев, а те, рожденные под ленинградским небом в счастливом 1931 году, не могли не сопереживать друг другу.

Метнувшийся в кабинет адъютант кивнул на дверь: заходите, прошу.

Вошли. Командир базы сидел за столом и отвернулся, когда увидел Маркина, тем самым поручая стоящему у окна начальнику штаба взять на себя то дело, ради которого и приказали прибыть сюда офицерам. И начальник штаба все то, что уже было известно от флагманского химика, дополнил кратким заключением:

— От должности отстранен, будем судить, накажем строжайше... Кораблю, однако, предстоит выход в море, необходимые перемещения офицерского состава произведены, штурмана же — нет, и с Севастополем согласовано, что на должность командира БЧ — 1-4 будет назначен один из офицеров штаба, поскольку необходимым резервом бригада не располагает. Выбор пал на лейтенанта Маркина Андрея Васильевича. Спрашиваю: есть ли замечания по службе у лейтенанта Маркина, имел ли взыскания?

Вопрос праздный, поскольку личное дело Маркина лежало на столе перед адмиралом, который всем кислым видом своим показывал, что имеет кое-какие претензии к лейтенанту, однако не склонен высказывать их. Начальник политотдела тоже молчал.

Взысканий нет — таковы были ответы, замечания же не превышают допустимый предел обычных придирок, без которых служба вообще невысказима.

Адмирал отрешенно смотрел куда-то в угол. Глянул наконец на Маркина. Указательным пальчиком прочертил в воздухе какую-то невероятно сложную фигуру, в очертаниях которой усматривалось тем не менее упорное стремление руководства Потийской ВМБ показать комиссии из ЦК, что командир базы и начальник политотдела будут и впредь сурово взыскивать с нарушителей дисциплины, кто бы они ни были и в каких званиях ни состояли.

— Добро.

С полным равнодушием выслушал Маркин все речи и заключительное «добро». Только одно его волновало: каким же все-таки способом прорвался в Батуми выброшенный с бригады бывший помощник командира тральщика?

Тральщик Т-130 ранним утром следующего дня уходил в Главную базу флота. Стрелецкая бухта — там базировались севастопольская бригада

ОВРа, но Маркин верил, что пройдет немного времени — и он вновь окажется в Южной бухте, вновь на эсминце.

Едва рассвело, как на пирсе появился Валентин Казарка. Пока не убрали трап, Маркин сбежал к нему. Они обнялись. Обоим было понятно: никогда Казарка не поднимет тост: «За Маркина!..» А Маркин просил друга найти Антонину Федоровну Сеницыну на поварских курсах и сказать, что помнит о ней и что никогда утром он, в какой бы штаб ни спешил, не погонит ее прочь.

Приказ главкома об увольнении капитан-лейтенанта В. И. Казарки в запас еще не пришел, но его уже перевели в резерв. Что приказ будет обязательно — не сомневался никто: в аттестации Валентина Ильича — нужная и горькая фраза: «Ценности для флота не представляет». Маркин отдал ему все деньги, что были при нем, бутылку спирта и ключ от комнаты. Нового обмундирования он еще не получил, иначе бы оно, грамотно продаваемое, поддержало Казарку. А тот плакал: не собственная судьба угнетала его, а то, что вчера вечером на буксире в скорбном молчании команды был спущен, чтоб никогда не подняться, сине-белый флаг ВМФ.

Вскоре тральщик отдал швартовы и отвалил от стенки. Валентин Казарка снял фуражку и махал рукой, прощаясь с Маркиным, со своей службой, судьбой и, наверное, со своей жизнью.

2000.



МАКСИМ АМЕЛИН



ИЗ-ПОД ПЕПЛА И БРЕНА

* *
*

Что повторяться? — Больше, чем надо,
сказано — сделано — спасено
от сокрушения и распада, —
спелое в землю легло зерно.

Всходы проклюнулись из-под спуда, —
их не сломили ни жар, ни холод,
Бог сохранил от лихого люда,
толп насекомых и диких стад.

Враг за врагом — суета пустая,
ибо, со древа упав, листва
не истощается, нарастая, —
нет нощеденства без ликовства!

Пламя заставило литься воду,
влага сподвигнула жечь огонь,
а величавых созвездий ходу —
ни преткновения, ни погонь.

Мудрому сумерки по колено, —
им утверждают без труда,
вновь из-под пепла восстав и брена,
все погребенные города.

* *
*

Воинственный
двух зарь
владыка,
сын Августа,
косарь,
не кесарь,

в Коломенском
почти
скончался,
возвратные
пути
расторгнув.

Сей вечера
собор
огромный,
при помощи
опор
дубовых

воздвигнутый,
ничей
по праву.
Чуть слышимо
ручей
струится,

по камешкам
журча
круглым,
прощального
луча
зерцало.

Предчувствуя
закат,
печален
не чопорных
цикад
хор малый, —

кузнечиков
зеле-
нотелых.
Ни жителей
земле
усталой,

ни злата, ни
сребра
не жалко, —
лишь выдалась
пора
потерям,

от бремени
себя
избавить
торопится,
любя
свободу,

и прихоти
своей
покорна.
О Господи!
полей
слезами

горючими
луга,
рвы, рощи,
чтоб радуги
дуга
полнеба

заполнила, —
твоя
забота
всем ведома,
а я
смолкаю.

* *
*

Дождю ни конца ни края нет;
хандры надрывающийся кларнет,
рыдая навзрыд, утробен,
одну заунывную ноту ныть,
тянуть одной паутины нить, —
на большее не способен.

Сырое серое полотно,
которым небо заплетено,
трудолюбивой Арахне,
надеюсь, когда-нибудь надоест.
Ты, роза красная, черный крест
обвившая, не зачакни!

Кто не был молод, не станет стар. —
О дар предведения! О дар
предвидения! — Покуда
ждем снаружи, хандрой внутри
храним, безмолвствую, хоть умри,
умри, не дождавшись чуда.

Изваянию Силена в Капитолийском музее

Безымянного страж именитый сада,
бородатый, косматый, великорослый,
с переброшенной шкурою через рамо
кососаженное,

козлоногий, мудастый, парнокопытный,
многогроздую между рогов кошницу
подпирающий шуйцей, в деснице свесив
кисть виноградную, —

что печаль по челу пролегла, Силене?
Мрачноличен зачем и понуровиден?
Ах, и кто же, скажи, не стыда, не срама, —
уда заветного,

прямотою прославленного стрекала
кто лишил-то тебя? За какие вины?
Неужели твои сочтены проказы
за преступления?

Позабыт-позаброшен толпой пугливых
прежде нимф, нагловатых насмешниц ныне, —
хоть гоняйся за ними, хоть не гоняйся,
все одинаково,

ибо надо, поймавши, сражать, а нечем.
Потерявшему большее потерявшим
меньшее не наполнить обломком лона
влаготочивого, —

ни на что похотливый скопец не годен,
безоружный же муж никому не нужен,
оттого и поставлен в музей — Музам
на поругание.

Ода безногому

Не жалея, не соболезнуй,
Божья выпадет роса —
и четыре колеса
колесницы сей железной
над клокочущей бездной
вознесут на небеса.

С радужного небосвода
как на землю смотрит Бог,
милосерден или строг, —
глянет он оттуда в оба:
для безногого свобода
пара-тройка резвых ног.

Две песенки

1

Семипалым шиповником розовый куст,
незаметно дичая, становится:
измельчавшим вослед появляться цветам
красно-бурые начали ягоды.

*А стоит ли в черной печи обжигать,
прекрасную глину в печи обжигать,
прекрасную красную глину?*

Золотые в запущенном рыбке пруду
 обернулись огромными, жирными
 карасями, — на масляных сковородах
 трепетать им теперь нетерпением.

*А стоит ли в черной печи обжигать,
 прекрасную глину в печи обжигать,
 прекрасную красную глину?*

Пусть никто ничего не поймет, ничему
 не научит и сам не научится,
 ибо в песне моей далеко не слова
 и не музыка самое главное.

*А стоит ли в черной печи обжигать,
 прекрасную глину в печи обжигать,
 прекрасную красную глину?*

2

Рябина красиво
 раскинула кисти,
 а нет ни метелей, ни стуж, —
 толстеют на талых
 пернатые свалках,
 о ней не горюя ничуть.

*О Ангел мой огнелицкий,
 пожалуйста, не по лжи,
 что делать с мертвой синицей,
 в руке зажатой, скажи?*

Слепые не видят,
 глухие не слышат,
 немые не скажут о той,
 которая градом
 разит, окропляя
 то грязь, то нестойкий снежок.

*О Ангел мой огнелицкий,
 пожалуйста, не по лжи,
 что делать с мертвой Фелицей,
 венца лишенной, скажи?*

* *
 *

Из трудных избравши путей не самый,
 не самый из легких путь,
 средним иду меж горой и ямой,
 с которого не свернуть

налево, где высится склон отвесен,
 направо, где пропасть-пасть,
 и нету ни вервий нигде, ни лесен, —
 иль вознестись, иль упасть,

не знаю, что лучше, но только прямо
отныне не для меня, —
куда? — глубиной привлекая, яма,
гора, вершиной маня.

* *
*

Скоро подходят сроки:
с каждой осенью сякнут
воды, тепло скудеет
и умирает мир, —

все подвержено тленю,
все, невидимой дланью
зиждимое. — Слабеет
цепкая пятерня,

прежняя исчезает
крепость в перстах. — Ужели
время ложиться в лодку,
камень класть на живот?

Пламенной буйство пляски
блещущих волн во плеске
между твердью и зыбью,
а посредине я,

светом ли серебристым
весь охвачен, облизан
трепетливым ли ветром
от головы до пят.

Дабы в порядок хаос
новых созвучий преос-
мыслить, необходима
остановка в пути.

* *
*

Откуда что берется? — Никогда
мне не был свет так нестерпимо ярко. —
Гори, гори, сияй, моя звезда,
мой ветром растревоженный огарок!

Еще не зверь, уже не человек,
покрыт непроницаемой корою,
что прозреваю сквозь смеженных век,
в том утверждаюсь, только веки вскрою.

Спасения иного не дано
от внутренних и внешних прей и браней:
не веселит забвения вино,
не насыщает хлеб неупований.

Дороже свой, пусть скромный, но уют
для каждого, — единой цепи звенья,
живые смерти равнодушно ждут,
а мертвые не чают воскресенья.



ИЛЬЯ КОЧЕРГИН

*

ВОЛКИ

Рассказ

Одиночество зимних охот; постоянный внутренний диалог с самим собой на переходах, на слепящем однообразии лыжни; ежедневный физический труд и дикое мясо на ужин. Засыпанная белым тайга, она смотрит на тебя, с интересом наблюдая за твоими действиями, безразличная к тому, барахтаешься ли ты в снегу или отдыхаешь у костра. Она выдает свое ожидание лишь треском сломанного сучка или далеким звуком сошедшей лавины. Кровь иногда стучит в ушах так, что не слышно своих выстрелов, иногда густеет от жажды и мороза; оставляет кислый привкус во рту в конце тяжелого дня. Неподвижные склоны гор, низкое, мягкое в непогоду или синее, твердое от холода небо.

Одуряющие сны, в которых ласковые женщины приходят к тебе. Они чувствуют все твои мысли, а ты даже не знаешь их имен. Они уходят в тот момент, когда по ту сторону костра появляется из спальника Колькина лохматая голова и будит тебя хриплым голосом. Они уходят навсегда, но места старых ночевок хранят их легкие следы. За тобой снова остаются подернутые дрожащей золой костровища и ощущение, что кого-то потерял. А потом ты опять монотонно двигаешь лыжами и кидаешь под язык пресные, сухие комочки снега.

На перекатах река не замерзла. Вода, собранная в упругие струи, скользит, движется, живет на разноцветных камнях. От нее поднимается пар и оседает на ветках тальника, на гроздьях рябины. Жесткое солнце веселит холодную воду, отражается от каждой складки потока, играет зайчиками в нагромождениях льда.

Солнце делит уходящую вверх долину на яркий, режущий глаза свет и глубокую тень. Ветра нет, все, кроме воды, неподвижно. Пушистые, заиндевшие кусты вздрагивают, рассыпаются ледяной пылью, когда Колька обрубает их ножом, расчищая нам путь. Мы пробираемся вдоль реки, обходя незамерзшие участки по берегу.

Тянем ниточку лыжни к Ойюку. Курием на солнышке, смотрим в бинокль на голые южные склоны и на заросшие лесом «сивера». У Юрчика на носу и на щеках белые пятна, он трет их варежками.

Моя Белка успела искупаться и теперь бежит, позванивая маленькими сосульками, иногда падает на лыжню и яростно выкусывает ледышки, намерзшие между пальцами. Декабрь давит на уши своей тишиной — слышен только легкий звон льда на собаке, шуршание лыж по сухому снегу и иногда мурлыканье воды подо льдом.

Прокладывать лыжню — тяжелый труд. В голове вертится простая песенка, мелодия которой задается ритмом шагов. Все остальные мысли вы-

Кочергин Илья Николаевич родился в 1970 году. Учится в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве. Напечатанный в «Новом мире» (2000, № 11) рассказ «Алтынай» получил премию главного редактора за лучший дебют года.

давливаются работой, тишиной и морозом. Наверное, у Белки песенка совсем иная, чем у меня, гораздо более веселая — собака перебирает лапками чаще, чем мы своими тяжелыми лыжами. Следочки у нее маленькие, немного беспорядочные, что ли, — молодая еще сучонка.

Мы часто пересекаем волчью тропу. Отпечатки — один в один, не поймешь, сколько животных здесь прошло. Следы вытянуты в ровную линию. Сухой, четкий, напряженный ритм, мелодия силы и дальних переходов, яростных схваток и страстных охот.

Осенью вверх по реке прошло десятка полтора волков. Одна стая сейчас кормится около Ойюка, поднимаясь иногда до Карагыра. Другая подалась выше, к Таштуколю. Ранний глубокий снег выдавил маралов из леса на продуваемые южные склоны, где легче добывать траву. Волки стоняют маралух, а иногда даже и быков вниз — на лед или в воду — и легко их режут.

На обратном пути мы заберем две пары хороших рогов — остатки волчьих трапез, Колька повесил их на деревья так, чтобы было видно с лыжни. В километре от ойюкской избушки лежит расклеваный вóронами, наполовину вмерзший в лед волчишка.

Полнолуние. Мне хорошо видно белую реку до поворота. Я сижу в снегу, спрятавшись за камнем, и жду. Колька остался около избушки, он попробует подвыть, а мы с Юрчиком разошлись в разные стороны по реке. Если у Кольки получится, то, может, волки подойдут, и я убью хотя бы одного, или Юрчик убьет.

Сзади наконец раздается вой. Вернее, не вой, а скорее рев, усиленный стеклом от керосиновой лампы. Мы где-то прочитали, что опытные волчатники используют эти стекла. Кольке явно не удалось, хотя чувствуется, как он старался, — в этот звук он вложил свою огромную силу. Мощный он мужичара. Сорок лет уже ему, а по тайге бегаёт с таким азартом и нам еще фору дает. Михалычем не разрешает себя называть — Колька, и все тут.

Но вот издали отвечает голос, голос настоящего волка. Тишина сразу становится напряженной. И Колька снова ее нарушает.

Больше ответа нет. Я терпеливо сижу еще минут двадцать, потом иду обратно, и мы все втроем упражняемся на разные лады, наполняя долину реки протяжными звуками, а потом заходим в избушку. Мужикам надоело, они от души повыли, повеселились друг над другом и над собой, теперь время раскинуться на спальниках с сигареткой во рту. В тепле. А я жду, пока луна поднимется еще выше, пока обитатели ночи забудут наши крики. Я пью чай, рассказываю об интересной китаяночке, которая мне когда-то нравилась, учу Кольку произносить ее имя. Потом собираюсь.

— Не лень тебе, парень, сопли на улице морозить? — Кольке уже не верится в возможность приманить зверя. У Юрчика, правда, видно некоторое беспокойство — а вдруг мне повезет, — но он из гордости тоже остается.

Я один. Ушел далеко от избушки, километра на два. Луна стоит почти над головой — яркий, освещенный изнутри иллюминатор, в котором видны чьи-то тени. Ночь проходит над этой местностью, как огромный, черный корабль-призрак. Мороз убирает из воздуха все звуки, всю дневную нерезкость. Серебряные горы лишены жизни, они просто стоят — холодно и равнодушно. В тени деревьев ничего различить невозможно, я могу видеть только небольшое пространство заснеженной реки от одного поворота до другого.

Ночью в тайге, стоит поднять глаза, сразу замечаешь, как быстро летишь в пространстве. Народы, считавшие небо твердью, жили, наверное, в слишком теплом климате. Когда стоишь один на льду замерзшей реки среди стылых, освещенных луной гор, то видно, какие огромные расстояния преодолевает Земля, падая в черную пустоту. Зимняя ночь несет тебя на

своих белых крыльях в темное небо. И я поднимаю голову так, чтобы воздух свободно вырывался из горла, и кричу все выше и выше.

На самой высокой ноте я останавливаюсь. Вою, пока из груди не выходит последний остаток воздуха. Потом слушаю.

Моя голова поворачивается чуть левее, и с южного склона ко мне приходит песня волка. Вернее, я наблюдаю, как песня поднимается со склона к небу, — кажется, звучит сам склон, сама ночь. Непонятно — далеко или близко родился этот звук. По телу пробегает холодок; будь у меня шерсть на загривке — она бы вздыбилась от возбуждения.

Я жду, пока наступит полная неподвижность в звуках, чуть ссутулившись, вдыхаю воздух и затем нарушаю хрупкую тишину. Я знаю, как внимательно слушают меня все, кого я не вижу в этой ночи. Вот только сидящая у ног Белка не обращает на меня внимания, а лишь чуть заметно поворачивает голову, чтобы лучше настроиться, чтобы четче воспринимать звук. Ее тело застыло.

Вкладываю всю душу в то, что делаю. Да, я хочу добыть волка. Если он появится в поле зрения, то, конечно, буду стрелять, но сейчас я и не помню об этом. Ружье снял и воткнул прикладом в снег, чтобы не мешало. Ловлю ответ с дальнего склона, почти не дышу.

Волк ждет, пока я вою, делает паузу, потом начинает сам. Я чувствую, как он, закончив песню, вслушивается, смотрит в мою сторону. И как он предельно серьезен, потому что все, что делаешь ночью, — делаешь серьезно, изо всех сил, иначе и не получится.

Мы перекликаемся долго, я прилежно учусь выть. Становится жарко, варежки в снегу вместе с шапкой. Пальцы рук напряжены, скрючены наподобие когтей. Заметив это, я пугаюсь. И так уже, наверное, немного одичал — живу на маленьком, отдаленном кордоне, каждый день одни и те же рожи. Колька да Юрчик, Юрчик да Колька. Так и озвереть недолго.

На обратном пути замечаю, что мою лыжню пересекают следы — два волка ушли на тот берег. Щупаю отпечатки — они совсем свежие, краешки ямок в снегу не успели затвердеть на морозе. Значит, все-таки приходили смотреть на меня. Легкие высокие на ногах звери. Я рад, что получил ответ с того склона, что со мной говорили на древнем, непонятном языке, что из темноты меня разглядывали внимательные глаза. Появляется ощущение причастности к чему-то, к какой-то тайне. Мне даже иногда кажется, что я понял, о чем пелось в той песне.

— Ну что, отвел душу? Мы тут твой концерт слушали, гадали — ты на четвереньках обратно прибежишь или нет. А то с тобой уже и в избе-то одной страшновато ночевать будет. — Колька наливает мне чая. Юрка улыбается. Я спрашиваю, слышали ли они, как волчица мне отвечала со стороны Таштумеса.

— А ты твердо уверен, что это именно волчица была, а не волк? — Колька щурит глаза. — Национальность у нее не спрашивал? Может, она тоже китаяночка? Юй... Мей... как ее, ты говорил-то?

Все, началось. Теперь до хрипоты будут спорить. Юрчик утверждает, что и волки могут быть узкоглазыми, потому что он сам встречал в Якутии таких узкоглазых собак, а собаки — родственники волков. Колька опровергает эту теорию. Волки — это волки, а люди — это люди.

Приятно сознавать, что дома тебя кто-то ждет, пусть даже это обыкновенная бессмысленная корова Ласточка с выпученными глазами и теленок, постоянно обсасывающий мне куртку. Мне очень нравится зимним вечером зажигать керосиновый фонарь и, освещая себе дорогу, отправляться к ним в стайку. Там пахнет добрым домашним запахом молока, животными, сеном. Я ставлю перед коровой ведро с подсоленными картофельными очистками, ломтиками тыквы и испытываю удовольствие от того, как вкусно она хрумкает. Усаживаюсь на маленькую скамейку. Ласточка нава-

ливается на меня теплым боком, и тонкие струйки молока звякают о дно подоюника. Когда очистки и тыквы заканчиваются, я начинаю петь. Корова поворачивает тяжелую голову, обнюхивает мне плечо и замирает. Невозможно понять, нравятся ей мои песни или нет. С лошадьми как-то легче — когда жеребец приводил в поселок своих кобыллизать соль, я бросал им несколько навильников сена и, сидя неподалеку, пел романсы. «Вот так она любит меня...» — Я повторял несколько раз, потому что лошади сразу переставали жевать и ставили уши столбиком, обернувшись в мою сторону.

Потом я начинаю поить теленка. Он еще не очень хорошо научился пить из ведра и иногда, войдя в раж, бодает его. Мы оба в молоке, которое быстро замерзает на одежде.

Иду домой. По небу летит луна со светлым ободком вокруг. Зима сдавила нашу долину мертвыми заснеженными склонами гор. Скрип снега под ногами звучит слишком громко для такого нереального пейзажа.

После похода всегда трудно натопить квартиру — придется в первую ночь ложиться в одежде. На кухне очень уютно. Керосиновая лампа мягко освещает замусоренный стол с книжками, грязными чашками, окурками сигарет.

Плита потихоньку остывает, ее ярко-красный цвет сменяется темно-вишневым, потом сереет. На припечке стонет чайник, в железной кружке преет густой, смоляной чай. Надо дождаться, пока прогорят дрова, и задвинуть печную заслонку.

В окнах пустая темнота. Я задергиваю занавески, чтобы темнота ночи не проникала внутрь дома, не пугала. Ведь я живу один и должен сам защищать себя от первобытных страхов, от окон, глядящих в никуда.

Я уже почти привык к тому, что каждое утро из-за Алтыколя выходит солнце. В зимние месяцы оно пробирается по самым верхушкам деревьев над северным склоном и вскоре после полудня скрывается за высоким горизонтом. Летом оно, позолотив дом и тес крыши, живописно заходит за Кызыл-Бажи — Красную вершину. А сначала не мог привыкнуть — происходящая реальность была нереальна. После московской жизни с ее истошающими мечтами о деньгах, сексе, независимости и любви очутиться в крохотном поселке из четырех домов посреди алтайских гор — это слишком похоже на выдумку. Само слово «лесник» отдает чем-то бородастым и замшелым.

В общем-то я перестроился довольно быстро — свежий воздух, забытое чувство голода по утрам и тяжелые походы сделали свое дело. Но ощущение сказки осталось. Слишком тихо здесь по ночам, слишком темно в окнах и слишком легко разговаривают с человеком волки с Ойюкских склонов. И поэтому я повесил дома занавески. Прошлой весной, когда начали дуть ветры.

Весной вообще бывает ветрено, зима шумно уходит вверх по долинам рек, и деревья начинают стонать, сгибаясь от потоков плотного холодного воздуха. В такие вечера не хочется гасить лампу. Проволоки, протянутые во дворе для просушки белья, раскачиваются и звенят, дверь в сенки стучит. Ветер давит на стекла в рамах и гуляет на чердаке.

Страх холодит подошвы ног, и, лежа в постели, приходится подтягивать колени к животу, плотнее кутаться в одеяло. Задолго до меня здесь жил Двоеруков, тело которого не нашли. Куда унесла его речная вода? Говорят, он приходит в свой бывший дом и ищет кого-то. Наклоняется над спящим и глядит ему в лицо. Прежде живший здесь Колька быстро смотался после такого в новую квартиру.

Ночной ветер выдувает силы из человека, приковывает его взгляд к проему окна или двери, чтобы глаза не пропустили того момента, когда

комната окажется занята. Темнота дома зернистая, мерцающая. Светлая рама проема становится то больше, то меньше, глаза устают от чрезмерного напряжения.

А сколько оттенков шороха можно различить в доме во время ветра! Звуки приходят со всех сторон, делятся по степени опасности, запоминаются на мгновение и перебиваются новыми. Они становятся ближе и ближе, и в какой-то момент понимаешь, что кухня уже не твоя. Мое незанятое, свободное пространство сужается, хлопанье двери из сеней на улицу больше не беспокоит, этот рубеж давно сдан. Потом уходит из-под контроля большая часть комнаты, и до спичек в изголовье кровати уже не дотянуться. Это почти насмешка — рядом стоит лампа и лежат сигареты со спичками, но взять их и зажечь свет невозможно. Остается только пространство под одеялом, куда потихоньку забирается холодный воздух. Где он проходит? Сзади или около шеи?

Ноги болят от неподвижности, от неловкой позы, мышцы спины и живота страшно напряжены. И нечем защититься от этого страха, я растерял свои спасительные проблемы: склоки с бывшей женой, тоску по свободе, угрызения совести и хроническое безденежье — все, что так надежно мучает человека, укрывает его от свиста весеннего ветра. И нет рядом женщины.

И тогда осторожно, по сантиметру, чтобы не выдать своего намерения, я пролезаю рукой в трусы и сжимаю то, что иногда зовет меня к вечерней сутолоке около ларьков на станциях метро, к запаху легкого табака на чужих кухнях, к неровностям на асфальте, где иногда подворачиваются высокие женские каблуки. Я пытаюсь представить, что на свете еще существуют такие вещи, как потекшая тушь, стрелки на колготках, следы помады на рубаше.

Я тереблю свое воображение, свою память. Я пытаюсь защититься, разогнать звуки, обступившие мое последнее убежище. Хочу уснуть, чтобы приблизить утро, чтобы пережить эту ночь. И постепенно распрямляю затекшие ноги. Так, зажав в ладони то, что связывает меня с огнями вечерней Москвы, с ее синими улицами, я засыпаю.

— Ты кого спишь? Давай разгоняй баб своих, пойдем в контору на связь. Слышь, парень? И Ласточка уже орет целый час в стайке у тебя.

Колька разминает в пальцах сигарету, стоя у входа в комнату. Он щупает ладонью печную стенку. Несмотря на ночные страхи, я никогда не запираю дверь на крючок.

— Холодно у тебя. Это... Там Толик Кривунов вчера приехал. Вроде, говорит, зарплату нам в центральной усадьбе выдали, пойдем в контору поговорим. Он завтра обратно уезжает, кому-то из нас троих надо с ним ехать за получкой.

Я забрасываю в печь занесенные с вечера дрова, поджигаю бересту, ставлю чайник и иду в контору. Мне пришло письмо от Олеси. Поэтому когда Колька спрашивает, кто завтра поедет за зарплатой, я прячу письмо в карман и говорю, что поеду с удовольствием.

Для Олеси я беру таежные гостинцы — дикую козлятину и печенку, закаменевшую от мороза. Предстоят семьдесят пять белых заснеженных километров пешком до района, затем одиннадцать часов на автобусе до Города. Меня связывают с Олесей и гонят в дорогу два письма, полученных от нее, и одно — отправленное от меня, в спину подгоняет холодный ветер. А до обмена письмами была еще встреча на озере в августе месяце. Самая настоящая чудесная зеленая поляна с женщинами и пасущимися конями, как у Бабеля в «Конармии».

От Города до центральной усадьбы еще Бог знает сколько добираться — опять автобус, а там уже неизвестно на чем. Озеро, наверное, замерзло только километров на десять — не проплыть, не проехать. Потом обратно. До Нового года меньше двух недель, а надо успеть зарплату за всех получить, закупить продукты, водку, конфеты и вернуться на кордон.

Идти тяжело. На пятьдесят пятом километре я останавливаю Толика:

— Доставай пирожки, а то уже сил нет совсем.

— Какие пирожки?

— Колькина Татьяна ж тебе на дорогу давала.

— Так я не стал брать.

Если бы я об этом знал, то сдался бы на пятидесятом километре, когда решил, что козлятина в рюкзаке весит не меньше полуцентнера. Толик идет как ни в чем не бывало, заложил руки за спину и мерит длинными ногами дорогу. Раньше работал начальником на нашем кордоне, потом перебрался поближе к цивилизации в центральную усадьбу — надо ребятишек в школу отдавать. Легкий на подъем человек, привычки которого стерты постоянными походами. Позавчера он ночью прошел семьдесят километров до нас, от скуки считая столбы по дороге, теперь идет обратно.

— Что, совсем покушать ничего нет?

Толик копошится в сумке и достает маленькую баночку из-под детского питания, в ней сахарный песок. Я строгаю печенку, она приятно холодит язык, зубы стынют, во рту сладковатый вкус крови. Заедаю сахаром, курим. Всего-то ничего, а как быстро восстанавливаются силы, но долго сидеть не получается — мороз схватывает вспотевшую рубаху на спине под свитером, под рваной курткой. Моя самая приличная одежда...

Район...

Ночуем у Торбокова. Его пятнадцатилетний Виталька глядит на меня с интересом и немного свысока. Он хочет на следующий год поступать в Питере в военное училище. Сашка Торбоков курит у печки. Ненадежнейший человек, на которого всегда можно рассчитывать. Сашкины чувства текучи — он готов на все для тебя, пока ты находишься в поле его зрения, но стоит тебе исчезнуть — и ты забыт. Отсюда и неизменная радость узнавания при встречах. Он рад нам с Толиком.

— Я у Витальки послевчера знаешь, что нашел? Нож в кармане нашел, понял, нет? Он, бляха, такую банду водит по поселку. Если кто обидит, вон ему скажи, быстро разберутся. Бандит, раскудрит его, дурака, мать. Ладно, давай еще чайку. Будешь чай пить или нет? Не будешь — и иди на хрен тогда. Садись быстро, я уже налил тебе. Виталька вон знаешь, что про вас с Юркой говорит? Говорит, что из Питера и Москвы только идиоты могут сюда ехать жить, понял, нет?

Толик смеется. Такое отношение ко мне у большинства людей, Виталик просто высказал его вслух.

Город...

— Давай. Если оставят ночевать, то крикни. А то пойдем к моим друзьям через дорогу.

Толик остается двумя пролетами ниже, а я поднимаюсь дальше и звоню в дверь. Олеся открывает, кричит «вау!». Я перегибаюсь через перила и ору Толику, что все нормально.

Олеся живет у своей подруги, и вечером я, сидя на диванчике в неловкой позе, слушаю, как девушки по очереди играют на гитаре и поют мне песни. Ночью я таращусь на потолок, освещенный уличным фонарем. А на следующее утро мы встречаемся с Кривуновым на автовокзале в половине одиннадцатого. Я по дороге покупаю банку пива. Забытый вкус, забытый запах. Приятно.

Толик появляется за пять минут до отправления. Его приволакивает кто-то в полушубке, с бутылкой вермута в руке. Сидя на лавочке, мы пьем вермут, запиваем пивом. Толик теперь сдан на руки мне, я сдерживаю его воинственные порывы и грузу сопротивляющееся тело в автобус. Из-за этого в сортир забыл сходить, ну теперь уж до Чои.

Чоя...

Толик переживает радость хорошей поездки. Его длинные руки все время движутся, ищут за пазухой благоразумно оставленный дома пистолет, щупают горлышки бутылок — на месте они или уже начали теряться в мельтешащих перед глазами вещах. Иногда он хочет высадить всех из автобуса или захватить в заложники.

Мне тоже нравится ехать, автобус постоянно встряхивает на ухабах, на нашей задней сидухе компания хорошая подобралась. Берем еще две бутылки. Одну Кривунов ловко разбивает, и мои штаны пропитываются водкой. Довольно весело. Сосед угощает горькой настойкой. Что у нас следующее, какая остановка? Какой Санькин Аил? На хрен он нам! Не-е, мы где-то еще должны в магазин сходить.

Время постепенно убыстряет ход, и вот мы уже на свертке на Турачибит и почему-то садимся в «УАЗ». Потом я хожу по Аирташу. И люди, хотевшие меня схватить, остались позади. Я ускользнул от них. Еще светло. А когда я попадаю к Санько, уже темно.

Аирташ...

Андрюха Санько, похожий то ли на ветхозаветного Авраама, то ли на Фиделя Кастро, ласково называет свою жену Светлану «мамой».

— Вот видишь, какой мандюля, — вчера его нажратого привели. А, мама, смотри, он все-таки умный, сволочь, — сказал, что идет к Санько. Молодец. Не сказал бы — пришибли бы где-нибудь. Ты, говорят, весь поселок обматерил, у Байдашева деньги разбросал по полу. Как ты к нему попал? Не знаешь. А кто утром бегал босиком на озеро пить? Я встал, гляжу — следы на снегу... Мама, налей ему еще чайку. Молодец, сказал, что ко мне идешь. Тебя любая собака сразу приведет. У меня ж весь Аирташ в кулаке, я ж главный у них тут. Вот мамуля не даст соврать — осенью полковник из Города приезжал, недельку мы с ним порыбачили, он мне говорит: «Андрей Сергеич, на тебе здесь весь поселок держится». Познакомлю потом тебя с полковником этим. Ты вот что мне скажи: когда к нам переезжать будешь, а? Не надоело тебе по горам мотаться? Смотри, а то у меня сейчас такие дела начинаются. Первый годик раскрутиться, потом счет открываю валютный. У меня, правда, валюта и сейчас имеется, этого добра то хватает пока. Японские йены видел когда-нибудь, нет? Я тебе потом покажу. Про доллары и говорить нечего. А марками я вон за муку расплачиваюсь.

Светлана подпирает голову рукой и глядит на мужа. Позапрошлый год Андрюха Санько агитировал всех вступать в адвентисты седьмого дня (готовился строить в поселке церковь), чуть позже звал в казацье войско — как вступишь, сразу дают мешок муки, мешок сахара и комбикорма три мешка. Но атаман «козлом» оказался. Потом, кажется, был сбор целебных трав для приезжих. Теперь хочет заниматься туристическим бизнесом. Отвлекают только противные мелкие проблемы — нет средств достроить дом, приходится жить в старенькой «засыпушке», а бесчисленных гостей размещать на потолке. Приходится подрабатывать починкой обуви соседям, сколачивать ящики, в общем, халтурить ради пропитания. Но как же приятно гостить у него!

Я ухожу искать Толика. Он, обхватив руками голову, сидит в заежке и не хочет похмеляться. Грузим его в машину до центральной усадьбы. К со-

жалению, там всего одно место, и мне придется добираться самому — никакого другого попутного транспорта не предвидится на ближайшую неделю. Так-то недалеко — всего тридцать километров. Выхожу на лед озера и по прямой до кромки льда, потом по камням вдоль берега.

Кордон Янгазан...

Середина пути от Аирташа до центральной усадьбы. Я приготовился увидеть Вальку Маневича с Милой, но на кордоне был только неизвестно откуда взявшийся Мишка Бородин — художник из Питера. Маневичи оставили его следить за хозяйством и доить корову, а сами куда-то отъехали. Я заночевал.

Вечером в печке стреляли и оседали дрова, сонные, призрачные предметы обстановки выплывали из темноты к свету тусклой керосиновой лампы и замирали, как ночные рыбы. В этом неверном свете Миша показывал мне свои картины — пейзажи Золотого озера. Он забыл дать корове сена, он бросил чистить картошку на ужин и, растапывая сапогами очистки на газете, таскал холсты туда-сюда и рисовал вслух удивительные перспективы. Сколько картин он продаст за немыслимую цену туристам, сколько подарит просто так бабам. Как он купит парусное судно — по-моему, парусное судно или что-то в этом роде. Седеющие волосы спадали ему на лоб, он их нетерпеливо откидывал рукой, и все это происходило под аккомпанемент «Pink Floyd», «Обратная сторона Луны». В этом было что-то еще более нереальное, чем разговор с волками. По крайней мере подобные ему стареющие хипаны кажутся многим местным не менее загадочными существами, чем снежные барсы. Перед сном он показал мне треснутый у обушка дореволюционный топорик с клеймом, на котором угадывался двуглавый орел. Видимо, он ценил его дороже, чем свои произведения, и оставил показ на десерт.

От Янгазана до центральной усадьбы нет дороги по берегу. Нужно подниматься в тайгу. Лыж нет, и я иду по колено в снегу, потихоньку, стараясь не потерять еле видные зарубки на деревьях. Хорошо еще тут снег не очень глубокий. Наверху местность делается более плоской, высокие деревья застыт горизонт, солнышко не угадывается в пасмурном небе.

Затеси заканчиваются около балагана, где Валька Маневич шишкует осеню. Я на всякий случай прихватываю оттуда маленький котелочек и бреду наугад. К вечеру сворачиваю в сторону озера, и в просвете между деревьями показывается далекий противоположный берег. Где я ходил эти пять часов — непонятно, но сейчас я только над Аржанами — на полдороге. Появляется тоскливое предчувствие, что ночевать придется в лесу. День короткий, и я, преодолев по пояс в снегу какой-то овражек, начинаю подыскивать место для костра.

Одежда у меня не очень подходящая для тайги, спальника и топора вовсе нет, зато теперь есть котелочек. Из-под снега выкапываю почерневшие прошлогодние листья бадана — это мой чай. В рюкзаке две пачки «Беломора», — жить можно. С разбега валю подгнившие пни расщепившихся кедров, подтаскиваю к уютному месту под нависшей скалой, где нет ветра, нарубаю ножом еловый лапник для постели. Плохо, что не позавтракал, думал, что добегу до центральной усадьбы часа за три-четыре. Только бы очень сильного мороза не было.

Один бок греется от ровного жара костра, другой чуть мерзнет. Острия елок направлены в небо, я опять лечу навстречу подмигивающим маячкам звезд. Земля привычно и без суеты совершает свой путь, окруженная холодом. Такая простая картина не дает возникнуть страху или беспокойству, я отдыхаю. За остаток дня успел окончательно сбиться с дороги и теперь

слабо представляю, куда завтра идти, но это не волнует. Придавленный к земле, смотрю вверх. Вот созвездие Семи Ханов — ковш Большой Медведицы, он медленно поворачивается вокруг Полярной звезды. Создается впечатление, что мы ввинчиваемся в небо, как винтовочная пуля. Какая страшная скорость! Верхушки елок чуть подрагивают от напряжения, с них осыпается снег и покалывает лицо.

Я получу в конторе зарплату, буду три дня ждать машину обратно до Аирташа. Потом снова автобус до Города. В Городе я буду покупать продукты по списку, снова увижу Олесю, так же напряженно и пусто проведу вечер у нее в гостях и, неловко попрощавшись, отправлюсь дальше трястись по Монгольскому тракту. А она останется в этом городишке переживать свою пятнадцатую зиму...

С самого начала было понятно, что ничего доброго от этой поездки не будет, но удержать себя дома я не мог. Поэтому завтра я буду топтаться в занесенных снегом руслах ручейков, искать новые затески и с трудом идти дальше.

Караташ...

Тридцатого вечером автобус, идущий из Города в район, сломался в поселке Караташ, не доезжая два часа до конечного пункта. В одиннадцать ночи водитель объявил, что машина дальше не пойдет, и я остался в незнакомой деревне с ящиком водки, с тяжелым рюкзаком, двумя сумками и тремя миллионами рублей в кармане. Большинство пассажиров-алтайцев разбежались по знакомым или разъехались на случайных попутках до районного центра. Меня никто не брал, да и мало было этих попутков. Я попросил кровать в гостинице, и мне дали ее в одной комнате с двумя армянами-коммерсантами и целой толпой студентов, едущих домой на новогодние праздники. Русским из них был я один. Я поминутно проверял, на месте ли деньги, не вскрыт ли рюкзак, и с тревогой ждал момента, когда народ проявит интерес к моему ящику. Настроение у всех было предпраздничное, по поселку пелись песни и завязывались драки.

Мне поднесли пластиковый одноразовый стаканчик с водкой, потом второй. Я решил пожертвовать обществу мою личную бутылку коньяка и подсел к столу. Армяне нарезали вареной картошки, сыра и рассказывают анекдоты, студенты сидят друг у друга на коленях, веселятся и наблюдают, как я пью водку. С ними три девушки.

Я распаковал ящик с водкой и вынул первую бутылку. К часу ночи некоторые уже уснули в одежде, откинувшись на кроватях. Передо мной плавало лицо одной из студенток.

— Пойдем погуляем?

— Вы что? Очень холодно. — Она улыбается, и парни, по-моему, тоже. — Вон ее пригласите, она, наверное, хочет.

— А я с тобой хочу. Пойдем.

Но девушка наконец куда-то пропадает, я лежу на кровати лицом вниз, а меня трясет армянин. На улице солнце.

— Э-э, братишка, последний автобус в Город отходит, пошли.

31 декабря вечером я снова в Городе. На автовокзале похмеляемся шампанским, и я расстаюсь с армянами. Я все равно не добрался бы домой к Новому году. Олеся снова открывает мне дверь, и я не знаю, рада она моему появлению или нет.

Недорезанные салаты на кухонном столе; шум воды в душе; смогу ли я починить утюг? — в нем что-то случилось; взвизги и смех в закрытой комнате; огромная кастрюля с бигуди на плите. Прижимая к груди платье, девушки поминутно проносятся мимо кухни, где сижу я и чищу картошку,

потом бегом на балкон, чтобы узнать, холодно на улице или нет. Нужно еще раз послать меня за майонезом, позвонить в десять разных мест и, уже надев выглаженное платье, найти на нем ужасное пятно. Нужно, чтобы во всей квартире громко играла музыка и был включен телевизор. Нужно делать все одновременно: бегать по всем комнатам, теряя на ходу тапочки, заглядывать в кухню, чтобы узнать время, и каждый раз приходиться в ужас. А потом вдруг усесться на диванчике и, сблизив головы, двадцать минут рассказывать что-то шепотом, прыскавая и давясь от смеха.

К одиннадцати все готово. Мы идем к Олесиным родственникам, и я вместе со всеми пью там водку за счастье в Новом году. Пока бьют часы, девушки что-то загадывают. На Олесе коротенькое платьице.

В половине первого они заводят меня домой и убегают поздравлять каких-то друзей, к которым мне не обязательно их провожать. Я достаю из своего ящика еще одну бутылку и смотрю телевизор.

И вдруг приходит Олеся. Просто поворачивается в замке ключ, четыре или пять раз цокают каблучки, дверь захлопывается. В кухню заглядывает посвежешее от мороза и бега лицо, очень строгое, или, может быть, равнодушное, или безразличное — долго удерживать одно и то же выражение не получается, — и в глазах праздник. Так мало времени в эту ночь, так много надо сделать всего. Надо еще успеть объяснить мне, что она забежала только потому, что ей должны позвонить. Что она подождет минут пятнадцать, и если звонка не будет, то помчится обратно. У меня тоже мало времени — надо спрятать бутылку, съесть пару ложек салата, нет, лучше зажевать жвачкой, пока Олеся снимает сапожки в прихожей. По-моему, рожа моя уже слишком красная от водки.

Мы сидим напротив друг друга — она на диване, я на полу. И Олеся время от времени жалуется, что звонка все нет и нет. А ей надо бежать. Я тоже понимаю, что время уходит, но почему-то молчу.

Самое неприятное — я знаю, что надо делать. Все до самых мелочей. Определенный обряд, выверенный временем набор действий, слов, интонаций. Простой и четкий алгоритм, нарушать который нельзя. Девушка внимательно будет следить за порядком его исполнения и проверять, не сбился ли я с очередности. Если я ей нравлюсь, а я ей нравлюсь, она может поправить меня в мелочах. А потом признаться самой себе и подружкам, что все было так неожиданно.

Рассказы о волках и прочей экзотике нужно оставить на потом, когда, например, она приведет одноклассниц познакомиться со мной и попить чайку.

Но алгоритм необходимо выполнять с вдохновением, должен быть некий порыв. А я тяну время, наливаю себе «Фетяску» и, что хуже всего, в раздумье гляжу ей в глаза.

И тогда она встает и надевает шубку.

Автобус в район ушел только третьего числа. Я снова десять часов подряд пялился в заиндевшее окошко, морщился, когда вспоминал, как нажрался после Олесино ухода. Потратил за поездку кучу денег, а прицел ночного видения так и не купил. С ним бы как хорошо было на подвывку попробовать.

Колька не поверил, что сломался автобус, что я провел ночь в Караташе. Мы с ним поссорились, не заходили друг к другу неделю или чуть больше, потом пошли в тайгу. Так до весны и ходили вдвоем.

С ним легко, с Колькой, свыклись мы с ним, сошлись, да и просто, наверное, подходим друг другу. Зачастую ничего и не говорим, каждый уже знает, что ему делать. Один дрова на ночь готовит, другой — за водой или костер развести. Мне вот, например, легче вечером готовить, а ему утром — все равно рано просыпается. Натопит снег, заварит чайку, а потом

меня уже будит. Даже, змей, с некоторым злорадством будит, обязательно про женщин упомянет, которые по молодости лет должны мне сниться. К самому-то скорее всего красавицы не страшнее моих приходят.

Да, все мы здесь такие, немного странные, собрались. Все из крупных городов, все от чего-то сбежали, все уцепились за этот мирок и храним свои тайны, ласковые сновидения и страхи.

А тайн хватает: поживи в тайге, поброди в одиночку по лесу — и у тебя появится то, о чем другим ни за что не будешь рассказывать, разве что самому родному человеку, да и то десять раз подумаешь. Все подшучивают друг над другом, ругают суету городов или новые порядки. Кордон зарос коноплей, за лето по два раза вокруг туалета ее выкашиваешь, а даже никто и не балуется. Впечатлений от жизни и так достаточно.

В марте заночевали в карагырской избушке на пути домой. Поздно вечером недалеко от избы рявкнула маралуха, и сразу завыли волки. Торжествующе, страшно. Колька вышел на улицу посмотреть, а я дрожащими руками натягивал свитер, теплые штаны. Волки торопили меня, подхватывали, тянули песню; казалось, стая здесь, совсем рядом, я представлял их так отчетливо, почти видел, как они сидят на снегу, более молодые переступают лапами от возбуждения. Я боялся опоздать, мне было безразлично, что старая тонкая луна выйдет лишь под утро, что я практически беспомошен в темноте, где только снег немного отражает свет звезд.

— Ты подумай, куда ты пойдешь, кого там увидишь-то? — Колька не может меня отговорить и машет рукой. — Мой карабин хоть возьми, к твоему-то ружью патронов ведь не осталось, кого там двумя патронами делать?

Почему меня так тянет туда? Я не задумываюсь об этом. Карабин так карабин. Все равно не то что мушки — ствола почти не видно.

Наст слабый, лыжи не держат и проваливаются в снег, похожий на мокрый сахар. Я их бросаю и медленно иду в глубоком снегу на вой, но он не становится ближе. Просто нарастает, становится мощнее и понятнее. Самые сильные и низкие голоса держат одну ноту, подхватывают ее друг у друга, соединяются вместе — так, что звук начинает вибрировать, наполнять все пространство вокруг твоего жаркого тела, весь окружающий холодный мир. А молодые срываются на визг, взлаивают, стараются встроиться в общий хор и не выдерживают слаженного напряжения.

Я обливаюсь потом, часто останавливаюсь, задыхаюсь, мне хочется бежать, но песня волков как будто уплывает от меня. Я боюсь их спугнуть своими шагами, хрустом наста. И в то же время знаю, что они дождутся меня, от этой мысли нарастает возбуждение и по спине проходит холодок.

От избушки доносится выстрел. Волки замолкают, и я слышу, как Колька матерится и стучит чем-то по пустому котелку. Выжидаю еще немного, а потом возвращаюсь по своим следам.

— Ты зачем мне охоту испортил?

— Какую, на хрен, охоту? В карабине один патрон всего. Мне казалось, там пять должно быть, а потом думаю, я ж чистил и весь магазин-то разрядил. Я как понял это, выстрелил и давай в кастрюльку стучать. И вообще, какая тебя нелегкая потянула в такую-то темень? Вот ведь мудила-мученик, как говорится!

Руки у меня еще дрожат, и я сам не знаю, зачем бежал туда, срывая дыхание и покрываясь мурашками. Сажусь на нарты и достаю сигареты.

— Нет, ладно бы луна была — еще куда ни шло, а сейчас — ты сам подумай своей головушкой-то! Кого бы ты там сделал, да еще с одним патроном. Они бы тебя мухой зачекрыжили.

Колька открывает затвор и демонстрирует мне один патрон, бывший в карабине.

— Луна бы была, я говорю, тогда другое дело. А тут — ночь, никого не видно, а этого дурака туда несет! И главное, волков он почему-то не боится, а девку оттоптать боится!

— Да я ж тебе говорил — не боялся, просто не захотел.

— Не захотел, не захотел. Как можно не хотеть? Хотел, просто боялся. — Колька уставился на желтый с серебряной головкой патрон в своих толстых прокуренных пальцах. — Вообще-то я сам боюсь, например, в городе жить. Другой еще чего-нибудь боится. Вот прошлый год, помнишь, мы над Ойюкскими склонами лыжню топтали, и я с лавинкой укатился? Еще бы маленько — и шандец бы настал. Но почему-то не страшно, а в город приеду — дорогу не могу перейти. Боюсь!

Старшего сына у него выучила жена, занимаясь по вечерам по школьным учебникам. Да два раза в год они ездили в район сдавать экзамены. Но дочку жена учить отказывается. Придется, наверное, Кольке набирать храбрости и ехать в цивилизацию. А мне?

— Охоту испортил! Я волкам охоту испортил, а не тебе. — Колька все покачивает в неодобрении головой. — А насчет Олеси я тебе сразу сказал, что нечего с малолетками связываться.



НИКОЛАЙ КОНОНОВ

*

КОРТИК ЛУНЫ

* *
*

Вот ты гляди, как тот пялится на ту, которой к тому, как мне к тебе
Ласточкой свистеть семь дней, но я украл первый взор, и сразу всех
Как по цепи ужас обуял: даже туча, выдувающая на золотой трубе
В вечерние поля поцелуй, — все сто сестерциев просыпала из прорех.

Из классического туннеля поезд, опережая дождь, накатывает на вид
Осенней Тосканы, где следы увяданья замаскированы под расцвет
Помраченья: и звезд так много, что никто ни с кем ни о чем не говорит,
Только та смотрит, как эта той от того тому в слезах не передает привет.

И я — очами всех, кто стеснялся глядеть на тех, кто смотрел не стыдясь,
Опознал себя, все прошляпившего от тех до этих мест, но морской
Умоляющий шум... но никто ни о чем никогда ни за что никого...

отродясь,

О, ни детский, ни женский, ни ангельский и ни мужской...

* *
*

Я — юнец,
И утро
Наконец
Льет кудри

Вниз, к полям,
Где тесно
Рдеть слоям
Телесным

В дождевой
Реторте.
И живой
Тот мертвый,

Слыша тишь
Всех птичьих

Многих тыщ...
Но вычел

Кто меня
Со мною
Из огня?

.....

* *
*

Парами на поля
Переливаясь, юля,
Особи слизней, червей
Выползают смелей,
И сияющий клей
Им лобзаний милей.

Два ведь менее одного,
Подглядывающего в окно
Месяцем из глубин,
Где рвет андрогин
Аккордеон вползари —
Так выбери и заговори:
Синий тестостерон
Снегом со всех сторон
Набивается в рукава,
И мужает трава.

В горючих лесах
Чем же пропах
Лучший друг, моя
Выпуклая колея,
Удушающая шлея,
Мимо лия
Раскрасневшееся вино
На поверженное руно...

За свиный обол
Я тебе покупаю пол-
Черепахового... никому,
Ни одной и ни одному...
За деление пополам
Я еще половину дам
Утопающим судам,
Цветущим садам,
Убывающим рядам
И невыносимым следам...

* *
*

Нежат сугробы,
Ах, твоя милость,
Марта утробу,
Чтоб накренилось

К нам все сразу —
Там я, бездельник,
Зажгу указов
Золотой ельник

С тобой, который,
Почуял плоти
Оленьи хоры
Ангелов в полете,

И их сопрано
Румяным дымом
С плеча бурана
Неизгладимо...

* *
*

«Боинг», выдохнувший: *о аллах!*
Дымом — пиниям в облаках,
Черемухам в белых чалмах,
Ночи, подымающей вуаль
Звезд, — вот чего жаль.

Не дурочку, роняющую велосипед,
Не бульонных кубиков бред,
А сумраком замусоренный лесок,
Кортик луны срезающий наискосок
Волны волосок.

Амстердамский ночной дозор,
Зарифмовывающий мой позор
В ужасающий кругозор,
Аонид воспаленный хор
Под бессмысленный разговор.
Сингела скол воды
Сохраняющий губ следы.

Ты мне око лучше лизни
Обмиранием голизны,
Умножением стыдных черт,
Не вмещающихся в конверт,
В тесной рукописи кусок,
В глину, слезы и прочий песок...

Письмо М. З. о сущности постмодерна

С утра для силушки — борща таган,
Чтоб рыгнуть в соловьиный капкан,
Кваску закусить резную осоку
С месяцем, молодеющим однобоко.

Дизель врубить на сто га окрест,
Суходола переписать палимпсест
Непротравленными семенами,
Как арабскими письменами.

Это будет наш постмодерн —
Показавший всем из каверн
Яровой из трех букв пароль
Полей, выстриженных под ноль.

Вижу с космоса весь наш арт,
Зеленцу плеснувший на март,
По хребту сапогом *ку-ку* —
Слово армии о полку.

Этот в утренний холодец
Черной вилкой тычет скворец,
И в военных полей брезент,
Что хочу я рыдать, *my friend...*

* *
*

Сыворотка чириканья под утро тревожит Саула, и потому
В час, когда киснет молоко, шесть боевых котов наготове
Из хрустальной плевательницы катапультироваться по одному
И за воробьями сновидений гнаться, как за ангелом Товий.

Первый — в небе Иерихона ведет треугольный боевой самолет,
Второй — амалекитянам на бойне мстит за ледяные постели
Перистых облаков, третий — за сердца моего заброшенный огород,
Четвертый — за солнце, не повернувшееся на золоченой турели,

Пятый — ты не догадываешься, за какой ветхозаветный, за какой
Укоризненный, жалкий и жуткий без всякого смысла...
Как зов губ... И за полный крах налетает шестой —
Краденым равновесьем неба, сломанным звездным коромыслом...



ИЗ НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

*

СПАСЕНИЕ

Рассказ

В этом году исполнилось 70 лет со дня рождения известного российского писателя Георгия Витальевича Семенова (1931 — 1992), постоянного автора нашего журнала. В «Новом мире» были напечатаны его повести «Вольная натаска», «Городской пейзаж», «Ум лисицы», «Путешествие души», множество рассказов. В 1996 году в разделе «Из наследия» опубликованы фрагменты дневников писателя «Убегающий от печали».

Предлагаемый рассказ написан в 1971 году.

Я смотрел на тихую воду и ждал вечера. На голом берегу обозримого моря чернело у моих ног старое, иссохшее кострище, а чуть поодаль лоснилась в траве бутылка из-под вина. Наклейку смыло дождями, но в посудине этой, видимо, «Тракия» была или какая-нибудь «Варна» — импортное вино, бутылки из-под которого не принимаются в магазинах и не обмениваются: иначе бы ей не валяться здесь, на виду.

Море было ненастоящее. У нас теперь любой водоем, из которого ненасытная промышленность черпает пресную воду и мы, грешные, пьем, подтянув к своим городам большие и малые окрестные реки, — каждый водоем называют морем. Слово это в общем-то русское и понятное издревле — море. Много воды! И опасности на такой воде морские. Весельная лодочка, оказавшись она в крепкий ветер посреди моря — ненадежное суденышко, и не так-то просто выгрести к берегу по хлесткой волне. И глубины есть. Не те, конечно, глубины, не та волна и просторы не те, но жизнь-то человеческая везде одинакова — что на соленом, что на пресном морях. Одинакового, так сказать, размера... Есть и острова на этом тихом море. Но главное, что слово это проще и приятнее, чем то, которое как будто бы и точнее и ближе к истине, а вот претит слуху своей неблагозвучностью — водохранилище. Есть у нас и зернохранилища, и овощехранилища, и каких только хранилищ ни напридумали мудрые дядьки, позабыв и отбросив хорошие слова. Глупо все это! Да и в разговоре неудобно: зернохранилище, овощехранилище, водохранилище. Стерто все получается и скучно. А исконно-то русский человек не туг на ухо. Он лучше водоем шириной с Волгу морем назовет и душу свою порадует морем-окияном и крутой его, тяжелой волной, пенным прибоем, который с наветренной стороны бьет и лижет берег, размывая глинистый обрывчик. Не так, конечно, размеренно и шумно, как на соленых морях, но все-таки... Пошлепывает, пошлепывает — и муть от берега тянет на глубину, как на море-окияне.

Но в этот день было тихо. Лодка моя, врезанная килем в илистый берег, мертво голубела ребристым своим нутром в недвижимой воде, словно навеки погрузившись в прозрачную и согретую солнцем воду. А море, отразив гладью испепеленную небесную муть, было воздушно и невесомо.

Дальний берег с зелеными рядами саженых сосенок мягко отражался в воде, широко растекаясь по ней темной зеленью, а слева желтел остров. И тот простор воды, который поблескивающим шелком был натянут перед взором, казалось, плавно и мягко вздымался передо мной, был выше меня и моей лодки: отражения окрестных берегов так причудливо окружали тенью сияющее во всей воде небо, что невольно создавалось у меня это странное впечатление округлости моря, впечатление, будто передо мной был прозрачный бок огромного стеклянного купола, обрамленного желто-зелеными тенями и такого огромного, что выгрести на середину этого светлого полушария не простое дело, нужно много потратить сил, и меньше тоже нужно.

Мучили лень и жара. Я часто купался, но, когда, мокрый, выходил из воды, и ноги мои вязли в осклизлом подбережном иле, ощущение свежести пропадало. На меня набрасывались слепни, жадно приклеиваясь к коже серыми жалящими тельцами, вились в нудном упрямстве, падали в траву, прихлопнутые ладонью, но все равно, как я ни бился с ними, как ни следил, тело мое вдруг испытывало резкую и пронзительную боль от их укусов.

Я поглядывал на небо, ища хоть какую-то перемену, но глаза мои слепли, словно я ловил солнечные зайчики. Чудилось, будто бы в небе не было привычного раскаленного добела шарика, будто все небо было осияно белой магниевой вспышкой, и облака, которые, как мне казалось, замерли на небе, были словно бы не влажными скоплениями пара где-то там, в холодной вышине, а всего-навсего пеплом сгоревших облаков, их сухими скорлупками. В такую жару только насекомым ползать среди травинок.

К тому же еще неприютность берега, на котором я ждал своего товарища, — старое это кострище, пустая бутылка, грязная, измазанная машинным маслом тряпка, черный фильтр, выброшенный каким-то автомобилистом, пластмассовая фляжечка, которую я сначала принял за обыкновенную флягу, забытую кем-то, но, оглядев, кинул опять в траву, потому что это была фляжка из-под тормозной жидкости. Хорошая и удобная посудина с завинчивающейся крышечкой, но неистребимый запах бутилового спирта пополам с касторкой отбил, конечно, охоту приспособить ее для воды или, допустим, под постное масло, которое никогда не лишне на рыбалке.

Страсть к этим посудинкам у меня порой доходит до идиотизма... Какую-нибудь коробочку с навинчивающейся крышечкой из-под крема, которым пользовалась моя жена, я готов отмывать несколько вечеров подряд, чтобы использовать потом под чай или под соль, и радуюсь, как ребенок новой игрушке. Впрочем, какой уж тут идиотизм! Нужда заставляет. Разве где-нибудь купишь удобную и маленькую коробочку для чая или для соли, чтобы она и в воде не намокала и чтобы чай аромат свой не потерял? Об этом никто еще не подумал, а рассчитывать на то, что скоро подумают и начнут изготавливать для всяких любителей бродячей жизни эти простые и дешевые коробочки, вряд ли приходится.

Вот и фляжку оглядел я со всех сторон, отвернул крышку, но, увидев на доньшке красную жидкость, пахнущую бутиловым спиртом, с сожалением выкинул, обозвав негодяем того шофера, который кинул здесь, загадив и без того унылый бережок, черный промасленный фильтр, тряпку и эту фляжку.

«Надо бы сжечь, — подумал я, — а бутылку закинуть подальше от берега. А то ведь кто-нибудь придет, увидит бутылку, поднимет ее, а потом со злостью треснет об землю, и тогда другой человек, который придет сюда после меня и после того, уже не ступит босой ногой на землю... Надо, конечно, закинуть бутылку или еще лучше отойти от воды подальше и закопать, а тряпку, фильтр и флягу сжечь. Я не уберу, кто же тогда? Если не я, то кто же?.. Другой внимания не обратит. Или чертыхнется со злостью и пройдет мимо. Надо сжечь. Как же иначе? Сидеть и возмущаться, что вот,

дескать, какие на свете недоразвитые людишки, которым на других наплевать, на тех, которые придут после них на изгаженное ими место. Такие вот паршивенькие людишки, которым по какой-то странной случайности удалось в свое время родиться в образе человека, а не свиньи. Смотришь — вроде человек, а приглядишься — свинья. Впрочем, с кем не бывало!»

Так я думал и размышлял витиевато, понимая себя хорошим, сильным и здоровым человеком, который сейчас вот поднимется и соберет с жесткой и теплой земли всю эту грязь, оставленную другим существом, которое мнит себя человеком.

«Человек всегда, испокон веков, убирал грязь за скотиной, — думал я. — Надо быть человеком».

Но лень была так всеильна, голове было так удобно на жестком спасательном поясе, земное притяжение, которое словно бы показать решило свою непреодолимую силу, так примагнитило меня к сухой травке, всякие мухи, оводы и слепни, которые набрасывались на меня, мокрого, исчезли куда-то, никто не жужжал надо мной, не кусался — мне было так хорошо, я вдруг почуял запах тихой и разогретой воды, запах теплого ила и, закрыв глаза, подумал, что надо бы прикрыть голову, чтобы не напекло...

Каждый знает, как неприятно спать на солнцепеке, вернее, не спать, а просыпаться. В глазах серо, как будто все окутано дымом, как будто ты стал собакой и, как утверждают ученые, видишь мир только в черно-белых тонах, и не живой он перед тобой, а всего-навсего любительская тусклая фотокарточка. И ужасная тревога в душе. Какие-то панические вопросы теснятся в мутной голове: «Где? Что? Почему? Как? Гроза?»

Меня разбудил удар грома, и, очнувшись, я успел услышать замирающее окончание разгулявшегося по небесным гулким углам и коридорам резкого грохота.

Все так же палило солнце, и лишь над морем, отразившись у дальних его берегов, собралась какая-то мутная серость, похожая на тучку. Море все также было покойно, теперь только стеклянный его шар казался еще более выпуклым, словно серые отражения тучи выгнули светящуюся водную гладь.

Мир приобретал утраченные краски, и я уже видел сверкающий шар воды, желтый остров на склоне этого шара и серую дымку вокруг... Реально была только лодка, которую я вытянул наполовину из воды и которая словно бы соединяла голубыми шпангоутами и веслами твердь земли и обманчивый, зыбкий, поблескивающий покой.

Я проклял свою лень, свой тяжкий сон и, чувствуя себя словно с похмелья, увидел вдруг слева от себя большое стадо черно-пегих коров. Коровы зашли в воду и, напившись, стояли по брюхо в воде, отражаясь в ней недвижимой чернотой. Другие лежали на берегу.

Было так тихо, что я услышал, как падали, ударяясь о воду, капли с черных губ молодой и статной коровы, которая в задумчивости созерцала светящийся простор воды. И все другие коровы — те, что стояли в воде, и те, что лежали в сырой осочке на берегу, — все они, казалось, находились в странном оцепенении. Глядя на них, я подумал, что это не стадо коров, каким я привык его видеть, а красивые животные, сами по себе, поодиночке пришли сюда на водопой, собрались тут вместе и теперь смотрели вдаль, прислушиваясь и зорко приглядываясь, принюхиваясь к недвижимому воздуху. Рогатые головы их были высоко и горделиво подняты, и чудилось, будто коровы эти способны при малейшей опасности стремглав умчаться лосиной рысью за голые бугры к далекому лесу.

Улыбка поползла у меня по щекам, когда я подумал так о коровах, и только тут увидел двух пастухов, которые лежали на сухом бугорке. Они были близко и видели, конечно, меня, спящего.

— Гроза, что ль? — спросил я, глядя в небо.

Один из них, босой, не услышав, читал газету, а другой — в кепочке, надвинутой на брови, откликнулся охотно:

— Слышно было, шархнул гром... Выспался? Или гром разбудил?

— Хорошо, что разбудил, — ответил я. — Сгорел бы тут совсем. — И пошел к ним знакомиться.

Тот, что газету читал, был, видимо, глуховат, взгляд его мутных, голубых глаз напряженно ощупывал каждое мое слово, и, наверное, не все он понял из того, что я говорил. Впрочем, это и неинтересно ему стало, потому что он вскоре снова уткнулся в свою газету и уже не прислушивался. Босые его ноги, большие и словно бы топором тесанные, высунувшись по щиколотку из помятых в сапогах брючин, в каком-то отрешенном блаженстве тихонечко терлись пятками друг о дружку, и звук от этого получался такой, как если бы кто-то ножичек поблизости точил о наждак, аккуратно и остороженько. Резиновые сапоги стояли рядом.

— Быка-то в стаде нет? — спросил я на всякий случай у того, что был помоложе.

Он с добрым желанием отвечал мне, что быка в стаде нет оттого, что теперь у них в совхозе искусственное идет осеменение, а бык, дескать, был, да вот отвезли в позапрошлом году на бойню.

— Ох, бычина был! — говорил он, вспоминая охотно. — Иной раз и не подойдешь близко. Гонял! Топтать не топтал, а разбежится, бывало, напугает и отойдет, а сам мыкает, как пароход: сипло так. Страшно! Нам и то страшно. А тут теперь у нас кругом понастроили... Выпасов хороших нет — все в лесу да в лесу. А в лесу — ребятишки. Считай, что тут теперь вроде бы зона отдыха у нас. Туристов много, дачников... Дом отдыха есть и, конечно, пионерлагеря. А выпасов-то нет. Вот и крутись. Стадо у нас молодое. Да и это скоро, говорят, ликвидируют. Говорил тут директор, что, видно, придется на будущий год ликвидировать стадо... Пионерлагерей много... Один дом отдыха есть уже, а другой вот, вроде бы двенадцатизэтажный, строить собираются. Тут — свекла, там — овес или капуста, выпасов-то нет...

— Парк, значит? — спросил я.

— Не-ет, не парк! Совхоз как совхоз, и все, как теперь, только совхоз овощеводческий будет. Огурцы там всякие, помидоры в столицу... Кабачки. Такое дело. Зона отдыха.

— Кому зона отдыха, — сказал я, — а кому труда.

— Это как везде.

— Придумали тоже! — сказал я, решив испытать его на слове. — Зона отдыха! Какая такая зона?

Он подумал и ответил:

— А чего? Нормально.

— Зон всяких много: запретная зона, лесопарковая зона, зона отдыха... Зона! Что за слово такое?! Ты, значит, например, в зоне жить, что ль, будешь? А я не в зоне, да?

— Выходит, что так... — Он усмехнулся понимающе. — Не в этом дело. Это просто для понятия чтобы было... Ну — зона отдыха. Понятно так — что для чего. Ну, дом отдыха там, пионерский лагерь, базы всякие туристские, рыбацкие, охотничьи... Вот. Колючей-то проволокой не будут огораживать, верно? Ну вот... А там хоть как назови. Зона или район. Как жили, так и будем жить. Коров вот только ликвидируем в хозяйстве.

Был он черноглазый и скуластенький, пиджачишко надет прямо на майку, кепчонка на глаза, лицо на вид злое, недоброе, а он словно бы знал о недобром своем выражении, о тугих ноздрях, придававших угрюмость и жестокость лицу, и все время старался говорить с улыбкой, голосом источая душевное добро и нежность. С таким человеком не успеешь познакомиться — и вроде бы готов говорить обо всем на свете. Первое впечатле-

ние угрюмости и злости исчезает бесследно, странно даже подумать, что наперво он показался тебе недобрым.

— Не обойдешься, — сказал он со вздохом.

И я понял, к чему он это сказал, потому что в молчании он задумался об этом казенном слове, вспоминая другие слова, и, видимо, не вспомнил такого, которым бы можно было заменить «зону».

— Ничего, — сказал я ему с утешением. — Найдется кто-нибудь, придумает. Язык молодой, богатый... есть даже на нашем лице места, которые вообще никак не называются. Не придумали.

— Это что такие за места? — удивленно спросил он.

— Ну вот верхняя губа, например, так? А выше что? Под носом? Вот эта впадинка над губой, ложбинка эта... Как она называется?

— Ты гляди! Вот уж да! А можно сопливницей назвать! Сопли по ней текут...

И он засмеялся, довольный, будто остров неведомый открыл в океане и название ему дал.

— Нехорошо звучит, — усомнился я в находке.

— Зато верно!

Он толкнул ногой своего немолодого, глуховатого товарища и озорно крикнул ему:

— Эй, Егор! Где у тебя сопливница?

— Чего?

— Во, глухой! Вот это вот место, — он ткнул себе пальцем под нос, — как называется?

— Какое место?

— Вот это... Видишь? Вот. Под носом у нас, над губой...

— Чего?

Мы оба рассмеялись и оставили в покое пожилого человека, которого отвлекли от чтения газеты.

— Глухой, — сказал о нем черноглазый. — Если чего непонятное говоришь, не слышит. Понятное — слышит. А спросишь непонятное — не слышит. Чего-чего, — передразнил он его без злости. — Какую газету читаешь? Не «Красную звезду» ли?

А Егор и сам не знал, какую он газету читает, стал ее переворачивать, заглядывая на первую страницу.

— Чего ж ты читаешь-то! — возмутился черноглазый. — Это же газета-то старая, еще вон когда... март месяц. А вчера «Красную звезду» не купил? Вчера в «Красной звезде» было такое сообщение, — обратился он ко мне. — Мне тут говорили, значит... Сообщение такое было, что на самолете мотор отказал или еще чего... Не в этом дело... Люди спаслись. Трое спаслись. Упал самолет, а они спаслись... Как сумели?! — воскликнул он, хлопнув себя по колену. — Вот что интересно почитать-то! Чего ж ты вчера не купил газету-то? — спросил он у Егора. — Когда не надо, берешь, а когда надо — старую читаешь. Где ты ее подобрал?

А Егор, ощупывая его блеклыми глазами, зевнул и ответил, лениво махнув рукой в сторону бугра:

— Там, когда шли.

— Ну и чего пишут?

— Ничего.

— Ну вот... Вчера такая интересная газета была, а ты не купил! Эх, Егор, Егор! Сейчас бы почитали вслух.

— Вот зараза! — тихо сказал Егор. — На свеклу пошла.

Мы оглянулись и увидели корову, которая, словно бы понимая, что мы увлечены беседой, ходко шла к свекольному полю.

— Володьк, сбегай, а? — попросил Егор.

— Во, — встрепенулся черноглазый Володька, которому, наверное, лет сорок было. — Точно! Я ее сейчас по сопатке, дуру! — заорал он благим

матом и, вскочив, подхватил палку и побежал наперерез корове. — Куда пошла... Назад!

Корова остановилась, привычная к его хлесткому голосу, а он издали, не подбежав, запустил в нее ореховую палку, и палка, пропеллером прокрутившись в воздухе, упала в траву неподалеку от коровы. Черно-пегая развернулась и вскачь, как лошадь, кинулась обратно к стаду.

— У-у, собака! — кричал Володька, идя за палкой. — Я тебе покажу ботву, ты у меня подавишься ботвой, я об тебя палку обломаю, зараза толстозадая!

Разомлевшее море было все так же недвижимо и воздушно. Слабая надежда на грозу, на дождь давно уже развеялась, как и сама тучка, неведомо почему громыхнувшая в испепеленном, знойном небе... Собственно, это и не тучка теперь была, а высокое кучевое облако с сизым дымчатым доньшком. Оно даже солнца не прикрыло, проходя над сухим бережком, но из него, как это ни странно, посыпались вдруг, посверкивая на солнце, тяжелые и очень редкие капли. Одна сочно и мягко поцеловала меня в щеку, другая стукнула по ноге, третья скользнула по плечу, и дождь кончился.

А Володька, подобрав в траве свою палку, подошел к воде и вперился взглядом в пространство.

— Во дождь! Это дождь! — крикнул он радостно. — Одна капля по шее стукнула, а десять других мимо. «Первая пуля ранила меня!» — загорланил он во всю мощь своей груди. — Эй, слушай, как тебя! — крикнул он мне. — Это твоя тут фляжка, что ль? Белая.

— Нет, — отозвался я. — Кто-то бросил.

Володька фляжку пнул сначала ногой, словно проверял, не взорвется ли, а потом поднял и, идя к нам на бугорок, отвернул на ходу крышечку.

— Из-под вина, что ль? — с сомнением сказал он принюхиваясь.

— Нет, — сказал я. — Там тормозная жидкость была.

А он уж так приподнял фляжку, что я подумал — попробовать на вкус собирается.

— Не вздумай, — сказал я ему. — Это отравка страшная.

Володька посмотрел на меня с усмешкой.

— Чего там! Тут и нет ничего. Вино пахнет. Настойкой.

Он покрутил в руках фляжку и, довольный, продолжал, смешно подворачивая в улыбке короткий свой носик с упругими и резкими ноздрями:

— Чего ты говоришь — отравка? Ничего не отравка. Я ее пил, когда на дизеле работал. Сольешь, а в систему воды... Ничего! Спирт. «Тормозуха».

— Бутиловый, — сказал я, не веря ему.

— Бутиловый, точно, — согласился он и завинтил крышечку.

— С ума сойти! Ты ведь травяешь себя! Это ж яд!

— Сейчас-то я не пью. Это, когда помоложе был, — случалось. Когда на дизеле работал, на Печоре. Это, конечно, не дело, чего говорить. А по молодости чего не бывает? Сольешь, а систему водой пополнишь. Держат. Ну, конечно, легковую машину или, допустим, свою собственную нельзя. Не дело. На шоссе где-нибудь... Где народ. Как без тормозов? А там, на Печоре, было дело. Чего говорить! Дело прошлое. Теперь вот отмою фляжечку, буду чай в ней сладкий носить. А малина поспеет, с малиной буду чай делать. Малины тут у нас хватает. А насчет того, что яд, — все яд. Сигарету куришь — яд. У нас организм к ядам давно приучен. Вот я думаю, укуси меня ядовитая змея, а я все равно не подохну. Организм мой потому что с ядами этими запросто. Приучен, в общем. Чего там говорить! Это только пишут, что яд, чтоб не пили. А какой это яд? Ну яд, конечно! Если много выпить, литра полтора. Тогда конечно. А вот похмелиться — ничего не будет. Верно я говорю, Егор? — крикнул он, хлопнув товарища своего фляжкой по жилистой ягодице.

Тот отвлекся от чтения, взял фляжку в руки, оглядел ее со всех сторон, подумал над ней и отдал молча Володьке.

— Фляжка? — спросил он.

— Нашел, Егорушка, фляжку, — ответил Володька. — Будем чай холодный теперь с тобой пить. С малиной.

— Хорошо.

— Хорошо-то хорошо! А вот газету вчера не купил, «Красную звезду», — это плохо. Покою мне не дают люди те, которые спаслись. Я еще читал однажды книжку, как один летчик во время войны спрыгнул с самолета на парашюте, а парашют не раскрылся. Упал в овраг и живой остался. Снегу было много. Он и не убили. Камнем падал, а не убили. Спасся. А вот как же эти-то спаслись, трое? Вот что интересно! Надо раздобыть газету, почитать. — Он посмотрел на меня восторженно и сказал с беспокойством и какой-то завистью к тем чудом спасенным людям: — Ведь вот как в жизни бывает! Тебе смерть на роду написана. Вот она, прямо в глаза тебе глядит, а ты спасся. Говорят, кто спасся, тот сто лет проживет.

— Не приходилось, — сказал я, — не знаю.

И тоже в свою очередь рассказал про один случай спасения, когда сам человек выбрал себе смерть, спасая друга, а суждено было случиться так, что человек этот в живых остался, а друг погиб.

Слушал меня Володька внимательно, как ребенок, а потом удивленно и недоверчиво спросил, словно ничего не понял из моего рассказа:

— Ну как же так случилось?

— Я ж говорю, он другу, штурману своему, приказал прыгать с парашютом, а сам подбитую машину хотел посадить на лес. Почти наверняка смерть, но тянул на высоте, пока друг выпрыгивал, а самому уж некогда было, высоты, может быть, не хватало уже. Друг-то выпрыгнул, а он пошел на снижение, прямо на лес. Болота кругом и лес. Лес гнилой оказался: самолет его, как спички, ломал... Скорость погасла, и сел. Вернее, упал, но пилот живым остался. Вылезает из кабины...

— Ай-яй-яй! — воскликнул Володька. — Понятно теперь. Так прямо за хвост и прицепился парашютом, да? Побился об лес — и, конечно, мертвый...

— Так вот рассказывали мне, да, — сказал я с благодарностью за то внимание, с каким слушал меня Володька.

— Понятно. Зря он его прыгать заставил.

— Почему же зря? Он сам-то не рассчитывал в живых остаться. Он думал, что на парашюте друг обязательно спасется. Не знал, что тот за хвост зацепится.

— Это понятно, — сказал Володька задумчиво. — Вот видишь, как бывает. Интересный случай. Я такого еще никогда не слышал. А самолет-то их горел, что ль, или нет?

— Не знаю, может, и горел.

— Вряд ли! Он бы взорвался, когда лес ломал. Может, рули перешибло или еще что... Может, по прямой мог лететь, а если по прямой бы полетели, там, может, немцы. Куда полетишь?! Конечно, правильно все — надо садиться на своей территории. Ты слышал, Егор, какой случай? А?

— Всякое случалось на войне, — отозвался Егор, и я понял, что он все прекрасно слышал, хотя я и негромко рассказывал, не для него, потому что он, как я понимал, читал свою пожелтевшую, высохшую на солнце газету.

— А вот интересно! — воскликнул Володька. — Как же те трое-то спаслись? Прямо хоть беги домой и разыскивай газету. Вот мучает меня этот вопрос.

Лицо Егора поползло в сонливой улыбке, глазки его голубые сощурились, посветлели в мокрых щелках век, и он сказал свое, наверное, привычное уже изречение:

— Любопытный ты, Володька, как баба.

— Я любопытный?! Не-ка. Это у меня не от любопытства. Не-ка. Я это думаю так о жизни. Вот услышу, кто-то из людей от смерти спасся, и

на душе веселей. Не любопытство это вовсе. Характер у меня такой. Если долго не слышу, что кто-то спасся, — плохо. Настроение плохое, выпить хочется от тоски. И не верю ни во что. А вот услышу — все в порядке. Можно дальше жить. — Он засмеялся вдруг и погрозил Егору: — А ты, гляжу, глухой-глухой, а все слышишь! Иду по правой стороне стада, а он по левой, корова с его стороны отстала, а он не замечает. Кричишь ему, не слышит! А тут все слышит.

Егор обиженно ответил:

— Я по губам слышу, чего говорит человек. Когда ты рядом, я тебя всего слышу, а в поле ты орешь, так я думаю, ты на корову орешь. Я ведь губ-то твоих не вижу.

— Вот хитрый-то мужик! Вот хитрый. Хи-итрый!

И знакомые мои заспорили, кто из них хитрый, а кто нет. И не одному из них не хотелось, чтоб подумали о нем как о хитром человеке. Никому не хотелось быть хитрым. Да и на самом деле, что еще так губит душу человеческую, если не хитрость, от которой до лжи и подлости один всего шаг, а в лихой час и того меньше.

Спорили они, спорили и стали уже злиться друг на друга. Смотреть на них и слушать было и грустно, и радостно, словно они нарочно решили повеселить меня своей наивностью и той удивительной, первозданной, чудом сохранившейся в них верой в чистую душу человека, в его бесхитростность и высокую честность. Будто не было на свете большего позора для них, чем прослыть хитрым человеком.

Когда я так подумал, в голову мне пришла странная и неожиданная мысль. «Бог ты мой! — подумал я в тревоге. — Как легко их можно обмануть!» И веселость моя пропала.

А они поссорились не на шутку. Егор поднялся, окинул белесым взглядом щуплого товарища и, сунув босые ноги в резиновые сапоги, которые раскалились, видимо, на солнце, плюнул презрительно и пошел к стаду, а голенища размякших сапог жиденько пошлепывали его по ногам. Газету он сложил и сунул в карман.

— Тяжело мне с ним, — сказал Володька в сердцах. — То глухим прикидывается, то вдруг слышит все. Разве можно работать с таким вместе?

И, подхватив фляжку и палку, не попрощавшись, пошел следом.

— Пора двигаться, — крикнул он мне и улыбнулся, сгоняя хмарь и злобу с лица.

Солнце давно уже перевалило зенит, и теперь трудно было смотреть на море — все оно сияло перед глазами, горело белым, отраженным огнем, а голубая моя лодка словно бы почернела и обуглилась в этом расплавленном сверкании.

Берег скоро опустел. Солнце нежно освещало косыми лучами мягкие бугры, затянутые общипанной травой, зеленую осоку, где недавно лежали коровы, и бережок мой уже не казался мне таким неприятным и загаженным, как в полдень. Земля остывала, и я чувствовал ее прохладу босыми ногами. Берег стал зеленым, каждая травинка, освещенная солнцем, отбрасывала зеленую маленькую тень на соседний стебелек или листик, и каждый стебелек светился прозрачной зеленой своей кровью. Трава казалась сочной и курчавой. А в недвижимом воздухе все еще пахло теплым молоком и коровами, которые ушли в далекий лес.

Я подумал, что надо бы сжечь тряпку и картонный фильтр, набитый черной масляной грязью, но представил себе вдруг пламя, которое черной копотью будет лизать душистый воздух, отравляя все вокруг зловоньем, и решил все это закопать, когда придет сюда наконец мой друг, и мы уплывем с ним на лодке в это сверкающее, тихое море, которое, казалось, сожгло сейчас все свои острова и дальний берег.

АННА БАРКОВА: СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

В этом году Анне Александровне Барковой исполнилось бы сто лет (родилась 16 июля 1901 года, умерла 29 апреля 1976 года).

К настоящему времени довольно отчетливо определилась ее литературная репутация, связанная с тюремно-каторжными превратностями минувшего века. Более тридцати лет жизни под гулаговским знаком: три «лагерных» путешествия (Карлаг, 1935 — 1939; Воркута — Абезь, 1947 — 1956; Озерлаг, 1957 — 1965), административный надзор в Таганроге, в Ростове Великом, Калуге в редкие паузы между отсидками и т. д.

Гулаговская одиссея А. Барковой потрясает, но истинный смысл ее жизни открывается лишь тогда, когда начинаешь понимать экзистенциальную сущность этой судьбы, выстраданный поэтом выбор своего пути.

*Хоть в метелях душа разметалась,
Все отпето в мертвом снегу,
Хоть и мало святынь осталось —
Я последние берегу.*

*Может быть, через пять поколений,
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.*

...Жизнь и творчество Барковой — это своего рода испытание предела независимости личности в условиях кровавого двадцатого столетия. Испытание начинается с самого рождения. Баркова родилась в фабричном, черном от дыма Иваново-Вознесенске, в семье швейцара гимназии, где до нее в раннем возрасте умерло четверо детей. Анна, пятая, единственная выжила, но платой за это стало чувство изначального ужаса бытия. Затем — «инферральная» юность: погружение в мир Достоевского, Ницше, Эдгара По; записи в дневнике от лица «внука подпольного человека». «С восьми лет, — напишет Баркова, вспоминая начало жизни, — одна мечта о величии, славе, власти через духовное творчество».

Казалось бы, в первые годы революции одиночество кончается. В 1922 году увидела свет поэтическая книга Барковой «Женщина» с восторженным предисловием А. В. Луначарского. Ее стихи положительно оценены Блоком и Брюсовым. Кто-то из советских критиков назовет Баркову Жанной д'Арк русской поэзии. Но мало кто тогда понял, что «Женщина» была предвестием такого страшного одиночества, по сравнению с которым все ее прежние «подпольные» настроения окажутся всего лишь романтической грезой сумрачной молодой души.

Бронхиальная астма, хронически мучившая Баркову в лагерные годы, может быть возведена в степень метафоры: пишет, задыхаясь, пишет, кажется, в том безвоздушном пространстве, в котором не могут творить поэты. В ее творчестве мы не найдем грациозной игры с читателем, словесно-образного изыска, таинственного мерцания поэзии серебряного века. Вместо этого — «раскаленный уголь», «сухие слезы», «улыбка дикого смущенья».

Творчество Барковой не только притягивает, но и отталкивает. Его трудно вписать в некий определенный литературный ряд. Баркова слишком «груба»

для традиционной женской поэзии и чересчур серьезна для постмодерна. Не отсюда ли и новый круг одиночества, в котором оказалось ныне ее творчество? Вроде бы все нормально: вышло несколько поэтических сборников Барковой, печатаются исследования о жизни и творчестве поэтессы¹. Но по-прежнему не снята вопрошающая интонация по отношению к ее литературному наследию, заключенная в следующем горьком четверостишии поэтессы:

Вы, наверно, меня не слышали.
Или, может быть, не расслышали.
Говорю на коротком дыханье,
Полузадушенная, осипшая.

В то время, когда писались эти строки (1972 год), «расслышать» Баркову было трудно. Но что сейчас мешает понять ее? Словно, «полузадушенная, осипшая», она и сегодня говорит «с кем-то дальним». Расслышат ли Баркову в наступившем столетии? Кто знает. Но давайте по крайней мере внимательно вчитываться в наследие одного из самых независимых писателей двадцатого века.

* *
*

Ты никогда меня не спросишь,
Любимый недруг, ни о чем,
Улыбки быстрой мне не бросишь,
Не дрогнешь бровью и плечом.
Но будет память встречи каждой
Тебя печалью томить,
И вот захочешь ты однажды
Свою судьбу переломить.
И в буйстве страстного раскола,
И в недозволенной борьбе
Поймешь, о чем забытый голос
Шептал порывисто тебе.
И вспомнишь ты мой нежный ропот
И беспощадный свой запрет,
Не зарастут к былому тропы
Травую пережитых лет.
Немилосердная кручина
Приникнет к твоему плечу,
Но из ревнующей пучины
Уж я к тебе не прилечу.
Не прилечу я, но воспряну
В ответ на поздний твой призыв
И озарю тебя багряным
Далеким пламенем грозы.

1927.

¹ См.: Баркова А. Возвращение. Стихотворения. Иваново, 1990; Баркова А. Избранное. Из гулаговского архива. Иваново, 1992; Баркова А. Поэты свинцового века. Красноярск, 1998; Таганов Л. «Прости мою ночную душу...». Книга об Анне Барковой. 1993; и др.

Наиболее полно творчество А. Барковой будет представлено в томе собраний ее сочинений (стихи, драматургия, проза, письма), выходящем к столетию поэтессы в московском издательстве «Фонд Сергея Дубова».

Стихотворения, составившие настоящую подборку, публикуются впервые.

* *
*

Накричали мы все немало
Восхвалений борьбе и труду.
Слишком долго пламя пылало,
Не проглотить ли немножко льду?
Не достигнули сами цели
И мешаем дойти другим.
Всё горели. И вот — сгорели,
Превратились в пепел и дым.
Безрассудно любя свободу,
Воспитали мы рабский род,
Наготовили хлеба и меду
Для грядущих умных господ.
Народится новая каста,
Беспощадная, словно рок.
Запоздавая трезвость, здравствуй,
Мы простерты у вражеских ног.

11 мая 1931.

* *
*

1

Не гони меня, не гони.
Коротки наши зимние дни.

Отпылала и нас обожгла
Наша белая вешняя мгла.

Не хочу, чтобы кто-то из нас
Охладел, и замолк, и угас.

Чтобы кто-то из нас погасил
Эту вспышку надломленных сил

И последнюю страсть в краю,
Где я горько смеюсь и пою

О любви своей и о том,
Что мы прошлое не вернем.

2

Я искала тебя во сне,
Но пути преграждали мне

То забор глухой, то овраг,
И я вспять обращала шаг.

И услышала голоса:
— Уведут в четыре часа.

Я блуждала в тоскливом бреду:
— Я умру, если не найду!

Если вместе нельзя нам быть,
То мне незачем больше жить!

Ты нужнее, чем воздух и свет,
Без тебя мне и воздуха нет!

И в скитаньях страшного сна
Я теряюсь, больна и одна.

1954.

* *
*

Серый тротуар. Серая пыль.
Как серый тротуар, облака.
В руку надо бы взять костыль,
Потому что усталость тяжка.

Залегла гробовая доска в груди,
Сквозь нее дышать я должна.
А все дыши, через силу иди,
Как всегда, как всегда одна.

21 апреля 1971.

* *
*

Ты напрасно тратишь нервы,
Не наладишь струнный строй,
Скука, скука — друг твой первый,
А молчанье — друг второй.

А друзья, что рядом были,
Каждый в свой пустился путь,
Все они давно уплыли,
И тебе их не вернуть.

Хоть ты их в тетради втиснула,
Хоть они тебе нужны,
Но они в дела записаны
И в архивах сожжены.

И последний, и невольный
Подневольной песни крик
Береги с великой болью,
Береги и в смертный миг.

Ты склоняешься к закату,
Ты уйдешь в ночную тьму,
Песни скованной, распятой
Не пожертвуй никому.

1972.

* *
*

Костер в ночи безбрежной,
Где больше нет дорог,
Зажгли рукой небрежной
Случайность или рок.

В нем сладость, мука, горечь,
И в колдовском чаду,
С годами тяжко споря,
На зов его иду.

3 июля 1973.

* *
*

И в близости сердца так одиноки,
Как без живых космическая ночь.
Из отдаленных вышли мы истоков,
На миг слились — и прочь, и снова прочь.
И каждый там пройдет, в своем просторе,
В пустом, где умирают все лучи.
Мы вновь сольемся в равнодушном море,
Где нас не разлучить, не разлучить.

8 июля 1973.

* *
*

Да, я смешна, невзрачна,
Нелепы жест и речь,
Но сердце жаждет мрачно
Обжечься и зажечь.

1973.

Эмигранты

Эмигранты внутренние, внешние,
Все мы эмигранты навсегда.
Чем бы мы порой себя ни тешили,
Гаснет дружба и растет вражда.

Эмигранты внутренние, внешние,
Не зовут нас и не ждут нигде —
Лишь в одном отечестве нездешнем,
На незародившейся звезде.

1974.

Заклятие

Я в глаза твои загляну,
Я тебя навсегда заляну.
Ты не сможешь меня забыть
И тоску обо мне избыть.

Я с туманом — в окно — в твой дом
И в тумане истаю седом.
Ты пройдешь по знакомым местам
И услышишь мой голос там.

В переулках темных, глухих
Ты услышишь вот эти стихи.
И увидишь: я жду на углу
И рассеюсь в вечернюю мглу.

Я тебя навсегда заляну.
Я в твоём, ты в моём плену.

1974.

* *
*

Я сама, наверно, кому-то приснилась,
И кто-то, наверно, проснется сейчас.
Оттого на душе больная уньлость...
Кто проснется? Кто встретит рассветный час?
Кто припомнит сон тяжелый и смутный
И спросит: а сон этот был ли сном?
Кто проснется в комнате неприютной,
Словно в тумане холодном речном?

8 октября 1975.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ ЕЕ И ЛЮБИЛ ИСКРЕННО...»

Эпистолярный дневник Ивана Ювачева

Имя религиозного публициста и мемуариста Ивана Павловича Ювачева (1860 — 1940) ничего не говорит большинству читателей, но хорошо известно в кругу специалистов и почитателей его сына, Даниила Ивановича Ювачева, поэта Даниила Хармса.

Личный фонд Ивана Ювачева с 1939 года находится в Государственном архиве Тверской области (ГАТО). Это довольно странное обстоятельство вызывает по крайней мере два вопроса: каким образом документы личного архива еще при жизни владельца попали в государственное хранилище и почему именно в Тверь? На первый вопрос можно ответить лишь предположительно. Наиболее вероятно, что изъятие документов было связано с арестом Даниила Хармса в декабре 1931 года. По словам его сестры, Елизаветы Ивановны Грицыной, «пришли ночью, сделали обыск, многое унесли с собой»¹. Эта версия подтверждается и историей фондообразования, из которой явствует, что документы Ювачева с 1934 по 1939 год находились в секретном отделе Московского областного архива, но на учете не состояли. Судя по помете «НКВД» против некоторых номеров в описи, материалы, показавшиеся крамольными, были отобраны, а прочие отброшены за ненадобностью. Но принявшая секретный архив в 1939 году новая заведующая обратила внимание на то, что дореволюционные материалы не имеют прямого отношения к ее ведомству. За этим последовало распоряжение высшего начальства передать документы Ювачева в Исторический архив, но там к ним, видимо, не проявили интереса — и тогда местом хранения был выбран один из ближайших к столице областных городов. Впрочем, вполне вероятно, что существовали другие неизвестные нам причины перемещения фонда.

По своему составу фонд Ювачева в ГАТО уникален. Достаточно хотя бы сказать, что здесь содержится переписка супругов Ювачевых, документирующая ранние годы жизни их сына Даниила². Но не менее интересны те материалы, которые рассказывают о жизни самого Ивана Павловича: письма к родным из Шлиссельбурга и с Сахалина, сахалинские дневники, переписка послекаторжного периода... Знакомство с этими документами дает представление об очень своеобразной и интересной личности.

Уже само происхождение Ивана Ювачева как будто предопределило неординарность его судьбы — он родился в семье придворного полотера. Большая семья была богобоязненной и дружной, а мальчик рос любознательным и скромным. Четырнадцать лет он окончил курс наук в Санкт-Петербургском Владимирском уездном училище и поступил в Техническое училище морского ведомства, где проявлял большие способности к учению. В 1878 году Ювачев вышел из училища в должности кондуктора корпуса флотских штурманов и поступил на службу — сначала в Балтийский, а позже в Черноморский флот. В Николаеве он сошелся с

Вступительная статья *Е. Н. СТРОГАНОВОЙ*, подготовка текста и примечания *Е. Н. СТРОГАНОВОЙ*, *А. И. НОВИКОВОЙ*.

¹ «Елизавета Ивановна Грицына вспоминает. (Литературная запись М. Вишневецкой и А. Герасимовой)». — «Театр», 1991, № 11, стр. 42.

² Более подробно об этом см.: Стrogанова Е. Из ранних лет Даниила Хармса. (Архивные материалы). — «Новое литературное обозрение», 1994, № 6.

группой морских офицеров, принадлежавших к военной организации партии «Народная воля», и, по словам В. Фигнер, был одним из тех, кто отличался «стремительностью революционной пропаганды» среди моряков³. В 1883 году были проведены массовые аресты народолюбцев. Ювачев проходил по «процессу 14-ти», его обвинили «в организации отдельного революционного кружка между морскими офицерами в городе Николаеве»⁴ и приговорили к смертной казни. Но затем последовало высочайшее помилование, и смертный приговор был заменен пятнадцатью годами каторжных работ.

Почти четыре года — до суда и после него — Ювачев провел в одиночном заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. О жизни в одиночном заключении он позже писал, что, опасаясь за рассудок, «старался дисциплинировать» ум и с этой целью читал вслух лекции по своим любимым предметам: математике, физике, астрономии, переводил с английского и французского, занимался классическими языками⁵. В Шлиссельбурге Ювачев после многих лет юношеского «отступничества» обратился к религии. В одном из первых писем к родным из Шлиссельбурга он отвечает на их вопрос, как жил: «Скажу: жил внутреннюю, духовную жизнь. Лишенный внешних картин, в моем воображении рисовал много внутренних. Например, дни, недели, месяцы созерцал построенный храм Божий в моем воображении»⁶. Товарищи по заточению воспринимали его внезапную религиозность как помешательство, Л. Волкенштейн и В. Фигнер называют Ювачева в числе тех, кто в неволе потерял рассудок⁷.

В крепости Ювачев начал писать стихи. Его товарищ по Шлиссельбургским тюремным прогулкам Николай Морозов вспоминал, что стихи — по преимуществу любовные или дружеские послания — писали почти все заключенные народолюбцы⁸. Ювачев в мемуарах говорит, что в тюрьме был период, когда он в течение двух месяцев записывал на аспидную доску по одному или два стихотворения: «Все они были лирического характера и притом очень сентиментальны»⁹. Эти стихи он почти не сохранил в памяти, зато гораздо лучше запомнил свои произведения религиозного содержания. Из таких стихотворений, сочиненных в крепости, затем по дороге на Сахалин и на каторге, он составил книжечку.

На каторге Ювачев провел восемь лет. Чехов, во время своей поездки на Сахалин встретившийся с Ювачевым, назвал его «привилегированным ссыльным». Позже и сам Ювачев в мемуарных очерках «Восемь лет на Сахалине» писал об этой привилегированности, которая, подобно положению других политических ссыльных, была обеспечена их образованностью: сахалинская администрация стремилась с возможной выгодой использовать политических в тех сферах деятельности, которые требовали квалификации или хотя бы грамотности. На положении же Ювачева особо сказывалось и то безусловное смирение, с которым он переносил выпавшие на его долю испытания.

Через пять месяцев после своего прибытия в селение Рыковское Ювачев получил назначение наблюдателем на метеорологическую станцию. Работа эта была ему хорошо знакома, так как ранее в Николаеве он некоторое время служил помощником начальника метеорологической станции. К наблюдениям над климатом Сахалина он относился со всей присущей ему серьезностью и занимался этим са-

³ См.: Фигнер Вера. Избранные произведения. В 4-х томах, т. 2. М., 1933, стр. 96.

⁴ ГАТО, ф. 911, оп. 1, ед. хр. 13, л. 25. (Далее ссылки на фонд Ювачева даются с указанием только единицы хранения.)

⁵ См.: Миролюбов [Ювачев] И. П. В заточении. — «Исторический вестник», 1902, т. 87, стр. 193.

⁶ Письмо от 1 декабря 1886 года. Ед. хр. 3, конв. 1, л. 1).

⁷ См.: «13 лет в Шлиссельбургской крепости. Записки Людмилы Александровны Волкенштейн». [СПб.], [б. г.], стр. 18, 30; Фигнер Вера. Указ. соч., т. 2, стр. 18, 96 — 97.

⁸ См.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. Мемуары. В 2-х томах, т. 2. М., 1961, стр. 445.

⁹ Миролюбов И. П. Указ. соч., стр. 201.

моотверженно и с любовью. Заслуги Ювачева по изучению климата России были отмечены Императорской академией наук, в 1899 году утвердившей его корреспондентом Главной физической обсерватории¹⁰. Склонный к разнообразным занятиям, Ювачев исследовал также флору Сахалина и совершал походы в глубины тайги. При этом он принимал самое деятельное участие в церковной жизни, исполняя должности псаломщика, регента и церковного старосты.

Некоторое представление о характере Ювачева дает своеобразная автоанкета, которую он составил в мае 1893 года: «Попробую ответить на вопросы: моя любимая (теперь) добродетель: любовь, качество у мужчин: рассудительность, у женщин: нежность, доброта, сочувствие. Занятие — исследовать Библию. Отличительная черта: боязнь и сомнение <...> Любимые прозаики: раньше Гюго и Писарев, теперь: Евангелие и Толстой»¹¹. Несмотря на призвание в «боязни и сомнениях», он явно ощущал в себе проповедническое призвание: в его дневниках часто встречаются записи вроде «сегодня много проповедовал». Прежде, занимаясь революционной пропагандой, он увлекал своих слушателей освободительными идеями. Теперь, испытывая чувство вины перед теми, кто пострадал по его вине, он с еще большей энергией стремится нести свет религиозного учения. Причем следование церковным канонам сопровождается желанием самостоятельно познать Слово Божие: одно из его постоянных занятий — собственные «толкования на Библию». Поэтому не случайно ему был близок Толстой, с которым он впоследствии был знаком и дарил свои сочинения (все они сохранились в Яснополянской библиотеке).

Религиозному проповедничеству Ювачев посвятил свою литературную деятельность. Печататься он начал, еще находясь на Сахалине, но более интенсивно занялся литературным трудом по возвращении в Центральную Россию. Свои публикации он подписывал иногда собственным именем, иногда — псевдонимом Мирюлюбов, составленным из девиза «Мир и Любовь» (этот девиз он написал по-древнееврейски на обложке одного из дневников и использовал как начальную формулу в некоторых письмах). Его воспоминания о сахалинской каторге сначала публиковались в журнале «Исторический вестник», а в 1901 году вышли отдельным изданием. В «Историческом вестнике» печатались также мемуары о Шлиссельбургском заточении (отдельно изданы в толстовском издательстве «Посредник» в 1907 году) и некоторые очерки. Самыми плодотворными в писательском смысле были для Ювачева первые годы XX века, когда кроме журнальных очерков вышли его книги «Тайны Царства Небесного» (1902), «Между миром и монастырем. Очерки и рассказы» (1903), «Паломничество в Палестину к Гробу Господню. Очерки путешествия в Константинополь, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет и Грецию» (1904). Последняя из известных нам публикаций Ювачева не имеет никакого отношения к темам его прежних сочинений и носит название «Из воспоминаний старого моряка» («Морской сборник», 1927, № 10).

Полное помилование Ювачеву было даровано в 1899 году, но оно не давало права на жительство в Петербурге (его пришлось специально добиваться) и не помогло ему вернуться во флот, несмотря на многие попытки. С 1903 года началась его чиновничья служба в Управлении государственных сберегательных касс, прерванная 1917 годом.

В 1903 году Ювачев женился на Надежде Ивановне Колюбакиной (1876 — 1928). К моменту встречи у каждого за плечами был нелегкий жизненный опыт: у него — каторга, у нее — трагедия, да такая, что и бумаге боишься передать. Знакомству способствовали дамы из благотворительного тюремного комитета, и произошло оно самым естественным образом: Иван Павлович был вхож в комитет, а Надежда Ивановна занимала должность начальницы Убежища для жен-

¹⁰ Ед. хр. 17, л. 11.

¹¹ Ед. хр. 4, т. II, Дневник № 3, 1892 — 1898, л. 59 об.

цин, освободившихся из тюремного заключения. Были они людьми очень разными, и это несходство характеров и жизненных притязаний с годами проявлялось все сильнее. Сохранившаяся их переписка показывает, сколь непростой оказалась совместная жизнь.

Но сейчас перед нами документ иного рода — свидетельство глубокой привязанности Ювачева к другой женщине — Марии Антоновне Кржижевской. Она приехала на Сахалин по доброй воле, хотела «умереть с каторжными», работала там акушеркой и фельдшерницей, заведовала метеорологической станцией в Рыковском, то есть была непосредственной начальницей Ювачева. Так оно и случилось: в 1892 году она скончалась от чахотки в возрасте 38 лет. Безутешный после ее кончины, он записывает в дневнике: «Мне кажется, я люблю ее и любил искренно, даже страстно»¹².

Все годы своей жизни на Сахалине Ювачев вел дневники. Человек крайне педантичный, он делал записи ежедневно, фиксируя свое умственное, духовное и физическое состояние, особенности своего быта и поведения окружающих его людей. Эти дневники — бесценный материал для воссоздания внутренней жизни сахалинской каторги. По дневниковым записям раскрывается и история взаимоотношений Ювачева с Кржижевской. И едва ли не самым романтическим моментом этих отношений оказывается память о Марии Антоновне после ее кончины. Все дневники испещрены карандашными пометами, соотносящими то или иное событие с кризисными периодами болезни Марии Антоновны и ее смертью. Своего рода теоретическое обоснование подобного восприятия жизни находим в одном из его ранних писем к родным, где высказывается взгляд на «чудеса, описанные в Библии»: «Я так думаю, что верующий человек, внимательно относясь к своей жизни, видит непрестанно множество чудес»¹³. Такие чудеса «непрестанно» старается увидеть он сам, отыскивая в своей жизни всевозможные совпадения, и узловым моментом для подобного рода построений становится смерть Марии Антоновны. В дневниках рядом с прежними записями появляется множество заметок, подобных следующей: «Чрез ббб пох<ороны> М. А.»¹⁴.

Один из дневников имеет эпистолярную форму и содержит переписку Ювачева с Кржижевской. Обстоятельства его появления таковы. Летом 1891 года Ювачев был командирован в «столицу» Сахалина пост Александровский для выполнения ряда заданий, требовавших его профессиональных знаний. Не желая изменять обычая ежедневного самоотчета, он продолжает вести дневник в форме писем к Марии Антоновне и просит сохранить их. После смерти Кржижевской Ювачев соединил под одной обложкой ее и свои письма — так сложился этот необычный роман в письмах, который мы и публикуем.

Память о Марии Антоновне Ювачев свято хранил. 4 сентября 1903 года его молодая жена Надежда Ивановна сообщает в письме, что отслужила панихиду по родителям и Марии Антоновне: «Все они мне дороги, так же как и мои родные, даже гораздо больше, так как ты, мой хороший, для меня все на свете...»¹⁵

В публикации сохранены орфографические, пунктуационные и графические особенности документа, включая и различное написание одних и тех же географических названий и личных имен (напр., Гловацкий — Головацкий и т. п.), исправлены лишь очевидные орфографические и пунктуационные ошибки; все даты приведены по старому стилю. В примечаниях к тексту дневника кроме указанных источников использованы также сведения, содержащиеся в комментариях к книге Чехова «Остров Сахалин» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 14–15. М., 1978).

¹² Запись от 28 сентября 1892 года. Дневник № 3, л. 19 об.

¹³ Письмо от 19 мая 1887 года. Ед. хр. 3, конв. 2, л. 1 об. — 2.

¹⁴ Ед. хр. 4, т. II, Дневник № 2, 1890 — 1892, л. 40 об.

¹⁵ Ед. хр. 2, ч. II, л. 23 об.

Элиэзэр, ибо Бог отца моего мне в помощь.

(Исход, 18: 4)¹.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

5 июля 1891.

Александровский пост.

Слава Богу! благополучно прибыли в Александровку в 9 ч. вечера 2 июля. Благодаря доброму Владимиру Алексеевичу² дорога мне ничего не стоила. Остановился у г.г. Плосских³. Они меня радушно приняли, предложили занять весь второй этаж. На другой день 3 июля поспешил явиться Сергею Николаевичу⁴. Он очень любезно меня принял. Кстати, у него познакомился со многими чиновниками, с которыми придется мне иметь сношения по своим делам. Все они очень внимательны ко мне. Сергей Николаевич взял меня в свой экипаж, и поехали на пристань, показал мне, что надо сделать, и предложил всегда пользоваться лошадейю для поездок на пристань. Я тотчас же поспешил сделать заказы в мастерских и собирать инструменты. Ив<ана> Сем<еновича> Карауловского⁵ нет дома (скоро вернется); его жена, Дарья Ивановна, дала нам мензулу. Она спрашивала о книгах. Мария Антоновна! Вы при случае пришлите мне три книги: о Серафиме, Фому Кемпийского и Погодина⁶ (у Мих<аила> Ник<олаевича> Ренгартена⁷).

Известная Вам Ирина⁸ уехала на материк.

Могу Вам сообщить нечто о Вашей знакомой Акимовой-Калининой. М-те Плосская жила у ней во Владивостоке; и как-то заговорила Акимова, что вот какая хорошая женщина живет в Рыковском — ее подруга Марья Антоновна. София Ильинишна Плосская с своей стороны прибавила, что действительно она слышала много хорошего про Марию Антоновну Кржижевскую от жителей Сахалина. Вдруг как раскричится М-те Калинина: «Да как они, сахалинцы, смеют хвалить Марию Антоновну. Они недостойны даже подумать, помыслить о ней, — так она высока для них».

Софья Ильинишна подтверждает, что Акимова действительно тронулась рассудком.

4 июля опять был у Сергея Николаевича. Он предложил мне помощника чертежника Загарина. Сегодня же приступил к работам, но ветер помешал. Загарин предлагает остановиться у него, но г.г. Плосские не пускают меня. Сама Софья Ильинишна старается оказать мне радушное гостеприимство, хлопочет много на кухне, а теперь со мною поет; у ней прекрасный голос.

Алексей Александрович⁹ вздумал устроить такое дело: просит меня дать ему расписку в получении 35 [40] рублей на расходы по командировке в Александровск. Деньги он прислал мне на квартиру, но я стесняюсь принять их. Ведь не по делам метеорологии я сюда приехал! Сергей Николаевич, я думаю, сам бы нашел возможность дать мне денег на расходы.

5 июля. Сегодня был у меня Владимир Алексеевич. Он очень понравился Софье Ильин<ичне>.

Сильный дождь помешал мне выйти на работу.

Как-то Вы, Мария Антоновна, без большого зонтика?

Скажите, пожалуйста, Александру Лоцину¹⁰, чтобы он в моей комнате на плите сожжет побольше серы и запер двери и окна комнаты на несколько дней. Говорят, что клопы пропадают от серных газов. Только бы сам остерегался, не присутствовал бы при горении. Пятницу провел дома: дождь и ветер. Занимался библейской хронологией¹¹.

В субботу же 6 июля пошел на работы. Сделал мензультную съемку от мыса Жонкиера до устья реки. Вечером был в Церкви. Храм такой же убогий, как когда-то был у нас в казарме тюрьмы¹².

* Позже вписано: «к Начальнику острова».

Мне дан в услужение один человек, кроме 5 постоянных рабочих для съемки. К промеру еще не приступал, хотя Вонифатий Петрович Лукьянов¹³ показывал сегодня хорошие и дурные стороны буксирного морского пароходика «Князь Ник^олай Шаховской»¹⁴. Он очень зарывается, как говорят, на волнах, т. е. заливаает его с носа волною, посему г. Лукьянов приделывает на носу высокий фальшивый борт (фальшборт). Машина — грубая по работе. Пароходик приспособлен главным образом для буксировки, а не для прогулок, как на яхте. Я желаю очень работать, да желаю и праздновать 8 июля¹⁵. Ну, что даст Божия Матерь.

Кланяюсь Надежде Михайловне¹⁶, Феодору Никифоровичу¹⁷ и всем знакомым. На почте мне нет ни писем, ни посылок.

7 июля. Сегодня хочу поминать того, «кто жил и умер за идею свободы, правды и любви, как Первозванному Андрею свет царства вечного яви». Кстати о стихотворениях. Не послать ли нам с доктором книжку со стихотворениями в С.-Петербург к родным?¹⁸ Может быть, они найдут нужным кое-что из них поведать и другим простым религиозным людям? Только надо бы на всякий случай оставить копию с них у нас.

Сделали ли ящик для моих книг? У меня теперь денег с лишком 50 рублей; а Вы знаете, как опасно иметь мне много денег! то 20 рублей я посылаю спрятать, а 4 рубля для Ваших слуг (рубель я уже дал Лоцину). Напишите, Мария Антоновна, как подвигается окраска и вообще поправка Церкви. Как Ваше здоровье? Чем занимаетесь? Слава Богу! Перемена места, хождение по берегу моря, работа под солнцем, болтовня со знакомыми — все это, что так обыкновенно тяжело на мне отзывается, теперь ничего: и голова не болит, и чувствую себя бодрым.

Поддержите здоровье и Вы, Мария Ант^оновна, прогулками к Надежде Михайловне, или на мост, или с кем-нибудь в лес. Пожалуйста, не стесняйтесь с отчетом: времени у меня между делом еще пока много есть. Молитесь за меня.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под Кровом Твоим.

Ваш Иван Павлович,
искренний слуга Ваш.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

Селение Александровское.

Многоуважаемая и дорогая Мария Антоновна! Как-то Ваше здоровье? Как Вы поживаете? Я до сих пор ничего не знаю от Вас: Вы не пишете. Мое письмо чрез Владимира Алексеевича оканчивалось 8-м июлем. (Пожалуйста, берегите мои письма: они послужат мне моим дневником, который я в суэтах не веду отдельно). Не знаю, как-то Вы провели храмовой праздник, а я только что прихожу домой после обедни, как застаю у себя гостей: механика Вонифатия Петр^овича Лукьянова и Петра Кирил^овича Игнатьева¹⁹, которые пришли просить меня съездить с ними в Де-Кастри²⁰. Вечером поехали определять девиацию, но бурная погода и недостаток в инструментах помешали нам повернуть свой компас, который ужасно погрешает, будучи обставлен кругом железом машины. Во вторник 9 июля был на маяке, где принимают всегда меня с таким радушием, а потом делал съемку мензулой. Утром сегодня получаю с «Байкала»²¹ письмо от товарища Ант^она Ник^ифоровича Моисеева, чтобы я поспешил приехать к нему, но... опоздал. Вместо «Байкала» попал на «Стрелок»²², где познакомился с командиром Эриксоном и его помощником Бредихиным²³. Снабдили они меня книгами и лотом.

В среду 10 июля* порешили выехать в море на «Князе Ник^олае» Шаховском». Ветер — ужасный! Волны — страшные! Сергей Николаевич никак не

* Позже вписано на полях: «Епископ Гурий выехал из Владивостока в Камчатку».

хотел пускать нас, и я сам отговаривал, но Петру Кирилловичу надоело ждать погоды, и он настоял отправиться. Но раз отправившись, не захотели вернуться. Сперва были опасения у меня за катер: выдержит ли он волнение, исправна ли будет машина в качку. Оказалось все хорошо. Катер как утка взбирался на волну и как бочка омывался водою. Наши ноги по колени в воде. С головы до ног обдавало нас брызгами. Спасибо Вам за шапку с клеенчатой прокладкой, она удивительно хорошо сохраняла мою голову от воды. Наконец сахалинский берег скрылся из вида. Я всю дорогу стоял на корме и про себя молился, призывая Божию Матерь и Святителя Николая. В кайте нельзя быть. Я спустился одеть ватный сюртук под плащ минут на 10 и то почувствовал неприятное состояние, поэтому все находились наверху. Всю дорогу ничего не ели, кроме некоторых, которые имели в кармане ржаные сухари. Наконец вечером увидели берег материка. По некоторым соображениям я взял курс не прямо на Де-Кастри, а южнее. Если бы я прямо подошел к Де-Кастри, то я все-таки не знал бы, где я, потому что не знаком с очертаниями берегов. Но тут мне Сам Господь помог. Мы подошли к 2-м громадным камням (островам), по которым сразу я узнал, что нахожусь близ островов Святых Константина и Елены. Поблагодаривши в душе этих Равноапостольных, я уже смело повернул к Де-Кастри.

В 10 ч. вечера бросили якорь в виду селения, проплававши 11 часов. На наш свисток приехали 2 телеграфиста (один из них Морозов), которые были так любезны, что предложили свою лодку в наше распоряжение. Поужинавши, поспешили лечь спать. Провизия наша состояла главным образом из консервов и разных закусок и вин. На другой день утром в *четверг 11 июля* я вступил на материк. Зашли на телеграфную станцию, потом я пошел к Церкви (она ремонтируется, полы выкрашены), помолился немного и направился в дом моего товарища Кап<итона> Вас<ильевича> Богданова — штурманского офицера²⁴. Хотя его не было в Де-Кастри, все-таки я осмотрел его помещение, его картины (он художник), поиграл на фис-гармони, написал письмо и отправился на свой пароход. Вдруг получаю приглашение от здешнего офицера (он же и начальник поста) на обед. Хотя костюм у меня был не совсем приличный, однако пошли.

Юлиан Николаевич Бязозор и его супруга Мария Иосифовна оказываются совсем молодые люди, петербуржцы (по происхождению, кажется, он поляк, а она немка), очень милые, гостеприимные, симпатичные²⁵. Вскоре мы очень близко сошлись. Они интересуются литературою и новым учением Толстого. Они были настолько любезны, что предложили нам троим ночевать у них, но я и механик не воспользовались их вниманием. В эту ночь у нас бушевала гроза. Я подумал о Вас, Мария Антоновна, здоровы ли Вы? Ведь до сих пор от Вас никакого известия. Слышал от других, что предлагали ремонтировать Вашу комнату, но Вы побоялись за барометр. Мария Антоновна, ведь Вы лучше меня знаете, как необходимо поправить окна.

В *пятницу 12 июля* я съехал на берег помолиться в одной заброшенной избушке, которую построил какой-то монах и просил жителей поддерживать ее; но она пришла в ветхость. В ней стоит только деревянный крест величиною от полу до потолка и больше ничего. Говорят, что после того, как какой-то доктор позволил сделать в ней вскрытие тела, избушку забросили. Ради пятницы я думал не сходить на берег, но в 4 часа пришел к нам г.г. Бязозоры, и мы поехали в гости на маяк (4 мили от города). Там после разных приключений на дороге нас радушно встретил г-н Спирготин с женою. Обо мне в Де-Кастри так же хорошо знают, как и в Александровке. Вечером вернулись в город, и я опять должен был съехать на берег — провести с Бязозорами последние минуты в Де-Кастри. Жалко было расставаться.

Ночью вышли в море. Сначала погода благоприятствовала. Тихо. Звезды и луна. После полночи засвежел ветер и надвинулся туман. С рассветом в *суббо-*

ту 13 июля* я решил повернуть в тумане прямо на берег, чтобы определить место и идти, так сказать, ощупью вдоль берега. На наше счастье, как только подошли к берегу, туман в одном месте немного рассеялся — и мы увидели селение и людей. Мы стали их звать свистком, а они в ответ стреляли. Вскоре подошла лодка, и сказали нам, что селение их называется Мангач**. Тогда, обрадовавшись, что Бог привел как раз к селению, которые так редки на берегу Сахалина, стали на якорь и завтракали. Через 3 часа пришли в Александровку, где нас давно ждали с нетерпением и опасением.

Немного выспался, потому что целую ночь бодрствовал в плавании и поспешил ко всеобщей благодарить Бога за благополучное плавание. Я попросил священника Попова-Какоулина²⁶ отслужить молебен Казанской иконе Божией Матери. Это было мне приятно еще потому, что Священник сам недавно прибыл из своего прихода, в районе которого числится и де-кастринская Церковь.

В воскресенье 14 июля после обедни ходил с визитом к некоторым знакомым, а вечером — ко всеобщей. Где-то у вас служит батюшка?²⁷ Да и служит ли еще?

В понедельник 15 июля после обедни ходил на реку купаться (память Св. Владимира и Крещения Руси). Остаток дня провел на маяке в гостях. Во вторник 16 июля я вышел на работу. Здесь трудно теперь дожидаться хорошей погоды: тихо — туман, ясно — ветер. Вдруг приходит пароход «Байкал». Я сейчас же поспешил на него и увидел (впервые после ареста) своего товарища по выпуску Антона Никифоровича Моисеева. Там же оказалась еще знакомая Наталья Сергеевна Богданова с 3 детьми — николаевская барышня (Черного моря), а теперь жена товарища в Де-Кастри Богданова, у которого я был в пятницу. Скоро я вернулся на берег, взял Софию Ильиничну, которая для детей захватила громадную бутылку молока, и провели весь день на пароходе в кругу наших знакомых женщин, Ан(тона) Н(икифоровича) Моисеева и командира Лемашевского²⁸. Вы подумаете, какая праздная жизнь у меня! Отчасти правда, хотя многое не от меня зависит. До сих пор нет сделанных вех у меня (веревки не было), да если бы и были — погода мешает. Мария Антоновна, поспешите прислать наблюдения и дайте мне возможность хоть вычислением отчета оказать Вам маленькую услугу. А Вы к тому же, как нарочно, молчите — здоровы ли Вы? тяжело ли ходить Вам в будку? Простите за зонтик — не знаю, с кем его прислать. Сегодня получил письмо Миши²⁹ — прочтите.

Среда 17 июля. Был с утра на съемке. Ветер страшно гудит.

Голубушка, Мария Антоновна! Скажите, что Вам купить в Японии или во Владивостоке? теперь это так удобно!

Моя хозяйка Софья Ильинична — очень интересная женщина. До сих пор еще я не видел такого нервного человека, как она. Стоит вам сказать ей что-нибудь трогательное, как слезы тотчас же появляются в глазах. Вся жизнь ее переполнена многими испытаниями и страданиями.

При всем том она удивляла всех своею добротою и вниманием. Когда ехали на Сахалин, то, исполняя должность сестры милосердия, она заразилась от больных чирьями. Перед тем, как съехать в Александровку, ночью видит сон: огромная икона Мадонны в раме из белых роз, которые распространяют приятный запах. Губы Мадонны зашевелились, и Она три раза сказала тихо: «Не бойся: Я с тобой». Проснулась и чувствует наяву запах роз. Чирья прорвались, и стало легко. С этих пор С(офья) Ильин(ична) перестала быть атеисткой. Со мною была в Церкви раза три.

Ив. П. Ювачев***.

* Позже вписано на полях: «А Епископ Гурий прибыл на Сахалин в Корсак(овский) пост и тотчас же отправился в Камчатку».

** Позже карандашом вписано: «Мгачи».

*** Позже вписано на полях: «через 11 месяцев† М(ария) Ан(оновна)».

Четверг 18 июля. Вчера вечером много думал о Вас — здоровы ли Вы. Я же не смею жаловаться на болезнь, хотя эту ночь почти не спал. Встал в 4 ч. утра и собрался на съемку. До 2-х часов работал с мензулой. Вечером с 4-х до 8-ми опять делал съемку.

Пятница 19 июля. С 6 ч. утра до 2 часов опять работал с мензулой. Самая главная работа на берегу окончена, теперь остается промер на море. Попробовал было сегодня, да пришлось оставить: ветер и волны. Походивши по горам, так устал, что тотчас же заснул, как повалился на кровать.

Наконец Вы меня утешили известием о себе. Я получил телеграмму. Спасибо, мне особенного ничего не надо, разве вот носков пришлите, если найдете, потому что мои старые скоро потрепались. Про какие книги Вы говорите, которые собираетесь прислать с Феодором Никифоровичем? Если те, что я оставил на шкафу (Библия, Евангелие, тетради), то я прошу только сложить их в новый ящик, если его сделали, и хранить у себя же до моего приезда. Здесь мне заниматься некогда, да и перевозить опасаясь. Сейчас пришел от всенощной. Здесь служат не короче нашего; напротив, канон бывает всегда с ирмосами и с катавасией. С 20 по 22 июля — три дня праздники³⁰. Я боюсь работать. Думаю, что Господь подаст успех и в будни. [Неприятно если] Не хотелось бы, чтобы начальство обратило на это внимание. Пожалуй, и Вам не нравится, что я так затягиваю дело. Но Бог милостив. Молю Богородицу защитить меня от всяких неприятностей. До сих пор все Слава Богу! Я бы и сам хотел поскорей, да не от меня зависит. Съемку 2 раза делал!

Вспомнил. Вы, вероятно, говорите о тех книгах Ивана Семеновича Карауловского, о которых писал я чрез Владимира Алексеича («Серафим», Новилля³¹, Погодина, Фомы Кемпийского). Да, эти книги надо прислать. Пожалуй, чрез Лоцина попросите еще для меня на время *английский* Новый Завет у Robert'a Ивановича Вейера³² (если у него есть).

Не надо ли Вам купить посуды?

Суббота 20-го июля. У нас ветер и дождь. Оно и кстати: мне удобнее пойти в Церковь утром и вечером. Вы замечаете, я пишу письма Вам в виде дневника. Это потому, что я не веду его теперь, как в Рыковском. Вы, конечно, будете любезны поберечь эти письма. Надо сделать визиты Карлу Христ³³офоровичу> Лансбергу³³ и Александру Головацкому³⁴: оба приглашали зайти *по делам* каким-то.

После обедни зашел к Карлу Христ³³офоровичу> (сперва побывавши у Сергея Никол³⁴аевича>). Оказывается, он просто желал меня видеть у себя и угостить обедом. До 4-х часов сидели за столом и оживленно беседовали втроем. Ольга Владим³⁵ировна>³⁵ думает, что Вы рассердились на нее, отказываясь приехать к ним (хотя надо правду сказать — у них теперь ремонт дома и, как они говорят, сами стеснились с детьми в двух-трех комнатах).

Вечером ходил ко всенощной.

Воскресенье 21-го июля. Обычно ходил к обедне. Хотел идти в Дуэ³⁶, чтобы побывать на службе протоиерея, но Господь исполнил мою просьбу и в Александровке. Сегодня вечером Протоиерей Виктор³⁷ с собором еще 2-х иереев здешних, с литией, с благословением хлебов служил всенощную по случаю закладки часовни.

Понедельник 22-го июля. После обедни при 3 священниках все вышли на место закладки часовни во имя Св. Николая Чудотворца³⁸. Торжественное богослужение, пение певчих, звон колоколов, военная музыка, речи начальников, непрерываемое ура — все это оживило и взволновало здешнее население. Отец Виктор сказал проповедь о политическом значении России, о русском духе... «даже нигилисты и социалисты с пением тропаря „Спаси, Господи“ под знаменами бросаются на врагов»... ([вероятно] в Турецкую войну был такой факт?!). Говорил о великом и знаменательном принципе монархической влас-

* Позже вписано перед началом письма: «Епископ Гурий прибыл в Петропавловск».

ти. Но замечательно, там, где много веселья и шума, мне как-то грустно. Мне кажется под этим наружным веселием что-то напускное, неестественное. Я вам пишу эти строки, а рядом на участке у Сергея Никол<евича> обед парадный. Музыка гремит на все селение. [Я думаю] Главный сахалинский элемент — каторжные — официально не участвовали в этом торжестве (были, может быть, случайные посетители, как я, например). Вся прелесть праздника выпала на долю начальства. Что остается рабочим³⁹? Я думаю, их удел — скрытое богатство милостей Божиих по молитвам Св. Николая. Начальники теперь, а рабочие потом будут пользоваться утешением в часовне нашего молитвенника⁴⁰.

Вечер просидел дома в ожидании Арсения Михайловича⁴¹ и просматривал Навигацию и Астрономию. Но не дождался. *Вторник, 23 июля*, с утра побежал в мастерские. Вонифатий Петрович Лукьянов угостил завтраком, поговорили об устройстве катера и инструментов, и я поспешил к Арсению Михайловичу, но он был так любезен, что предупредил меня и пошел разыскивать в канцелярии, где я живу, чтобы прислать пакет. Теперь я читаю Ваше письмо, давно желанное.

Мария Антоновна! ведь я умышленно прислал деньги, потому что я предвижу там, в Рыковском, расходы, а здесь они у меня могут легко разойтись — сами знаете! О жалованье поэтому я не хлопочу: где-нибудь получу, а теперь пока не надо. Г-м Плосским я дал вперед 15 рублей. Они говорят, что это очень много; возьмут с меня то, что придется по раскладке на 4 человек. Говорят, что не больше 5 рублей в месяц.

Голубушка Мария Антоновна! Не мучьте себя вышиванием. И то уже много, что сошьете рубахи. К чему вышивать? Им еще труднее будет принять Ваш подарок. Впрочем, я не буду с ними церемониться, если не возьмут, то пришлите ко мне сюда 2 рубашки. Я буду Вам очень благодарен.

Благодарю за любезность доктора. Всех пришлите, которых у Вас много. Необходимо, конечно, хины — сколько можете. Побольше «животных» капель. От цинги, от лихорадки, ревматизма и простуды. Мне лично — веротриону, распайловой воды, касторки и других слабительных. Вы лучше сами знаете, какие болезни чаще встречаются. На север, кажется, скоро отправляемся. О часах не беспокойтесь. Я уже говорил с В. П. Лукьяновым. Теперь спешу отправить это письмо и, Бог даст, примусь за отчет. Будьте здоровы. Да благословит Вас Господь, да сохранит Царица Небесная под Кровом Своим в мире и любви!

Ваш покорнейший слуга,
сердечно уважающий Вас
Иван Павлов<ич>.

21 июля.

Слава Богу, что Вы хорошо устроились, Иван Павлович, и что живется Вам не худо! Я очень была недовольна, что Вы прислали мне эти двадцать рублей на сохранение. Подумайте, как неудобно сохранять деньги за шестьдесят верст! При всем моем желании возвратить их Вам поскорее я не могла за неимением случая. На что Вам их сохранять? С церковью Вы в расчете, а потому и тратьте их с спокойною совестью. Арсений Михайлович предлагал мне получить Ваше жалованье, но я отказалась на том основании, что между нами было условлено, что Вы получите сами у Фрикена. Если же Вы у Фрикена стесняетесь спросить, то получите у Арсения Михайловича или напишите мне, я получу и пришлю Вам с Ливиным. Экономию соблюдать будете в Рыковском, а в Александровке неудобно, там всегда может встретиться масса непредвиденных расходов, и лишний рубль никогда не мешает. Представьте себе, что у нас все это время погода стояла тихая и ясная, за исключением 2 — 3 небольших дождей, так что я и не подозревала о Вашей борьбе с ветрами и туманом, как я узнала из сегодняшнего Вашего письма.

Спасибо, что меня не забываете, и простите мое долгое молчание. Сами знаете, какая я лентяйка писать письма, да и писать нечего! Образ жизни мой Вам так хорошо известен! Отпуска я не брала, так как все боли у меня прекратились, осталась только сильная слабость. Хожение в будку меня не утомляет и не затрудняет, а грозы, слава Богу, не было. Хотела подсчитать Вам бланку, да некогда было: все вышивала рубахи. Кстати, напишите маленькую записочку Пильсудскому⁴², что Вы посылаете им 3 рубашки и 3-е подштанников, и записочку пришлите мне. Я скоро, даст Бог, покончу с этой работой и с этой записочкой отошлю. Хоругви давно починила и отправила надзирателю и зонтик себе обтянула, так что в зонтике не нуждаюсь совсем, и Вы, пожалуйста, мне не присылайте. Я Вам говорю правду, и Вы послушайтесь, а может быть, Вам он понадобится, у меня же будет стоять без надобности.

Доктор благодарит Вас за поздравление и с удовольствием готов Вам выслать немного медикаментов, но не знает, чего именно Вам надо. Если стесняетесь назвать медикаменты, то по крайней мере укажите, от каких болезней, он сам сообразит.

Стихи Ваши, конечно, не худо бы отправить родным, это доставит им большое удовольствие, по окончании шитья белья я возьмусь за переписку. Об отказе моем в ремонтировке комнаты Вам совершенно ложно сообщили. Ни одна душа, от кого это зависит, мне ничего не предлагала, и даже намек никакого в разговоре не было. Правда, говорил мне Сцепенский⁴³, что я еще больше болею от квартиры и что мне следует позаботиться о ее исправлении. На это я ему сказала: если бы я была немного здоровее, то отказалась бы совсем от их квартиры и перешла бы к поселенцу, но так как 5 раз в день сюда приходиться не могу, то должна мириться с нею. Ремонтировать они не будут как следует, так как уже два года говорят, что он назначен на слом, ничего не стоит там делать нового, а щепки замазывать не стоит. Да наконец, если ее очистить, то куда же я дену барометр и кто его перенесет? На этом весь разговор и покончился. Сцепенский обещался поговорить об этом с Арсением Михайловичем. Вот и все.

Вы спрашиваете, что мне купить в Японии или во Владивостоке? Спасибо Вам. Но Вы и сами прекрасно знаете, что мне ничего не надо. Впрочем, мне действительно очень нужна одна вещь, так что если возможно будет достать, то хорошо бы было. Я купила у Шван⁴⁴ сифон для зельтерской воды, а приготавливать ее не из чего, а доктора Сцепенский и Сасапарель советуют мне ее пить с молоком. Если возможно будет попросить кого-нибудь купить во Владивостоке в аптеке готовые порошки для приготовления зельтерской воды, то я была бы очень благодарна. Сцепенский говорит, что они дешево стоят, но только надо и наставление взять, как приготавливать.

Сейчас пришла Манефа Петровна⁴⁵ и говорит, что она на днях едет во Владивосток, так я ей заказала уже купить, а потому и не беспокойтесь.

Ящик Ваш не сделан, Вы уже сами поговорите с Ливиным, он скоро едет в Александровку, а мне неохота говорить. Он все что-то не в духе.

Из присланных четырех рублей три я тогда же отдала Лоцину от Вашего имени, а рубль отдам ему позднее тоже от Вас, Емельяше⁴⁶, по-моему, не следует. Просила его также от Вашего имени вывести клопов, но о выкуривании серой ничего не говорила, потому что у нас очень душно было все это время, а главное — это бесполезно. Много раз доктор прибегал к выкуриванию в околотке и никогда не имел успеха. Он обещает вывести сам, раз белит и еще побелит.

Кажется, на все Вам дала ответ, теперь приступлю сама к вопросам. Не мало ли у Вас белья? Мне Лоцин принес одну смену, можно прислать, если нужно. Условились ли Вы с Плоцкими о цене за квартиру и стол? Я слыша-

* На листе сверху приписано: «22 июля. Напишите что-нибудь с Арсением Мих<айло-вичем> и будьте здоровы. Досвидание. Мария».

ла, что с Чернова⁴⁷ они брали по 30 рублей в месяц, для Вас эта сумма слишком велика, так как Вам надо еще и на стирку, и кучеру на чай, да и в дороге подчас понадобится. Я очень рада, что Вы ведете теперь такой оживленный образ жизни. Думаю, что поправитесь здоровьем, да и развлечетесь немного. Я же сижу самым усердным образом дома и работаю, подчас бываю недовольна и гостям, которые, по правде сказать, мне не очень докучают, даже Над<ежда> Мих<айловна> и Манеф<а> Петровна не очень часто ходят, чем я и довольна.

Как Вы думаете, долго ли Вам еще придется пробыть в Александровке? Поедете ли Вы в Погиби⁴⁸ и другой северный порт, забыла его? Надеюсь, что Господь и Матерь Божия помогут Вам, а все лучше бы поскорее съездить и успокоиться. Наш храмовой праздник прошел очень скромно, на площади, между церковью и Малявкиными⁴⁹, отслужил батюшка молебен с акафистом, и только, больше служб у нас и не было. Снаружи церковь уже окрасили, теперь красят фундамент под цвет кирпича с разделениями тоже вроде кирпичей и поправляют крыльцо. Внутри не была, но говорят, что Арсений Михайлович велел-таки оборвать обшивку и замазать все щели глиною, а потом будут обтягивать полотном. Не надеются скоро окончить церковь, так что не скоро еще придется нам побывать у обедни.

Катин⁵⁰ и Скороходов⁵¹ захаживают по праздникам к Емельяну, и он, кажется, довольно любезен с ними. Юрченко принят в богадельню⁵² и уже получает провизию. Больше ничего не знаю. Вы теперь часто видите с Лукьяновым, не найдете ли возможность выручить наши часы, ведь он их держит больше году. Пусть их не поправляет, я отдам кому-нибудь другому, только уж пусть возвратит. Я много раз просила Ливина взять их у него, но он все церемонится.

И пока досвидание. Будьте здоровы, и да сохранит Вас Господь Бог и Божия Матерь от всяких бед и напастей и да пошлет Вам полного успеха в делах.

Преданная Вам
Кржижевская.

Вторник 23 июля. Утром поспешил кончить письма домой родным и Вам, затем принялся искать Арсения Михайловича. Наконец нашел его в управлении Начальника острова. Попросивши его передать Вам письмо, я попрощался с ним, потому что назначено завтра отправляться в море. Вечер просидел за отчетом.

Среда 24 июля. Погода сырая, ветреная. Волны яростно потрясают пристань. Мои спутники собрались на совет. Кроме прежних П. К. Игнатьева и В. П. Лукьянова захотели ехать Алексей Александр<ович> Фон-Фрикен, Менаандр Яковлевич Попов (адъютант)⁵³ и Пав<ел> Алекс<еевич> Фельдман (гимназист)⁵⁴. Я, конечно, не советовал ехать. Алексей Алекс<андрович> отказался от плавания, если вздумают сейчас отправляться. В. П. Лукьянов был такого же мнения. Один П. К. Игнатьев настаивал выходить в море и убедил Сергея Николаевича дать приказание отправляться. Тогда я поднимаюсь и сердитым голосом доказываю им, что никак нельзя выходить при таком сильном NW ветре: все известные бухты для него открыты, значит, пришлось бы трепаться в море. Зачем? Зачем и искать нам другую бухту от NW, когда мы дома стоим спокойно у пристани?! Наконец, при таком сильном прибое трудно пристать к берегу. Тогда решили подождать погоду. Мне показалось, что С. Н. Таскин и П. К. Игнатьев на меня обиделись, посему я, огорченный, пошел домой, помышляя о том, как бы мне вернуться в Рыковское. Кончивши отчет, отнес его к Алекс<ею> Александровичу. Он поспешил сейчас же дать мне жалованье. В 2 ч. погода стихла, и мы опять собрались на пристани, а в 3¹/₂ часа пополудни вышли в море. Встречная зыбь сильно качала нас, но ветер стал переходить от NW к SW. Погода прояснилась. Алекс<сей> Ал<ександ-

рович> Фрикен захотел вынуть двухстволку, чтобы пострелять встречных уток, но... к общему огорчению, прекрасные дорогие стволы полетели за борт! Наконец вечером в 7¹/₄ ч. стали на якорь против селения Хои⁵⁵. Чиновники съехали на берег и ночевали там. Я и механик Лукьянов нашли нужным остаться на пароходе, потому что ветер свежел и зыбь сильно дергала судно. Каждый час в продолжение всей ночи выскакивал наверх смотреть, дрейфует ли нас на берег. Оказалось с рассветом, что мы порядочно подвинулись к берегу, поэтому поспешили свистками пригласить скорей вернуться чиновникам на судно, а в *четверг 25 июля* в 5¹/₂ ч. утра отправились дальше к северу вдоль берега Сахалина. В эту ночь, как потом оказалось, сильный шторм ревел около Александровки — все побаивались за нас. Съехать в следующем селении Трамбаус не могли: волны заставили искать убежище дальше. Подошли к селению> Виахту, стали искать вход в реку. Волны так бурлили на боре, что гиляки с надзирателем селения не осмелились перейти чрез него, а перетащили лодку чрез косу на берег моря и уже отсюда попробовали подойти к нам. Между тем П. К. Игнатьев, желая войти в селение, сам на пароходной шлюпке отправился искать вход, но вернулся, ничего не сделав. Стали просить, чтобы гиляки на своей шлюпке провели кого-нибудь через бор, — бояться. Тогда высадили их на пароход, а посадили на гиляцкую лодку матрос наших с рулевым Проскуряковым, который и сделал промер бора — 5 фут. Опять вопрос — идти или не идти? Я и Проскуряков решили не идти, потому что судно сидит 4¹/₂ фута, следовательно, волна может ударить пароход обо дно. Но наш храбрый командир П. К. Игнатьев* решил идти. В 11¹/₂ часа проскочили полным ходом бор, один раз легко ударивши обо дно. С восторгом бросились в глубину озера, несмотря на то что оно весьма не глубоко даже в прилив. Что же будет в отлив? Но храбрый П. К. Игнатьев ведет все дальше и дальше к самому селению. В 12¹/₂ ч. стали на якорь у самого берега. Все съехали на берег. Потушили огонь в печах, выпустили воду из котла и стали пировать на траве. Устроили из паруса палатку, наложили подстилок и подушек, сварили суп, яйца, поставили самовар, и вышло в полном смысле «возлежание». Потом я поспешил делать съемку озера по берегу, а гимназист Фельдман мне сопровождал на шлюпке. В отлив вечером мы поехали на пароход. Насилу добрались! Где поглубже — там сильное течение, где помельче — едва может шлюпка пройти. Наконец к ужину добрались до парохода, который величественно стоял на мели (был отлив). Ночевали все вповалку на сене в кордоне. Рано утром в *пятницу 26 июля* я поспешил подняться и отправиться с матросами делать промер. Отыскали новый вход поглубже прежнего, поставили на берегу створные знаки — 2 бревна с досками и поспешили вернуться. Ал<ексей> Ал<ександрович> Фрикен снял фотографию с нашего парохода, а затем мы отправились в море, пользуясь приливом в 11 ч. 40 м. утра. В 2³/₄ ч. пополудни подошли к гиляцкому селению Тык. Съехали на берег в гости к гилякам. Их старшина, рослый видный мужчина с сильною проседью⁵⁶, любезно показал нам свою юрту. Это, оказывается, просторная деревянная изба; кругом широкие нары; посредине обширный ящик с песком — очаг; а сверху отверстие. Ал<ексей> Ал<ександрович> Фрикен снял с них фотографию. В 3 ч. 50 м. пополудни отправились на другую сторону лимана амурского⁵⁷, к мысу Екатерины. Здесь на фарватере встретились с пароходом «Михаил Иебсен», который шел из Николаевска в Дуэ. Какая радость! Махали шляпами, свистали, салютовали флагами взаимно, долго провожая друг друга взглядами. В 8 ч. 20 м. стали на якорь у мыса Невельского на ночевку. Так как пришлось всем ночевать на пароходе, то я завернулся в дождевик и лег на машинном кожухе под открытым небом. Спал хорошо до самого утра. Удивительно! Целые дни ходишь в мокрых одеждах, в сапогах с водою, и ничего! здоров, и даже нет насморка. В *субботу 27 июля* утром в 4 ч. 45 м. пошли в селение Уанги⁵⁸. Был ту-

* Потом Сергей Николаевич сделал мне замечание — зачем я позволил ему распоряжаться плаванием.

ман небольшой. Шли, пока возможно было, по лоту. Наконец ткнулись, дальше идти нельзя: мелко, а до селения еще далеко. Бросили его и пошли опять на фарватер лимана к мысу Муравьева на материк. В 9 ч. 25 м. подошли к последнему, конечному, пункту нашей экспедиции, к селению Погоби. Это самое узкое место в Татарском проливе, миль 5 (около 9 верст) от Погоби до мыса Лазарева на материке. Погода нам здесь не очень благоприятствовала. К тому же на кордоне нет ни одной шлюпки, так что пришлось выгребать на своей. Матросы сильно измучились. Ради погоды я переменял место, и стали на якорь по другую сторону мыса. Однако успели на берегу сварить обед и отправились назад по фарватеру в селение Тык. Хотя ветру не было, но волны еще не успокоились от бури, и мы сильно качались. К счастью, публика наша немного привыкла к качке. Бедный Ал<ексей> Александр<ович> Фрикен с начала путешествия все лежал на животе, а гимназист иногда и «травил», как говорят моряки. Но теперь ничего, привыкли. Входя в залив к селению Тык, я немного разобиделся. Рулевой, обыкновенный командир парохода, прославленный моряк, известный осенью двухдневною борьбою с бурей в море, конечно, за собою чувствует известное достоинство и мои приказания, как править, неохотно выполнял. Я не хотел подымать истории, а сошел вниз в каюту. Дескать, если хочешь править — правь один: тут 2 головы не годятся*. Посему вечер скучно провел. Ходил в компании в тунгусское селение. Побывал у хорошенькой молодой тунгуски в гостях (все крещены) и отправился на пароход. Пошел малый дождь, лучше сказать — туман садился каплями. Поужинали и завалились спать. Я опять по-прежнему лег на кожухе, но... ночью сильно прозяб, продрог и спустился в каюту. Снял мокрые сапоги и подвертки, завернулся в пальто и уснул ненадолго, потому что в 4 ч. снялись с якоря и вышли за Тыховский мыс в море в *воскресенье 28 июля*. Ветер затих, волна стала укладываться, и мы по-праздничному спокойно возвращались домой. По дороге зашли в пропущенные селения Трамбаус, Танги и Мгач. Из них Танги — очень красивое селение на реке между горами. У самого берега гиляки, а рядом подальше русские. В Мгаче я обходил дома селения — бедность! Некоторые мужики ушли в Николаевск, бросили больных баб на произвол...

В 5 ч. вечера стали у пристани в Александровке, совершивши около 250 миль плавания. Сергей Николаев<ич> с дамами встречал нас. Публика с любопытством приветствовала, а я поспешил к себе домой в «горницу» обмыться и переодеться. *29 июля в понедельник* пошел на пристань, и вдруг погода тихая-тихая такая, море едва колеблется. Я не утерпел, велел спустить шлюпку и стал делать промер, хотя, может быть, и не понравилось моим матросам, которые располагали отдохнуть⁵⁹. Проработав до 2 часов, я пошел обедать и дал возможность отдохнуть команде.

Вечером сильный отлив помешал выйти из реки, и я принужден был закончить работы на сей день; к тому же встретил на берегу Феодора Никифоровича с Сергеем Ник<олаевичем> и Карлом Христофор<овичем>. Все пошли осматривать пароход «Князь Н<иколай> Шаховской», а потом я с Серг<еем> Ник<олаевичем> вернулся домой. На другой день *30 июля во вторник* утром выехал на катере «Гинце»⁶⁰ в море и поставил-таки наконец первые четыре вехи. За обедом получил от Вас письмо и посылку. Четыре книги Ивана Семеновича и Новый Завет на англ<ийском> языке я получил, но я совершенно не понимаю (забыл), какую книгу Вы спрашивали у отца Александра⁶¹. Если Фому Кемпийского, то эта книга взята Благочинным⁶² в Дуэ. Благодарю за аптеку и Вас, и Доктора. Благодарю за носки. Больше не надо. Не знаю — придется ли и эти носить. Напрасно Вы и Надежда Михайловна так горячо взялись за шитье рубах. Вы лучше бы отдохнули немного. Сегодня я много проповедовал. *31 июля, среда*. По случаю дождя был дома. Писал письма, чертил план и беседовал о вере. В 3 часа пополудни пошел к Феодору Никифоровичу. Застал их за пивом после обеда в обществе Марии Феодоровны⁶³ и г-на

* Потом Начальник острова разъяснил, что я на катере единственный командир без всякого ограничения со стороны чиновников, напр., Игнатьева и др.

Кеслера⁶⁴, потом пришли еще какие-то две барыни. Нового ничего не узнал. Болтали пустяки, и я в 6 ч. вечера поспешил пойти в Церковь. Отец Николай⁶⁵ после Великого Славословия вынес крест для поклонения. Это было очень торжественно.

1 августа. Четверг. После обедни был крестный ход на реку⁶⁶. До обедни и после до 2 часов чертил планы в чертежной с Загариным. Хотя день солнечный, но сильно ветренный, поэтому и на пристань не ходил. Итак, я здесь прожил целый месяц. Жил вполне по-светски. Болтал пустяки. Искал, чем бы занять общество. Ходил в гости. Наряжался. Ел и пил без разбору почти (кроме запрещенных чая, пива, водки и пр.). Спал вволю. Гулял не мало. Вообще прожил так, как бы я не хотел жить. Мало читал Библию. Кажется, ни одной дельной мысли не записал за это время в дневнике-письмах, которые посылаю Вам. Дай Бог хоть выполнить хорошо возложенное на меня поручение. Да и об этом пока не смею много сказать. Все начато, но... *finis coronat opus*^{*}.

Сейчас смотрел море — как в котле кипит! Выдержат ли мои вежи? Хочу пойти к Гловацкому. Мария Антоновна, желаю Вам доброго здоровья, крепости и силы. Будьте в мире и любви. Кланяйтесь Надежде Михайловне, Доктору и всем моим знакомым. Феодор Никифорович говорил, что Вам делают новые рамы. Он думает обмазать снаружи дом глиною. Все-таки лучше будет! До свиданья! Молитесь за меня. Молю и я Бога, чтобы подал Вам силы и здоровья на благое. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под Кровом Твоим в мире и любви.

1891 г.

Ив. П. Ювачев.

Александр<овский>пост на Сахалине.

28 июля.

Как поживаете, Иван Павлович? Съездили ли на север и все ли благополучно? Посылаю Вам книги: Навиля, «Серафима», Погодина и Фому Кемпийского. Спрашивала у батюшки книгу, но он сначала ответил, что сдал Вам, на мое же возражение, что он не сдавал, сказал: ну так надо спросить у Мар<ии> Лаврен<тьевны>⁶⁷. Просила матушку поискать, но результатов никаких не получилось. Все уложила и завязала и сейчас вспомнила, что Новый Завет не уложила. Передам Ливину на руки, спросите у него. Посылаю Вам зубные капли, их же у нас дают и от цинги, только в меньшем количестве, чем от зубной боли, но надо и внутреннее лечение. Затем «животные капли», распайлову воду, касторку и мазь от ревматизма, причем тоже нужно и внутреннее лекарство. Еще 24 порошка хинина, английской соли и глауберовой соли (1 ложка столовая на прием). Да еще веротриновую мазь, которую доктор советует втирать тряпочкой или фланелью.

Сейчас получила Вашу телеграмму, ну и слава Богу! Теперь еще на юг придется съездить? Получили ли жалованье? Белья еще не отправляла, потому что мы решили прибавить еще четвертую рубаху и подштанники, чтобы каждому досталось по смене. Над<ежда> Мих<айловна> уже 4 дня работает у меня с утра до вечера, больше моего сшила, спасибо ей! Нашла Вам только три пары носков, пока обойдитесь ими, к приезду приготовлю.

Про себя ничего не могу сказать. Сижу дома и работаю, хотя болей не чувствую, но слаба.

Спешу отправить пока Ливина и улечься спать. Будьте здоровы, и да сохрани Вас Господь Бог и Божия Матерь от всех бед и напастей.

Преданная Вам
Кржижевская.

Пересмотрите книги, не оставила ли я какой записки.

* Конец венчает дело (лат.).

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

Александровка.

1 августа. Узнав, что Феодор Никиф<орович>, может быть, отправляется сегодня вечером, я поспешил запечатать письмо и отослать к нему, а сам пошел к Ал<ександру> Главацкому. Впопыхах я не обратил внимания, что огарок стеариновой свечи горит просто на столе среди массы бумаг и книг: днем огонь не очень заметен. Прихожу ночью — нет свечки. Шарил, шарил — не нашел. Все спички истратил, искавши. На другой только день узнал, от какого несчастья избавил меня Господь: свечка догорела, стеарин расплылся, загорелся стол и... потух, когда в расстоянии меньше одного вершка кругом лежали бумаги. Долго сидел у Головацкого, смотрел новый барометр. Много рассказывал об Ирине. Бедная! почти все спустила за водку. Теперь она в Хабаровске и... нуждается; впрочем, у Лансберга есть еще несколько сот ее денег.

2 августа. Пятница. Пошел на пристань утром. Там встретил Алексея Александр<овича> и с ним вернулся назад: погода бурная. Записал в <нрзб.> журнал наши плавания в Де-Кастри и к мысу Погоби. После обеда чертил немного план, а вечером пошел на пристань, поставил вехи и сделал 5 линий промера до заката солнца. *3 августа. Суббота.* В эту ночь сильный ветер бушевал от SW и все мои вехи, кажется, разбросал по берегу. Утром в 5 ч. побежал на берег и нашел одну веху в реке. Потом у Загарина чертил план. Занимался немного астрономией. Страшная буря заставила наши катера идти в море. «Шаховской» ушел в Де-Кастри. Всенощной не было: священники разъехались. Вечер провел у Ив<ана> Сем<еновича> Карауловского в беседе о религиозных вопросах. По дороге поговорил на крыльчке с Ольгой Владим<ировной> и Марией Феодоровной.

Воскресенье 4 августа.* Утром с приходом 2-х пароходов побежал на пристань, а оттуда к В. П. Лукьянову завтракать. Получил часы и мои, и Ваши. После обеда до вечера с моими хозяевами ходил в поле, верст за 5, смотреть картофель. По дороге собирали ягоды, пели, болтали. Вечера начал писать Лоцманские заметки. *5 августа, понедельник**.* Проспал. Загарин застал меня в постели [ради]. Бросился на пристань и, пользуясь хорошей погодой, делал промер до 5 часов. Вдруг... простите меня, бедная, добрая, хорошая Мария Антоновна! Меня приглашают ехать на пароходе «Стрелок» в помощь 1-му помощнику Бредихину, потому что командир Эриксон заболел. Придется ехать сегодня в 10 ч. вечера. Путь наш кругом Сахалина в Корсаковский пост⁶⁸, а оттуда в Тихменевский, т. е. в Таройку на восточном берегу⁶⁹. Полагаю, больше недели, но, Бог даст, не больше двух. Молите за меня Бога, пожалуйста. Сегодня я не мог прочесть даже утром в свое время обычных молитв. Надеюсь на милость Божию и мольбы Божией Матери.

Будьте здоровы. Дай Бог Вам, дорогая Мария Антоновна, силы и благодушия в Ваших делах. Отчет может подождать меня в Александровке.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под Кровом Твоим в мире и любви.

Ваш Ювачев Ив. П.

Р. S. Не напишете ли за меня что-нибудь моим родным?!

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

Тихий океан.

Как я Вам, Мария Антоновна, писал в последнем письме — выехал из Александровки на пароходе «Стрелок» в полночь с 5 на 6-е августа. На паро-

* Позже вписано: «Наследник вернулся из путешествия в Красное Село, а Епископ Гурий выехал из Петропавловска».

** Позже вписано: «Иоанн Наумович протоиер<ей>».

ходе кроме служащих был еще и П. К. Игнатъев. Надо нам провизию взять из Корсаковского поста и отвести в Таройку (в пост Тихменева), где предполагается вести телеграфную линию. Командир Иван Март<ынович> Эриксон простудился и лежит болен. Его помощник — Ипполит Петр<ович> Бредихин — молодой человек. Он окончил курс мореходных классов. Еще есть один старичок, который тоже стоит третью вахту с нами, — Эмануил Леонт<ьевич> Кнаст. Я вступил на первую вахту с полночи до 4-х часов утра. Погода серенькая, но тихая. Это был у вас праздник, *вторник 6-е августа*⁷⁰. Днем знакомился с парходом, с морскими книгами. Беседовал с больным Командиром. Спал днем. С полдня до 4-х вечера стоял на вахте — погода серенькая, но тихая. *7-го августа, среда*. С полночи до 4-х утра на вахте. Утром достал лоцию Татарского пролива на английском языке и вместе переводил с Командиром. С 12 до 4-х вечера на вахте. В это время обходили самый южный мыс на Сахалине Крильон. Погода поднялась бурная. Волна океанская высоко поднималась навстречу нам. С нами рядом шел другой парход (в Камчатку уголь вез), «Михаил Иебсен», тот самый, который нам встретился у мыса Екатерины в конце июля. Однако к вечеру, 10 ч., добрались до Корсаковского поста, где обрели тихое пристанище. Но тут другое неудовольствие: Начальник округа Чаплыгин уехал по селениям. Пришлось дожидаться его, тогда как за каждый день казна платит хозяину парохода Шевелеву — 140 руб. и уголь.

*8 августа, четверг**. Приехал Начальник округа, и началась нагрузка муки, крупы, солонины и проч. Приезжали к нам чиновники. Матушка посетила нас⁷¹. Я в 3 — 5 ч. [вечерком] вечера съехал посмотреть Церковь, селение, японцев. Церковь понравилась: чистенькая, много образов, иконостас в 2 яруса. Есть образ Николая в память 17 окт<ября> 1888 г.⁷² Был на японском судне — «Джонка» (старинный тип). В 9 ч. веч<ера> снялись с якоря и отправились в Охотское море, на восточную сторону Сахалина. Я встал на вахту с 8 ч. вечера до полночи. Было тихо.

9 августа, пятница. С 8 ч. утра до полдня на вахте. Занимался астрономическими наблюдениями и вычислениями — очень удачны. С нами поехал инженер Игнатий Иванович Суханевич. Он по берегу Охотского моря хочет [поискать] посмотреть залежи угля. Я его мало знаю. Произвел он на меня [довольно] не совсем хорошее впечатление. Все были недовольны его присутствием, а под конец плавания в Таройке и совсем рассорились⁷³. Между прочим, он предлагал мне на будущий год с ним вместе работать; [ему], т. е. мне, надо было бы сделать для него съемку теодолитом и соответствующие вычисления, но я наотрез отказался. Ночью с 8 до 12 ч. стоял на вахте. *10 августа. Суббота***. Утром в пятом часу пришли к Тихменевскому посту, к устью реки Поронай (Нева)⁷⁴ и стали на якорь. И сколько хлопот было с выгрузкой! Людей русских очень мало — пришлось обратиться к японцам, а они вольный народ — работают, когда хотят. Река имеет очень сильное течение, а навстречу ему [сильная] громадная волна, вследствие чего на боре образуются ужасные буруны, которые опасны для лодки. Я сам едва проехал на судно. Японцы очень живой народ, постоянно смеются, работают с песнями. Их одеяние — на плечах синяя одежда, на голове — платок повязан венком и еще «целомудренный пояс». Но я сегодня получил плохое известие относительно одного моего товарища-офицера, который кончил свою жизнь, склонив голову под колеса машины⁷⁵...

*11 августа. Воскресенье****. Ночью болтались в море. Утром опять стали выгружать провизию. Сколько перепортили муки водою! Иное и совсем потеряли в воде. Сколько хлопот и сколько расходов! — За обедом и долго после обеда разговаривал с Командиром о разных странах. Он много путешествовал

* Позже вписано: «Епископ Гурий приехал к устью реки Тигель».

** Позже вписано: «Еп<ископ> Гурий отправился из Тигеля».

*** Позже внизу страницы написано карандашом: «Кажется, 9 неделя? и Евангелие Мт. 14: 22 — 33»⁷⁶.

по всем частям света и потому может порассказать много интересного. Немного вычислял и писал письмо. Погода пока не удобная для нас. С закатом солнца снялись с якоря и вышли в море малым ходом, а с восходом вернулись опять в Таройку. Я опять стоял на вахте с 8 — 12 ночи. На вахте сильно дремал, наконец сменился с вахты (12 августа. Понедельник), спустился в каюту и лег... Во сне увидел сестру Аннушку⁷⁷, — я проснулся и заплакал: она представилась мне такою жалкою. Вообще я мало сплю, тревожно, со сновидениями. Сегодня утром окончательно выгрузили провизию и отправились около полдня в пост Мануэ⁷⁸ (к югу от Таройки — самое узкое место острова Сахалина). Погода хорошая. Подошли к Мануэ в 9 ч. вечера. Темно, почему ночевали в море, идя малым ходом. Мои вахты: с 8 до 12 днем и ночью. 13 августа*. Вторник — годовщина моего ареста⁷⁹. Не могу умолчать и о сегодняшнем сне. Я видел Наталью Павл<овну>, ее мужа и дочь⁸⁰. Замечательно, дочь ее во сне была взрослой девочкой, т. е. в тех годах, какие она имеет теперь. Бог знает! как они живут... Утром подошли к Мануэ. Приехал к нам штегер горных работ Иванов (он послан обследовать уголь на восточном берегу Сахалина). Молодой человек, веселый, здоровый. С ним мы (я и Петр Кир<иллович>) съезжали на берег. Итак, этот день я провел на берегу Охотского моря или проше — на берегу Великого Океана. В 11 ч. утра снялись (после того, как сдали солдатскую провизию около 500 пудов) и отправились в Александровку. Погода — штиль. Благополучно вошли в пролив Лаперуза по границе Российской империи и в среду 14 августа имели удовольствие плыть в проливе при ясной, тихой, теплой погоде. Море усеяно разнообразными морскими птицами. По временам вдали показываются киты. Около 10 ч. утра подошли к известному камню «опасности»⁸¹ у мыса Крильон. Тут представилось невиданное зрелище! На голом скалистом островке среди открытого моря тысячи громадных животных (сивучи?), как громадные камни, показались нам издали. Когда [мы] приблизились на одну милю от них, мы увидели, что эти громады кишат, как черви, на рифах этого островка. Их рев далеко разносится по морю, как бы морские sireны предупреждают об опасности. Погода — штиль, и это в том месте, где мы 7 августа терпели шторм. Свободное время провожу в беседах с Командиром, здоровье которого быстро поправляется. 15 августа. Четверг. Погода прекрасная. Тихий попутный ветер и легкая волна. Мои вахты по-прежнему с 8 до 12 ч. днем и ночью. Наконец в 10 ч. вечера увидели огонь александровского маяка, а в 3 часа ночи 16 августа в пятницу стояли на якоре напротив пристани. Вскоре пришел за нами паровой катер, а потом и лошади. В 5 ч. утра я уже имел удовольствие читать Ваше письмо у себя в комнате. Относительно поездки в Сертунай (на юг) я ничего Вам не могу сказать. Может быть, и без меня поедут, потому что тут не надо ни компаса, ни штурманского знания, чтобы идти вдоль берега от мыса до мыса. С этим согласился сам Сергей Николаевич, хотя для лоцманских заметок мне надо бы проехаться вблизи берега. Кроме казенных дождевиков здесь не достанете их ни за какие деньги. Хорошие высокие сапоги не спасут от воды на катере, когда обдаст с головы до ног. Опыт показал, что быть мокрым 2 — 3 дня неопасно. Старые моряки советуют, чтобы не простудиться и не заболеть ревматизмом, ложиться спать мокрым, не раздеваясь. Конечно, Вы хорошо сделали, что поспешили найти Дидона⁸². Я Вам скажу, где находится книга Ив<ана> С. Карауловского «Вечная мука грешников» в розовой бумажке. Я ее дал Скороходову, а он поселенцу, который уехал на материк, и книга с ним. Не ищите. Копия таблицы наблюдений у меня. Если 1-е сентября по нов<ому> стилю буду в Александровке, опять Вы пришлите пустые бланки, и я с ними скоро покончу, Бог даст. Жаль, что указать некому относительно некоторых вещей в Церкви. Хорошо бы было нам отпраздновать наше «обновление храма» 22-го октября в храмовой праздник⁸³. Правда, медикаментов для Де-Кастри было не-

* Позже вверху страницы: «Епископ Гурий прибыл в устье р. Гижичи».

много, но я пополнил недостаток лекарствами для души: положил в ящик 5 экземпляров Нового Завета с приличным письмом по сему поводу. Видел сегодня Алексея Александр<овича>, рассказывал о Вашем чудесном сне относительно стволов ружья. Получил Вашу шапку; как раз впору. Сшита очень хорошо, и вид ее изящнее старой. Мне остается за нее целовать Ваши добрые руки.

Итак, прочитавши раза 2 — 3 Ваше письмо, я поспешил хорошенько вымыться с ног до головы (на пароходе от сажи из трубы сильно пачкаешься) и пойти к Сергею Никол<аевичу>. Там, по обычаю, застал полный стол чиновников, но беседовать с ними долго нельзя было: уже звонили к обедне. 15 и 16 августа* — это дни моего обращения к Богу⁸⁴, и потому я с удовольствием поспешил в Церковь и попросил отца Николая отслужить молебен Заступнице Усердной, а он от себя прибавил и Нерукотворенному образу Спаса (сегодн<яшнему> празднику)⁸⁵. После обедни отослал Вам телеграмму и сходил на пристань с секстаном. Теперь, поспав немного, я дописываю Вам это письмо, да надо взять Библию ради праздника моего. За работу, может быть, примусь с понедельника. Мария Антоновна, когда же Вы мне скажете, что Вам купить по хозяйству?

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под Кровом Твоим.

Ив. П. Ювачев**.

10-е августа.

С приездом Вас, Иван Павлович! Хотя сейчас-то Вы и отсутствуете, но надеюсь, что Господь благополучно приведет Вас в Александровку после удачного плавания. Я очень довольна, что Вы поехали на «Стрелке» — отчасти интересно хорошенько ознакомиться с островом, а к тому же Вы развлечетесь и физически больше окрепнете. Очень сожалею только, что погода мешает Вам работать и ветер разбрасывает Ваши веши. Так-то Вам долго придется провозиться с ними, да и скучно не двигаться вперед. Август, конечно, Вы пробудете весь в Александровке, да, пожалуй, захватите и сентябрь? Ведь Вам еще на юг надо съездить? Хорошо бы пораньше съездить, а то наступят холодные ночи, а у Вас и одежды подходящей нет. Если тот дождевик, в который Вы заворачивались, принадлежит Вам, то Вы очень умно сделали, что приобрели его. Хорошо бы было еще Вам купить на пароходах кожаную куртку на фланелевой подкладке да запасти сапоги из хорошего матерьяла, чтобы не промокали. Оно и калоши резиновые не мешало бы купить.

Посылаю Вам шапку, сшитую из лоскутков, а потому очень бесформенную, но по крайней мере чистую, а то я воображаю, на что теперь похожа Ваша старая. Ведь Вы хотели себе купить фуражку с козырьком, потому я раньше и не позаботилась сшить, да без мерки и неудобно, мерила по своей голове, на Вас, пожалуй, будет немного велико. Не надо ли чего Вам сшить, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь.

Отославши белье с Вашей запиской, я почти уже 2 недели отдыхаю и большой работы еще не начинала никакой. Если не примут, то, вероятно, отошлют Вам, ну а Вы можете распорядиться по собственному усмотрению. Вещь недорогая: четверо подштанников и 2 рубахи из бязи, а 2 рубахи только из колленкора.

Не знаю, будете ли Вы на меня в претензии за то, что я дала доктору Дидона. Уж очень ему захотелось его достать, так что он начал самые деятельные розыски. Был у батюшки, у Ливина, требовал Гриценко⁸⁶ к себе, наконец узнал, что ключ у Лоцина, его призвал. Думаю, что же, обратится к

* Позже сверху страницы карандашом: «Чрез 10 месяц<ев> † М<ария> Ант<оновна>».

** Позже вписано на полях: «Еп<ископ> Гурий терпит бедствие на катере около устья Гижичи в ночь с 16 на 17 августа».

Вам, и скажете, что они у меня, тогда уж мне совсем стыдно будет, и я дала ему, сказавши, что нашла их между вашими книгами.

Вы спрашиваете, какую книгу я спрашивала у отца Александра? У него ведь книга Карауловского «об исходе грешной души». Я не помню буквально названия этой книги, но содержание ее заключается в странствовании грешной души по мытарствам. Сейчас получила бланку за июль месяца, но только Александровской станции, неужели Вы забыли оставить копию Рыковской станции? А может быть, она у Вас? Если забыли, то попросите у Головацкого копию.

Про себя сказать Вам нечего. Сижу дома, немного работаю, немного лежу и еще меньше гуляю. Здоровьем не поправляюсь, но, кажется, благодаря Бога, и не ухудшаюсь, более не чувствую никаких, но очень слаба.

Церковь уже обтянули холстом и становят печи, будут и полы красить. Говорят, что еще месяца на 2 хватит работы. Очень жаль будет, если к Покрову не будет церковь готова. Да жаль, что и на Воздвижение службы не будет. Мне показалось, что Вы не совсем довольны присланными медикаментами, если надо что-нибудь еще, то напишите, можно будет прислать, а то так очень трудно догадываться. Но только имейте в виду, что Александровские доктора не очень снисходительный народ, в особенности Давыдов⁸⁷, так Вы уж лучше будьте поосторожнее.

Сейчас приходила Малявкина⁸⁸, завтра едет в Александровку, так уж я ей передам шапку и письмо, а то, пожалуй, Фрикен, которого сегодня ждут сюда, прогостит здесь долго. Если шапка Вам не будет годиться, то можете отдать кому-нибудь.

Будьте здоровы, сердечно желаю Вам полного успеха в делах и надеюсь, что Господь Бог и Божия Матерь сохранят Вас от всяких бед и напастей.

Преданная Вам
Кржижевская*.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

1891 г., Александр<овский> пост.

17 августа, суббота. Утром занялся писанием Лоции. В это время пришел из Николаевска пароход «Байкал», который привез к нам нового начальника полковника Димитриева⁹⁰. Встреча, представление, обед, музыка и проч. Я поспешил с Софией Ильинишной на «Байкал» к Моисееву. Сделал ему поручения относительно покупок рублей на 15. Встретил кума Юркевича⁹¹. Он объездил волости около Амура и решил остаться на Сахалине, который ему представляется раем сравнительно с Амурскою областью. Ему не понравился народ, их нравы, нравственность и взгляды; не понравился и климат. Наши крестьяне бедствуют и сожалеют, что покинули хорошие хозяйства на острове. Заработка почти нет. Климат, по его мнению, хуже нашего. Хлеба хорошие, но сбыт плохой. К тому же бедному крестьянину не угнаться за манзами и китайцами, которые засевают хлеба несколько десятков десятин и продают очень дешево. Остаток дня провел в Церкви во время всенощной. *18 августа, воскресенье.* Ходил в Церковь. До обеда писал Лоцию, а после обеда ходил к А. Головацкому за Атласом метеорологическим, но не нашел у него: его отправили к Петру Ивановичу вместе с книгами⁹².

19 августа. Понедельник. С утра до вечера пролежал на доске — чертил карту. *20 августа. Вторник.* Утром составлял карту, а после обеда выехал на промер. Погода бурная. Немного сделал и бросил. Писал вечером Лоцию. Получил от Вас телеграмму. Да сохранит Вас Матерь Божия под Кровом Своим.

* На оставшейся части страницы следы от изъятой вклейки, справа — относящаяся к ней карандашная подпись: «13 февр<аля> 1890 г. Мария Антоновна»⁸⁹.

21 августа, среда. С утра до полдня делал промер реки, потому что в море бурная погода. Потом до обеда писал письма. Мария Антоновна, почему мне не пишете, как поживают мои знакомые и родные? Надежда Михайловна (кланяюсь ей), Доктор (и ему поклон)? Получил ли Феодор Никифорович (кланяйтесь от меня) выписанные мною книги? Получаете ли Вы «Русский паломник» от Батюшки? После обеда беседовал с гостем Львом Яковлевичем Штернбергом⁹³, потом пошел к Загарину составлять план. Мария Антоновна, не могу похвастаться, чтобы работа была удачна. Я очень недоволен. Уже подумывал отложить до весны. Молите Бога, пусть Он поможет мне покончить успешно мое дело и освободиться от Александровки. Теперь 9 ч. вечера, спешу сейчас идти к Арсению Михайлов<ичу>. Слышны удары грозы. Бедная, добрая моя Мария Антоновна. Дай Бог Вам силы и здоровья для Ваших дел. Особенно сегодня молил Бога и Божию Матерь, чтобы Вам прожить мирно, покойно, без нужды. Да даст Вам Господь теплое покровительство и пристанище. Целую сердечно Ваши милые, добрые руки. Матерь Божия! Все упование мое на Тя возлагаю, спаси и сохрани нас под Кровом Твоим в мире и любви.

Иван Павлов<ич>*

21 августа.

Вы, вероятно, простите меня, Иван Павлович, что я проспала поездку Арсения Михайловича в Александровку и задержала немного отчет. Дня три меня такой сон одолевал, что я ничего не могла делать, с великим принуждением и в аптеку ходила.

Вы все спрашиваете, что мне купить по хозяйству? Верьте, что ничего не надо, и при всем желании что-нибудь придумать я ничего не могла. Может быть, я сама чего-нибудь и купила бы, не потому, что мне надо, а так, из любви к покупкам, но за глаза ничего не придумую. Говорила по поводу этого и с Надеждой Михайловной, и она ничего не выдумала. Да она сама собирается на будущей неделе в Александровку и подтвердит Вам это.

Сегодня у меня начался ремонт: с утра прислали человека набивать колышки в стене для обмазки глиною снаружи. Но так начали колотить, что я испугалась за барометр и побежала в 6 часов утра к Ливину с просьбой остановить. Но он пришел сам, велел сперва делать надрезы, так что забивка пошла потише, хотя и было содрогание в стенах, но незначительное. Я все-таки сильно боялась, но, кажется, Бог даст, обойдется благополучно. Говорит он, что и рамы готовы. Слава Богу! Сам Господь позаботился об этом деле, я же никого ни о чем и не просила.

Вчера помешали мне окончить письмо, отложила еще на день. Сегодня опять с утра рабочие и смотритель все ходит и смотрит, чтобы хорошо делали и потише. Слава Богу!

Как скоро рассчитываете приехать, Иван Павлович? Предупредите заранее, чтобы Лоцин успел еще раз побелить Вашу комнату. Вчера я ему отдала четвертый рубль от Вашего имени. По-видимому, он очень доволен, спрашивал, скоро ли приедете? Насчет книги Вы опять забыли. Когда батюшка просил Вас доставить ему все книги о загробной жизни, тогда вы взяли у меня эту книгу и отдали ему. Она в синей обложке. И там описаны все сорок дней странствования души и прохождение ее по мытарствам, заглавие ее я забыла, но только это не та, что вы дали Скороходову. Это я говорю так, больше я у него не спрашивала. Он получил новые книги и на днях принес мне «Дни богослужения православной церкви» Дебольского⁹⁴, без моей просьбы. Как настольная книга она хороша, но читать ее трудно, все равно удержать всего в памяти невозможно.

* После этого, видимо, помещалось еще одно письмо Ювачева: сохранились следы вырванных двух страниц.

Кому Вы дали читать «старца Даниила», у меня Скороходов спрашивал. Не давали Вы кому-нибудь мою «Физиологию», просил у меня Ливин, и я не нашла. Ну да это не важно, может и после прочесть, ничего не потеряет.

Что Вам сказать, Иван Павлович? Все сижу дома, никуда не выхожу и у Над<ежды> Мих<айловны> с Вашего отъезда была только один раз. Работаю худо, читаю еще меньше, не особенно и валяюсь, а время все уходит. Погода у нас худая: все дожди да ветра, и чувствуется себя что-то плоховато. Получила я кагор и пью вторую бутылку, как будто немного лучше стало. Купила у Овчинниковой⁹⁵ пальто за 18 рублей, да отдавала перешить за 1р. 50 коп., зато теперь в будку хожу по вечерам в пальто, а то раньше все мерзла. Положим, оно не ахти, но все-таки приличное.

Иван Павлович, купите себе дождевик, он во Владивостоке стоит 7 — 8 рублей. Право, не худо было, да и калоши купили бы, ведь прошлую зиму хотели купить.

На гостей у меня время все уходит, сейчас опять три часа потеряла. Но зато у меня сейчас вставляю рамы, и хорошие толстые рамы. Слава Богу!

В церкви делают печи по новой системе под руководством Вейера, доктор от них в восторге. В алтаре уже печь готова, и хотят красить, пол тоже будут красить. Хотя бы Господь дал, чтобы к Покрову была бы церковь готова, а 22 октября я надеюсь от Божией Матери получить исцеление.

Досвидание, Иван Павлович, право, писать нечего, все идет по-старому. Будьте здоровы, и да сохранит Вас Господь Бог и Божия Матерь от всех бед и напастей.

Преданная Вам
Кржижевская.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

Александровка.

22 августа. Четверг. Только утром сегодня, когда уже Арсений Михайлович поехал домой, я увидел его на улице. Занимался сегодня черчением планов и писал Лоцию. Медленно двигаюсь.

23 августа. Пятница. Писал и чертил. Вечером в 9 часов собралась гроза (небольшая), а я в это время ходил по балкону и сочинял надпись на Библию в стихах, размер которых наподобие некрасовских стихов:

В этой книге вся жизнь отразилась,
В ней, как в зеркале, видим весь свет,
Тайна Божиих дел нам открылась,
Здесь на все есть готовый ответ.
Что уж было, что есть и что будет,
Чрез пророков Господь показал.
Милый друг! и тебя не забудет:
«Только верь и люби», — Он сказал.
И не бойся, когда ты читаешь
Правду вечную Божиих слов:
Помолись, потерпи и узнаешь —
В ней скрываются *Мир и Любовь*.

Эти стихи я напевал на голос «Назови мне такую обитель» (из «Парадного подъезда»): размер тот же.

24 августа. Суббота*. Я начинаю беспокоиться: обещали скоро выслать бланки — и до сих пор нет. Я подозреваю — не пишете ли Вы сами их? Голубушка, дорогая Марья Антоновна! Послушайте меня — не мучьте себя вычислениями. Голубушка, Мария Антоновна! Умоляю Вас: пришлите ко мне бланки. И то много, если Вы только книжку подсчитаете; но я Вас прошу ничего не писать и не подсчитывать — *просто* высылайте мне.

* Позже вписано сверху: «Мих<аил> Осип<ович> Коялович, профессор. В это время я рекомендовал его Плоцкому, но он разругал его»⁹⁶.

Утром сегодня ветра не было. Я рано поспешил на работу — делать промер. Дождь измочил нас сильно. Спасибо Загарину, он работал как матрос, как рулевой и как лотовый. Мне он очень нравится. Иногда пожалею, отчего у него не остановился. Вечером сходил ко всеношной, а после ужина наблюдал до 12 часов звезды. Холодно становится — озяб, да и рука устала от секстана.

25 августа. Воскресенье. Утром обмыл себя и комнату, прочел про мучеников Гуса и Иеронима⁹⁷ и после завтрака пошел в Церковь. Просил я Бога за Вас, дорогая Мария Антоновна, чтобы прибавил Вам мирной земной жизни и успокоил в вечной обители на небесах. Читал и писал хронологию по Библии (лениво).

Попросите, пожалуйста, от моего имени Феодора Никифоровича, чтобы при okazji в Александровку заходили *его посланцы* и ко мне, в дом Плоских, может быть, я что-нибудь передам в Рыковское. Я его об этом просил еще в Рыковском, да, вероятно, он забыл.

Скажите Надежде Михайловне, чтобы телеграммы на мое имя она передавала Вам, а Вы с ними распоряжайтесь по своему усмотрению (я жду от брата).

Вот еще отголосок вчерашних стихов:

Эта Библия — Ангел-Хранитель;
С ней, как с спутником, в жизни пойдешь;
Приведет тебя в Божью обитель;
Там опять новый свет в ней найдешь.

26 августа. Понедельник. Занимался составлением карты и писанием Лоции. Получил от Вас пакет. Сегодня утром заходил к Алексею Александровичу. У него наскоро набросил маленькую записочку и попросил ее передать Вам Николаю Павловича⁹⁸. Получил жалованье. Вечером в 5 часов заходил опять к Алексею Александровичу. Он снял с меня фотографию. Сегодня же пришло к нам на рейд английское военное судно, но к их неудовольствию, вероятно, поднялась сильная буря в 9 ч. вечера.

Я бы хотел видиться с Надеждою Михайловною в Александровке. Скажите ей, чтобы она дала мне знать о себе. Слава Богу! Вам поправляют квартиру. Если Лоцин белил комнату, то зачем же еще раз белить? Приеду я, вероятно, в начале сентября. Мне бы надо съездить еще в море — сделать промер в некоторых местах. Составление плана тоже оттягивает время; а писать Лоцию, вероятно, буду в Рыковском.

Книгу о «Данииле» я дал Владимиру Алексеевичу, а он — Феодору Никифоровичу, а он — Арсению Михайловичу, а дальше я не знаю. Надо спрашивать или у Доктора, или у Феодора Никифоровича. Ваша книга «Физиология» у Бронислава. Я приеду — спрошу у него. Хорошо, что Вы написали о своей покупке, а то я хотел Вам купить пальто. Мария Антоновна, зачем мне дождевик? Крупных летних дождей немного, а осенью — мелкий дождь, который немного смочит пальто, и только. Калоши — другое дело, но они очень дороги. Помилуйте! 4 — 5 рублей!

В Вашем письме есть очень интересное сообщение, но оно неполное. Вы 22 окт<ября> надеетесь получить исцеление от Божией Матери. Да будет воля Божия. Охотно и я присоединяюсь к Вашим молитвам. Не знаю только, как это Господь или Божия Матерь Вам внушила эту мысль. Да утвердит Вас Владычица в вере Вашей и да будет Вам по вере Вашей и по надежде. А я, грешный человек, редкий день не спорю с *поляками*. Они ужасно ненавидят русских; Вы понимаете мое двусмысленное положение у них.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под кровом Твоим в мире и любви.

Божий и Ваш слуга Иван
Павлов<ич> Ювачев.

27 августа.

Получила сейчас Вашу записку, Иван Павлович, и удивляюсь, что Вы до сих пор не получили отчета, который я уже давно сдала на почту, т. е. 22 августа. Напрасно упрашиваете меня высылать Вам невычисленный отчет, я и без Вашей просьбы его не вычисляла, потому что все нездоровится. Последние же дни здоровье мое сильно ухудшилось, т. е. отек страшно увеличился⁹⁹, так что сегодня я обратилась за лекарством к отцу Иоанну¹⁰⁰, прося его телеграмму помолиться обо мне. Понимаю, что для полного успеха нужно и мое покаяние, но я и этого надеюсь достигнуть от его молитвы. Однако я не решилась просить его помолиться о моем выздоровлении, думаю, Господь лучше знает, что мне надо, да и на прозорливость Его сильно надеюсь тоже. Дал бы Господь и мне мирный дух, чтобы одновременно с отцом Иоанном и я бы могла сердечно и горячо помолиться Ему. Но я уверена, что получу большую пользу, и духовную, и телесную. Помолитесь и Вы за меня хотя немножко.

Пока досвидание, будьте здоровы и да сохранит Вас Господь Бог и Божия Матерь от всякого зла.

Преданная Вам
Кржижевская.

Сегодня мне лучше, и я еду провожать Над<ежду> Мих<айловну> в Дербиново, надо расплатиться за пальто с Овчинниковыми.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Мир и Любовь!

Александровский пост.

27 августа, вторник*. Ночная буря прекратилась, и англичане по-прежнему стоят на рейде. Сегодня их пригласили на обед с музыкой. Портрет мой не вышел. Вчера Алексей Александрович работал с негативом в темной комнате, тогда собака что-то сделала и испортила. Я составлял план, писал, а главное — вычислял отчет.

28 августа. Среда. Сегодня день Ангела Аннушки, и мне пришлось, не завтракая, пойти на работу в море. Погода была отличная, рейд оживлен английскими шлюпками. Я в 12 ч. кончил промер. Как раз, выходя из шлюпки, встречаю Сергея Николаевича со свитой чиновников (они ехали на обед к англичанам¹⁰¹). Он спросил о работе, я объявил, что кончил, и попросил позволения уехать в Рыковское. В Сертунай не поедут, потому что Алексей Александрович не соглашается рисковать в [такие] осенние погоды. Лоцию, Бог даст, буду дописывать в Рыковском. Остается докончить план рейда и выставить промер. Если Вы можете потерпеть, то, пожалуйста, позвольте остаться до вторника 3 сентября (это будет ровно 2 месяца).

Получил от Вас, голубушка, письмо и масло. Спасибо Вам, Мария Антоновна, но теперь для моих хозяев масло не диковинка, потому что сами имеют двух коров и продают много молока, масла и проч. Отвечаю на письмо: Отчет Ваш получил в понедельник 26 августа. Книжки и бланки везу с собою. Вычисления отчета уже покончил. Но... я сильно опечалился, прочитав Ваше сообщение о серьезной болезни. Голубушка моя, Мария Антоновна, просите Бога, да даст Вам здоровье, да продолжит Ваши дни в мире и в любви. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве тебе, Пресвятая Богородице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои бо есмь рабы, — да не постыдимся. Милая, дорогая моя матушка Мария Антоновна, если надо мое присутствие теперь, то, пожалуйста, телеграфируйте, и я поспешу тотчас же в Рыковское. Это Вы хорошо сделали, что просите помолиться Отца Иоанна. Конечно, да будет воля Господня благословенна, но я молю Его о Вашем здоровье и спокойствии. Не пренебрегайте и советом врачей. Не

* Позже надписано: «Епископ Гурий прибыл в Охотск».

имеет ли значения какая-нибудь гигиена, диета на воду (чай)? Я хотел привезти соленой рыбы или копченой для Вас, но теперь, я думаю, Вам надо ее избегать, чтобы не чувствовать позыва на питье.

Сегодня Алексей Александрович позвал меня и снял с меня фотографию. Как-то теперь выйдет?! Немножко занимался планом и пошел в Церковь. После всенощной, выходя из Церкви, встретился с Надеждой Михайловной. Хотя Вам и лучше вчера было, но ведь этого мало: надо Вам настолько поправиться, чтобы Вы могли легко выполнять свои обязанности. О, дал бы мне Господь услышать о Его милости к Вам. Бедная моя Мария Антоновна, как мне Вас жалко! Добрая, хорошая Мария Антоновна, простите меня за все неприятности, причиненные мною Вам; Вы и без того много в своей жизни страдаете. Теперь праздник — память Иоанна Предтечи — моего и Вашего Ангела-Хранителя¹⁰². Да поможет и Он нам и да ускорит и благопоспешит мой путь в Рыковское, чтобы я мог увидеть Вас после долгой разлуки и целовать Ваши милые, дорогие руки.

29 августа, четверг. Сегодня просил после обедни Заступницу и Иоанна Предтечу о Вашем здоровье, мире и спасении. Поздравляю Вас с домашним праздником. Потом направился в библиотеку, где просматривал иллюстрации. Был у Алексея Александровича. Кажется, опять портрет не вышел.

Немного поработал с планами и пошел в Церковь ко всенощной.

30 августа, пятница. Поздно проснувшись, занялся до 9 часов утра омовением (я здесь в баню не хожу, а моюсь с ног до головы дома). Ходил к обедне и видел парад с музыкой. Теперь я просматриваю иллюстрации и жду Надежду Михайловну: хотим идти сегодня в лавки за покупками. Но... дождь пошел мелкий. Не знаю — придет ли. Поднялся сильный ветер, поэтому Н<адежда> Мих<айловна> не пришла, но прислала мне телеграмму от Ник<олая> Павловича, который по моей просьбе извещает, что Вы, Мария Антоновна, здоровы. Слава Богу! я немного успокоился и стал писать Лоцию.

31 августа. Суббота. Пошел дождь. Как-то Вы, дорогая, без зонтика? Я пишу Лоцию и затем рассчитываю идти поработать над планом. Надо кончать. Не знаю, успею ли я сделать ко вторнику, а раньше выехать неудобно. Поручаю Вас, дорогая Мария Антоновна, покровительству Божией Матери и милости Спасителя.

Утоли болезни многовоздыхающая души моя, утолившая всяку слезу от лица земли. Ты бо человеком болезни отгоняеши и грешных скорби разрушаеши. Тебе бо вси стяжахом Надежду и Утверждение, Пресвятая Мати — Дева. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, спаси и сохрани нас под кровом Твоим в мире и любви.

Ваш Иван Павлов<ич>.

Уважаемый Иван Павлович.

Совсем забыла попросить Вас заехать за мною не ранее половины десятого. Боюсь, что раньше этого не буду готова, и Вам придется меня ждать.

Н. Попова*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Надпись, сделанная на древнееврейском языке, не вполне понятна вне контекста: «А имя другому Элизээр, ибо Бог отца моего мне в помощь и избавил меня от меча Паро» (Пять книг Торы. Русский перевод Давида Йосифона. Йерушалаим, 1975); в переводе с древнееврейского Элизээр означает «Бог помог». Изучением древнееврейского языка Ювачев занимался на Сахалине. В письме к родным от 13 декабря 1887 года он

* Позже вверху страницы пояснение Ювачева: «Писала это письмо М^с Наитаки¹⁰³, у которой гостила Н. М. Попова».

просит прислать ему книги, в том числе и «учебник древнего (библейского) еврейского языка» (ед. хр. 3, конв. 2, л. 20), а 12 мая сообщает, что посылку с книгами получил. С Торой Ювачев впервые познакомился в 1890 году: 19 июня он записывает свой разговор с еврейским мальчиком о том, какая у них толстая книга. «Он сказал: Тора. Я попросил. Он принес тотчас: оказалась Библия» (Дневник № 2, л. 29).

² Сасапарель Владимир Алексеевич — врач Тымовского лазарета, на Сахалине с 1883 года. По словам Ювачева, «добродушнейший старик», который никогда не жаловался зрителю на больных каторжных. Он и совершенно здоровым давал по их просьбе два-три дня отдыха. За это же и любили каторжные своего терпеливого доктора» (Мир олюбов И. П. Восемь лет на Сахалине. — «Исторический вестник», т. 79, 1900, стр. 638, 640; далее — *ИВ*). В дневниках Ювачев чаще всего именуется его Доктором.

³ П л о с к и й Эдуард Александрович — член «Тайного совета» польско-литовской социально-революционной партии (петербургского резерва польской партии «Пролетариат»), осужден на 13 лет, на Сахалине с 1886 года; П л о с к а я Софья Ильинична (1865 — ?) — его жена, женщина свободного состояния (Семанова М. Л. Общался ли Чехов на Сахалине с политическими ссыльными? — «Русская литература», 1972, № 1, стр. 152), учительница в селении Корсаковском.

⁴ Таскин Сергей Николаевич (1863 — ?) — выпускник Александровского лицея, начальник Александровского округа с 1888 года. В 1891 году по отъезде в Петербург начальника острова генерал-майора В. О. Кононовича временно исправлял должность начальника острова (см.: *ИВ*, т. 80, 1900, стр. 180).

⁵ Карауловский Иван Семенович (1838 — ?) — надворный советник, сахалинский землемер, которому в 1879 году было поручено разбить селение, впоследствии получившее название Рыковского (об этом: Дневник № 3, л. 5). Ювачев характеризует его как «в сущности превосходного человека, к которому стекались ему подобные люди, алчущие и жаждущие правды» (*ИВ*, т. 80, стр. 183).

⁶ Имеются в виду, вероятнее всего, сочинения: С е р г и й, а р х и м. Сказание о старце Серафиме, 1858; или «Сказание о подвигах Серафима», 1856; Ф о м а К е м п и й с к и й. О подражании Христу. СПб., 1890; П о г о д и н М. П. Простая речь о мудреных вещах. М., 1873. 27 июля 1890 года Ювачев упоминает о беседе с одним из своих единомышленников о том, что Серафим Саровский «дал правило всем: утром, в полдень и вечером по 3 раза „Отче наш“, по 3 раза „Богородице“, 1 раз „Верую“» (Дневник № 2, л. 33 об.).

⁷ Ренгартен Михаил Николаевич — эконо́м Рыковской тюрьмы, с которым Ювачева сближали интерес к вопросам религии и участие в церковной жизни.

⁸ Ивашкина Ирина Степановна — знакомая Ювачева, проживавшая в 1890 году в селении Корсаковском (запись о знакомстве 2 июля 1890 года — Дневник № 2, л. 30).

⁹ Фрикен Алексей Александрович фон (1857 — 1924) — агроном, инспектор сельского хозяйства на Сахалине с 1888 года. В 1890 — 1892 годах — заведующий метеорологической станцией в селении Корсаковском. По словам Ювачева, «отличный знаток всех условий поселенческого быта» (*ИВ*, т. 79, стр. 1092).

¹⁰ Лоцин Александр — ссыльнокаторжный латыш, с сентября 1890 года слуга Ювачева (об этом: Дневник № 2, л. 43 об.), духовно близкий ему человек, один из тех, кого, по словам Ювачева, объединило вокруг него стремление «достигнуть евангельской святости» (*ИВ*, т. 80, стр. 920).

¹¹ В дневниках Ювачева многочисленны записи, свидетельствующие о его занятиях «библейской хронологией»: размышления над символическим значением чисел, обнаружение соответствий между фактами собственной жизни и событиями Священной истории (к примеру, автобиография, озаглавленная «Дни и годы моей жизни» — Дневник № 2, л. 20 об.).

¹² В предыдущее свое посещение Александровска, в июле 1890 года, Ювачев записал в дневнике: «Убогость Церкви и священника трогала чуть не до слез» (Дневник № 2, л. 30).

¹³ Лукьянов Бонифатий Петрович (1850 — ?) — мещанин, свободного состояния, механик-самоучка, заведующий литейной мастерской в Александровске.

¹⁴ В задачи Ювачева входило опробовать новый «небольшой пароход грубой немецкой работы, приспособленный главным образом для буксировки судов в устьях морских рек» (*ИВ*, т. 80, стр. 184). Свое название пароход получил по имени князя Николая Шаховского, в 1878 — 1882 годах заведовавшего ссыльнокаторжными Приморской области, о котором Чехов писал как об «отличном администраторе, умном и честном человеке» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 14-15. М., 1978, стр. 317; далее: *Чехов*).

¹⁵ Праздник явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы, храмовый праздник в селении Рыковском. В начатой им летописи Рыковского Ювачев приводит данные об истории церкви, строительстве которой закончилось в сентябре 1888 года, до этого под

временную церковь была приспособлена одна из тюремных казарм (Дневник № 3, л. 10 об., 11 об., 14, 15, 17). В другом дневнике имеется пространное «Описание храма в честь Казанской иконы Божией Матери» (Дневник № 2, л. 52 — 55 об.). По прибытии на Сахалин Ювачев некоторое время работал на постройке церкви и видел в этом некий перст судьбы, ибо эту икону считал своей покровительницей (см. в письме к родным от 15 августа 1887 года: «Как много раз в моей жизни встречается Казанская икона Божией Матери, теперь Вы об этом сами можете сказать. Итак, не печальтесь: у меня есть высокая Покровительница» — ед. хр. 3, конв. 2, л. 17). Впоследствии — домашняя икона в семье И. П. Ювачева. О дальнейшей судьбе церкви узнаем из письма к нему жены Надежды Ивановны от 9 сентября 1906 года, где сообщается о разговоре с С. А. Волоховым, выехавшим с Сахалина в 1902 году: «Я, конечно, засыпала его вопросами о Сахалине <...> Церковь в Рыковском сожгли до основания» (ед. хр. 2, ч. VII, л. 162 об.).

¹⁶ Попова Надежда Михайловна — жена телеграфиста Н. П. Попова, приехавшая в Рыковское вместе с мужем из Де-Кастри в 1885 году (об этом: Дневник № 3, л. 12 об.), подруга М. А. Кржижевской.

¹⁷ Ливин Федор Никифорович (1845 — 1907) — за время службы на Сахалине (1884 — 1893) смотритель тюрем в разных селениях, в том числе и в Рыковском. Чехов характеризует его как «человека даровитого, с серьезным опытом, с инициативой», но имевшего «сильное пристрастие к розге» (Чехов, стр. 160). Ювачев писал, что Ливин пользовался дурной репутацией и среди каторжан, и среди чиновников, обвинявших его «не только в жестокости, хитрости, лицемерии, но и во многих других пороках» (ИВ, т. 70, стр. 284). В 1901 году Ливин напечатал «Записки сахалинского чиновника» («Тюремный вестник», № 9 — 10), в которых опровергал высказанные о нем суждения.

¹⁸ Ювачев начал писать стихи еще в тюрьме, период активного стихотворчества приходится на 1886 — 1891 годы. 15 марта 1890 года он делает запись в дневнике: «Утром молился о книге стихотворений. Начал ее в 11 ч. утра» (Дневник № 2, л. 12 об.). Книжку составили переложения религиозных текстов и молитв, завершил он ее 31 марта 1890 года (Дневник № 2, л. 14 об.), но дополнял и более поздними стихами. Сохранилось начисто переписанное предисловие к книжке, названное «Милость и Истина» (ед. хр. 3, конв. 5, л. 1 — 2 об.).

¹⁹ Игнатъев Петр Кириллович — помощник смотрителя Александровской тюрьмы (Чехов, стр. 63). Видимо, был приставлен для надзора за Ювачевым на время его плаваний. Ювачев называет его «неразлучным спутником в <...> путешествиях по здешним морям» (ИВ, т. 80, стр. 207).

²⁰ Де-Кастри — «довольно большой залив, сильно вдающийся в материк» (ИВ, т. 80, стр. 187), и небольшое селение, расположенное на материке.

²¹ «Б а й к а л» — пароход, совершавший рейсы из Николаевска на Южный и Северный Сахалин, в Китай — Японию — Владивосток.

²² «Стрелок» — пароход, зафрахтованный сахалинской администрацией для отправки груза из Корсаковского поста (на юге Сахалина) в пост Тихменский (ИВ, т. 80, стр. 207).

²³ Эрикссон Иван Мартынович — помощник капитана парохода «Байкал», на время фрахта командир парохода «Стрелок»; Бредихин Ипполит Петрович — помощник капитана парохода «Байкал», в период фрахта выполнявший обязанности помощника капитана парохода «Стрелок».

²⁴ Богданов Капитон Васильевич (1859 — 1919) — мичман Черноморского флота, член Николаевского военно-революционного кружка, сосланный сначала в Сибирь на Кару, затем на Сахалин (Семанова М. Л. Указ. соч., стр. 149), товарищ Ювачева по Техническому училищу.

²⁵ Бялозор Юлиан Николаевич — начальник военного поста в Де-Кастри. О нем и его жене см. также в воспоминаниях Ювачева: «Их разговоры еще дышали последними новостями столицы, откуда они недавно прибыли. Посидев с ними до глубокой ночи, я весь отдался своим прошедшим временам, забыл, что нахожусь за далекими горами и лесами в настоящей, глухой Сибири, и мысленно перенесся в культурную Россию, где когда-то так сильно работала мысль над модными идеями, где так увлекался толпою и вместе с нею горячо стремился принять участие в борьбе со старыми формами жизни» (ИВ, т. 80, стр. 190).

²⁶ Попов-Какоулин Николай — впоследствии священник в селении Дербинском. Вероятно, один из тех, кого подразумевал Ювачев, когда писал: «Я видел в священниках на Сахалине гражданских чиновников в рясе...» (ИВ, т. 79, стр. 643). Г. В. Госткевич характеризовал его как «игрока и пьяницу» (Госткевич Г. В. Записки пролетариата. — «Каторга и ссылка», 1926, № 6, стр. 149).

²⁷ Священником в Рыковском с августа 1890 года был Винокуров Александр Георгиевич (см. запись в дневнике Ювачева от 19 августа 1890 года о его приезде: «Утром Батюшка принимал Церковь» — Дневник № 2, л. 41 — 41 об.).

²⁸ Лемошевский Павел Густавович (1833 — ?) — капитан парохода «Байкал», которому Чехов, по его словам, обязан «многими сведениями»: «На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно» (*Чехов*, стр. 44).

²⁹ Миша — Ювачев Михаил Павлович, старший брат Ювачева.

³⁰ 20 июля — день памяти святого пророка Илии, 22-го — день памяти святой мученицы Марии Магдалины, а 21-го было воскресенье.

³¹ Возможно, имеется в виду: Навиль Э. Отец небесный, 1868.

³² Вейер Роберт Иванович — знакомый Ювачева, с которым его связывал интерес к вопросам религии и участие в церковной жизни; в дневниках часто именуется Robert.

³³ Ландсберг Карл Христофорович (1856 — ?) — поселенец Александровского, лавочник, в прошлом гвардейский офицер, осужденный в 1879 году за зверское убийство. На Сахалине «исполнял также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалованье старшего надзирателя» (*Чехов*, стр. 58). Об особенностях поведения Ландсберга пишет В. Дорошевич, нарисовавший выразительный его портрет: «Он — сама предупредительность. Быть может, он даже слишком предупредителен — в нем есть что-то заискивающее, — он никогда не говорит иначе как с любезнейшей улыбкой <...> Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, — у него играет только одно лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же, холодными, спокойными, стальными» (Дорошевич В. М. Сахалин. В 2-х частях, ч. II. М., 1903, стр. 83).

³⁴ Головацкий Александр Васильевич (1855 — ?) — ссыльнокаторжный, писарь, наблюдатель на метеорологической станции в Корсаковском селении, с которым Ювачев познакомился летом 1890 года (Дневник № 2, л. 30).

³⁵ Дитятова Ольга Владимировна — жена К. Х. Ландсберга, дворянка, женщина свободного состояния, фельдшерница александровского лазарета.

³⁶ Дуэ — пост, основанный в 1857 году, первая «столица» сахалинской каторги, расположен южнее Александровска.

³⁷ Тимошенко Виктор — протоиерей, в 1890 году настоятель мало-тымовской церкви имени святого Антония Великого; Ювачев именует его благочинным, так как в его ведении, видимо, находились церкви Тымовского округа.

³⁸ Часовня была заложена в память избавления от смерти цесаревича Николая (будущего императора Николая II), на которого в апреле 1891 года было совершено покушение в Японии (см.: Дорошевич В. М. Указ. соч., ч. I, стр. 160).

³⁹ Все писавшие о Сахалине обращали внимание на то, что сами каторжане, говоря о своем положении, пользуются словом «рабочие».

⁴⁰ Этот фрагмент интересен своей «амбивалентностью» — смиренностью протеста. Еще более яркий пример подобного рода представляет дневниковая запись 30 июля 1890 года о том, как по дороге в мастерские Ювачев увидел орудия наказания: «Эти розги напомнили мне, что каждый день утром люди кричат от боли. Я бросился в Церковь молиться, но в притворе лежал надзиратель. Я — домой и помолился о рабочих» (Дневник № 2, л. 34).

⁴¹ Бутаков Арсений Михайлович (1845 — 1894) — начальник Тымовского округа, считавшийся на Сахалине «образцовым хозяином и неусыпным деятелем». Ювачев высоко ценил и «искренно любил Бутакова как человека с принципами, трудолюбивого и заботливого хозяина» (*ИВ*, т. 79, стр. 294; т. 80, стр. 923).

⁴² Пилсудский Бронислав Иосифович (Осипович) (1857 — ?) — дворянин, бывший студент, осужденный по делу 1 марта 1887 года на 15 лет, на Сахалин прибыл в августе 1887 года вместе с Ювачевым; один из самых близких ему людей.

⁴³ Сцепенский Василий Яковлевич — военный врач, родственник А. М. Бутакова (см. письмо Бутакова Чехову — Теплинский М. В. Новые материалы о сахалинском путешествии А. П. Чехова. — В кн.: Чехов Антон Павлович. Сборник статей. Южно-Сахалинск, 1959, стр. 213).

⁴⁴ Шван Мария Лаврентьевна — вдова Швана Валерия Яковлевича, начальника Рыковской воинской команды, умершего 21 октября 1890 года (Дневник № 2, л. 59 об.).

⁴⁵ Ренгартен Манефа Петровна — мать М. Н. Ренгартена, вдова бывшего помещика начальника тюрьмы и эконома в Рыковском Николая Ренгартена.

⁴⁶ Емельян — слуга Марии Антоновны. В дневнике Ювачева встречаются записи о его недовольстве поведением Емельяна (7 апреля 1890 года: «Сделал замечание Емельяну за табак. Не понравилось ему» — Дневник № 2, л. 16).

⁴⁷ Чернов Виталий Васильевич — дворянин, осужденный по Донскому процессу на 15 лет, на Сахалине с 1887 года (Семанова М. Л. Указ. соч., стр. 151).

⁴⁸ Погоби — мыс, находящийся в самом узком месте Татарского пролива, место расположения самого северного кордона. Кржижевская называет его «Погиби» потому,

что бытовало мнение, будто это «погибельное место»: мало того, что «пролив в узком месте имеет очень сильное течение», но для беглых каторжников кордон был страшен еще и солдатами (*ИБ*, т. 80, стр. 199).

⁴⁹ Малаякин Григорий Павлович (видимо, служащий) и его жена Агния Петровна (Дневник № 2, л. 31 об., 35; Дневник № 3, л. 75).

⁵⁰ Катин Александр Степанович (? — 1890) — раскольник, который «в молодости за отказ от военной службы и за публичное провозглашение власть имущих антихристами» был приговорен к каторжным работам; «желая быть последовательным, он и в каторге отказывался повиноваться антихристовым властям» (*ИБ*, т. 79, стр. 658 — 659). Один из наиболее близких Ювачеву людей, в дневнике постоянны записи о встречах, беседах и совместных молитвах.

⁵¹ Скороходов Николай Львович — ссыльнопоселенец, один из кружка людей, стремившихся «достигнуть евангельской святости». О нем, Катине и Лоцине Ювачев писал, что такие люди «сделали бы честь любой стране» (*ИБ*, т. 80, стр. 920). В 1893 году уехал с Сахалина на Амур (см.: Дневник № 3, л. 77), но общение с Ювачевым, видимо, продолжалось на протяжении всей жизни.

⁵² Юрченко Евтропий — знакомый Ювачева. В дневнике упомянут в числе тех, кто читал Псалтирь над умершей М. А. Кржижевской (Дневник № 2, л. 112 об.). О каторжной богадельне в селении Дербинском, куда был принят Юрченко, В. Дорошевич писал как о забытом всеми и заброшенном месте, где процветала картежная игра — «сахалинское Монте-Карло» (Дорошевич В. М. Указ. соч., ч. II, стр. 182 — 199).

⁵³ Попов Менандр Яковлевич — адъютант управления войск острова Сахалина, в письме Д. А. Булгаревича к Чехову упоминается как «каламбурист и остряк» (Теплинский М. В. Указ. соч., стр. 193).

⁵⁴ Фельдман Павел Алексеевич — сын Фельдмана Алексея Степановича, смотрителя Дуйской тюрьмы, известного своей жестокостью. В рассказе одного из каторжников, переданном Дорошевичем, только дети Фельдмана, если были дома, своими мольбами «не допускали его до порки» (Дорошевич В. М. Указ. соч., ч. I, стр. 292).

⁵⁵ Хоэ и упоминаемые далее небольшие селения западного побережья основаны «на выдающихся в море мысах или у устьев небольших речек, от которых и получили свои названия» (Чехов, стр. 125). По словам Ювачева, все селения были «построены на берегу моря как станции почтового зимнего тракта в Николаевск» (*ИБ*, т. 80, стр. 204).

⁵⁶ В воспоминаниях Ювачев называет старшину гиляков Оркуном (*ИБ*, т. 80, стр. 196).

⁵⁷ Место, где Амур впадает в Охотское море.

⁵⁸ Уанги (Ванги) — самое северное из селений, расположенных на западном побережье.

⁵⁹ Ювачев вспоминал о сложности своих занятий: «Сначала я провел промер правильными квадратами, выставляя створные вехи на берегу и на воде; но чем дальше уходил в море, тем труднее было удерживать их на бурном волнении рейда. Выставленными вехами можно было пользоваться очень короткое время: сильное течение, даже в тихую погоду, к вечеру уже уносило их за Жонкиерский мыс, а в бурю, когда бухта представляла из себя кипящий котел, они были разбросаны по берегам» (*ИБ*, т. 80, стр. 204 — 206).

⁶⁰ Катер был назван в честь Андрея Ивановича Гинце, начальника острова Сахалин в 1884 — 1888 годах.

⁶¹ См. примеч. 27.

⁶² См. примеч. 37.

⁶³ Акорчева Мария Федоровна (1832 — 1901) — фельдшерница и повивальная бабка в Александровском округе, приехала на Сахалин осенью 1885 года вместе с М. А. Кржижевской (см.: Дневник № 3, л. 13).

⁶⁴ Кестлер Август (1840 — ?) — купец в Дуэ.

⁶⁵ См. примеч. 26.

⁶⁶ Праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, после литургии совершается крестный ход на воду.

⁶⁷ См. примеч. 44.

⁶⁸ Корсаковский пост — главный город южного округа Сахалина.

⁶⁹ Пост Тихменевский расположен в заливе Терпения в устье реки Поронай. Тарайка — гиляцкое название всей местности, прилегающей к устью Пороная (*ИБ*, т. 80, стр. 216).

⁷⁰ Праздник Преображения Господня.

⁷¹ Речь идет о жене корсаковского священника отца Александра Фаддеева, которого рыковские жители, оставшись в 1890 году без священника, хотели видеть своим настоятелем (об этом: Дневник № 2, л. 31 об.).

⁷² День чудесного спасения царской семьи: поезд, в котором вся царская семья возвращалась с Кавказа, сошел с рельсов, но никто серьезно не пострадал.

⁷³ Суханевич Игнатий Иванович — горный инженер, присоединившийся в Корсаковском к команде «Стрелка» и восстановивший всех против себя своим «требовательным и заносчивым тоном» (*ИБ*, т. 80, стр. 313).

⁷⁴ Поронай — одна из двух крупных сахалинских рек, берет начало в Тымовском округе и впадает в Охотское море. «В 1805 г. адмирал Крузенштерн нашел в ней сходство с петербургской рекою и потому окрестил ее Невою, но это название удержалось только на географических картах» (*ИБ*, т. 80, стр. 214).

⁷⁵ Не удалось установить, о ком идет речь.

⁷⁶ Имеется в виду 9-е воскресенье по Пятидесятнице, когда читается Евангелие от Матфея, 14: 22 — 34.

⁷⁷ Аннушка — Ювачева Анна Павловна. В юности близкий Ювачеву человек, о чем он писал ей в письме от 22 июля — 10 августа 1893 года: «Наше прошлое так близко и по родству, и по воспитанию, и по летам...» (ед. хр. 3, конв. 6, л. 2).

⁷⁸ Мануэ — пост, находящийся между Тымовским и Корсаковским округами на восточном побережье.

⁷⁹ Ювачев был арестован 13 августа 1883 года. В дневниках он постоянно возвращается к этой дате, как и к другим знаменательным дням своей жизни, отыскивая в ней провиденциальный смысл. Так, в записи, озаглавленной «Замечательные дни моей жизни с показаниями луны относительно Иерусалимского меридиана»: «13 авг<уста> 1883 г. Арест за 7 дней до Новолуния» (Дневник № 2, л. 119).

⁸⁰ Есипова Наталья Павловна — жена флотского офицера Николая Анемподистовича Есипова, с которой у Ювачева был роман. 28 декабря 1893 года в дневнике он восстанавливает историю своего знакомства с ней (Дневник № 3, л. 104). Летом 1893 года вступил с ней в переписку.

⁸¹ Камень Опасности — «голый каменистый островок, лежит среди пролива Лаперуза, то есть там, где разделяются две империи и соединяются два моря — Охотское и Японское. В туманную погоду он действительно очень опасен для мореплавателей, потому что от него на далекое расстояние тянутся подводные рифы» (*ИБ*, т. 80, стр. 208).

⁸² Вероятнее всего речь идет о книге: Ди до н А. Иисус Христос. СПб., 1891. 15 мая 1891 года Ювачев записывает в дневнике: «Начал читать соч<инение> Дидона» (Дневник № 2, л. 78), потом регулярны записи о том, что читает и пишет свои замечания; вернувшись из Александровска, 17 сентября возобновил чтение (Дневник № 2, л. 85).

⁸³ Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

⁸⁴ Не находится материалов, которые бы объясняли 15 и 16 августа как дни обращения Ювачева к Богу. Но вполне вероятно, что важен не месяц, а числа — 15 и 16: по словам Ювачева, изъявив в Шлиссельбурге «желание изучать греческое Писание», он после всенощного бдения с 15 на 16 января 1886 года получил Библию на греческом языке (Дневник № 2, л. 26).

⁸⁵ 16 августа — праздник Перенесения Нерукотворенного Образа.

⁸⁶ Гриценко — певчий рыковской церкви.

⁸⁷ Давыдов А. Д. — военный врач александровского лазарета, пользовавшийся на Сахалине дурной славой, что подтверждают и слова М. А. Кржижевской. В Дорошевич приводит его как пример «сахалинизация» «даже образованных и, казалось бы, развитых людей» (Дорошевич В. М. Указ. соч., ч. I, стр. 210). Характерна изданная Давыдовым в 1894 году брошюра «О притворных заболеваниях и других способах уклонения от работ среди ссыльнокаторжных Александровской тюрьмы».

⁸⁸ См. примеч. 49.

⁸⁹ В дневнике Ювачева есть запись, датированная 13 февраля 1890 года: «Рисовал утром М<арию> Ант<оновну>» (Дневник № 2, л. 7). Видимо, этот портрет воспроизведен в *ИБ*, т. 79, стр. 661.

⁹⁰ Дмитриев — полковник, чиновник при командующем войсками Амурского края, временно исправлявший должность начальника острова в 1891 — 1892 годах (Теплинский М. В. Указ. соч., стр. 198). Л. Я. Штернберг писал о Дмитриеве как о «кутиле и развратнике» (Штернберг Л. Я. Петр Карлович Домбровский. М., 1928, стр. 10).

⁹¹ Юркевич Степан (Стефан) Григорьевич — бывший ссыльный, по несчастной случайности совсем юным попавший на Сахалин, где учительствовал в рыковской и дербинской школах, служил тюремным надзирателем, впоследствии работал десятником на постройке Уссурийской железной дороги (*ИБ*, т. 79, стр. 1073 — 1074). В 1891 году Ювачев крестил у него ребенка (Дневник № 2, л. 70 об.).

⁹² Супруненко Петр Иванович (1844 — ?) — доктор медицины, с 1880 года заведующий медицинской частью на Сахалине, старший врач александровского лазарета и заведующий метеорологических станциями на Сахалине.

⁹³ Штернберг Лев Яковлевич (1861 — 1927) — бывший студент Новороссийского университета, член «Народной воли», в административном порядке высланный в 1889 году на Сахалин на 10 лет, с 1890 года изучал жизнь сахалинских гилияков, впоследствии видный этнограф («Памяти Л. Я. Штернберга. 1861 — 1927». Л., 1930).

⁹⁴ Речь идет о книге: Дебольский Г. С. Дни богослужения Православной кафедральной Восточной церкви. В 2-х томах. СПб., т. 1, 1882; т. 2, 1887.

⁹⁵ Овчинникова Зинаида Ильинична — жена смотрителя Дербинской тюрьмы В. В. Овчинникова. О ней упоминает Чехов: «Новые тюремные постройки, всякие склады и амбары и дом смотрителя тюрьмы стоят среди селения и напоминают не тюрьму, а господскую экономию. Смотритель все ходит от амбара к амбару и звенит ключами — точь-в-точь как помещик доброго времени, денно и ночью пекущийся о запасах. Жена его сидит около дома в палисаднике, величественная, как маркиза, и наблюдает за порядком» (Чехов, стр. 150).

⁹⁶ Коялович Михаил Иосифович (Осипович) (1828 — 1891) — профессор Петербургской духовной академии, историк и публицист. Ювачев мог рекомендовать Плоскому его очерки о Западной России, публиковавшиеся в журнале «Церковный вестник» в 1886 — 1887 годах.

⁹⁷ Имеются в виду чешский религиозный реформатор Ян Гус и его единомышленник Иероним Пражский, принявшие мученическую смерть на костре.

⁹⁸ Попов Николай Павлович — телеграфист в Рыковском, муж Н. М. Поповой.

⁹⁹ Ювачев писал о том, что у Марии Антоновны «вслед за чахоткой стала развиваться водянка ног, и она с трудом двигалась» (ИВ, т. 80, стр. 206).

¹⁰⁰ Отец Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) имел славу молитвенника за больных. Жители Рыковского, в том числе и Ювачев, проявляли большой интерес к нему. В марте 1890 года Ювачев записывает, что получил в посылке фотографию Иоанна Кронштадтского (Дневник № 2, л. 13); к 1890 году относятся также записи о чтении его сочинений и беседах о нем с близкими знакомыми (там же, л. 30 об., 42). В 1893 — 1894 годах есть записи о денежных пожертвованиях Ювачева и благодарственных ответах отца Иоанна (Дневник № 3, л. 38, 105 об.).

¹⁰¹ Позднее Ювачев писал, что особенно обиден был контраст с англичанами, выполнявшими аналогичную работу, но с помощью отличного оборудования. По его мнению, англичане «не имели права делать промера бухты», но сахалинское начальство, «с русским добродушием раскрыв все двери широкого гостеприимства, в это время было только озабочено получше принять и занять своих гостей» (ИВ, т. 80, стр. 206 — 207).

¹⁰² 29 августа — праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ювачев называет Иоанна ангелом-хранителем Марии Антоновны потому, что родилась она 23 января, крещена была 25 января, а именины праздновала 26 января, в день памяти прп. Иоанна (об этом он пишет в дневнике 25 января 1893 года — Дневник № 3, л. 42).

¹⁰³ Но и так и — жена начальника сахалинской почтово-телеграфной конторы П. Е. Ноитаки. Записка написана ею от лица Н. М. Поповой, вместе с которой Ювачев выехал из Александровска 3 сентября. Под этим числом он отметил в дневнике: «Был в гостях у Наитаки. В 11 ч. поехал с Над<еждой> Мих<айловой> <...> Встреча с М<арией> Антоновной. Худенькая, маленькая, смиренная» (Дневник № 2, л. 83 об. — 84).



МИР НАУКИ

РЕБЕККА ФРУМКИНА

*

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ НАУКИ

Музей и чулан

Пришлось мне недавно принимать вступительный экзамен в аспирантуру у выпускника факультета лингвистики РГГУ. Спрашиваю: почему математическая лингвистика у нас возникла в конце 50-х годов? Ответ: потому что как раз тогда появились мощные компьютеры и естественно было попробовать решать на них такую задачу, как автоматический перевод текста.

Я просто поперхнулась — да и как реагировать, зная, что невежественное «дитя» выросло в окружении программистов? Рассказать, что БЭСМ-1 занимала чуть ли не целый этаж? Что еще в конце 60-х годов мы обсчитывали экспериментальные данные на арифмометре по прозвищу «железный Феликс» (для читателя помоложе не поленюсь пояснить, что это за «зверь»: «Феликс» — это марка, арифмометр — это предок калькулятора, а железный он потому, что был цельнометаллический. Кто такой железный Феликс — наверное, еще не все забыли.)

Прошлое науки для студентов — это комбинация музея и чулана.

В музее — Л. С. Выготский с О. М. Фрейденом, М. М. Бахтин в гармоническом созвучии с Ю. Н. Тыняновым и другими формалистами, которых на самом деле Бахтин терпеть не мог и с которыми он не мог вступать в столь ценный им диалог. Ю. М. Лотман и С. С. Аверинцев тоже уже в музее, потому что имена их знают. Точнее говоря, знают именно имена. Ибо, как я имела случаи убедиться, это знание пребывает вне всякого контекста — как внутринаучного, так и жизненного. Кстати, не зная жизненный контекст, вообще нельзя оценить ни Лотмана, ни Аверинцева.

До сих пор неизданные мемуары Фрейденом, по моему глубокому убеждению, несравненно значительнее, чем ее научные работы. Но раз уж в музейной витрине лежат именно научные работы, то на эти тексты положено ссылаться, не утруждая себя размышлениями об их сути.

В чулане тоже не пусто. Там, по мироощущению нынешних филологов, пребывают такие незаурядные мыслители, как психолог С. Л. Рубинштейн, писатель и философ Ф. А. Степун, разносторонний гуманитарий и писатель С. Н. Дурылин, не говоря уже о марксистах разного толка — таких, как М. С. Каган или М. А. Лифшиц.

Не буду винить в этом молодых людей: они вступают в жизнь в эпоху, когда «все смешалось». Более достойно оборотиться на себя — особенно тем, кто волею судеб призван ли, вынужден ли говорить *ex cathedra*.

Им-то и уместно было бы в открытую предложить своим слушателям подумать, возможно ли вообще представить в виде линейной последовательнос-

Фрумкина Ревекка Марковна родилась в Москве. Лингвист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. Автор восьми научных книг и более двухсот статей на русском и английском языках. Ответственный редактор нескольких сборников научных статей серии «Экспериментальная психолингвистика». С середины 80-х годов печаталась в журнале «Знание — сила», с 2000 года — постоянный автор russ.ru. Фрумкиной написана мемуарная книга «О нас — наискосок» (М., 1997). В «Новом мире» выступает впервые.

ти событий рассказ о том, как в тот или иной период нечто (в моем случае это язык, речь ребенка, структура текста) были предметом интересов и споров ученых.

История любого исследования — это «драма идей», то есть что-то наподобие пьесы со многими героями, их столкновениями, репликами «в сторону», монологами и диалогами. Участники этого многоактного действия с открытым финалом и без очевидного пролога могут и вовсе не слышать друг друга, не говоря уже о взаимопонимании. Но когда мы пытаемся *рассказать* об истории изучения какого-либо феномена, то вне зависимости от сложности и запутанности подлинной драматургии событий прошлого, вне зависимости от темы и числа действующих лиц наш рассказ стремится выглядеть как некая непрерывная линия. В крайнем случае — с зигзагами. Ибо таково свойство повествования, «истории». Именно *жанр повествования* навязывает нам свою логику.

Но ведь эта логика практически никогда не отражает подлинного положения дел!

В науке, а в науках о человеке — в особенности, процесс постижения никогда не представляет собой непрерывной линии. Более того, его даже не стоило бы пытаться изобразить в виде ветвящегося дерева — все-таки дерево имеет один корень. В науке же никто не начинает с чистого листа.

Все мы, даже не подозревая этого, стоим на плечах гигантов. Созданное гигантами всегда выше того, что может быть понято персонажами меньшего масштаба, да еще в некоторый ограниченный временной промежуток. Поэтому мы то движемся вперед, то возвращаемся и петляем, пребываем в тупике, плуруем во тьме и принимаем свет случайного фонаря за луч путеводной звезды. Начинаящему профессионалу придется в это просто *поверить*. Иначе он будет понимать слишком буквально выражения типа «До Выготского (Жане, Пиаже, Монтессори, Лурия и т. д.) никто не понимал, что...».

Чаще всего и другие ученые понимали или нащупывали, но в ином контексте, с иными акцентами, не вполне, не придавали принципиального значения, считали не столь ценным, вообще преследовали иные цели и т. п.

Неизбежная условность линейного повествования принимается за линейность научного процесса. Не грех многократно напоминать об этом студентам. И еще одно важное соображение. Развивая предложенную аналогию между научным процессом и многофигурной драмой, подчеркнем, что отношения между учеными как действующими лицами, произносящими некие утверждения, и теми, кто эти монологи и диалоги слышит и хочет понять, не следует уподоблять отношениям между актерами на сцене и пассивно внимающими им зрителями в зале.

Согласно известной поговорке, здесь «все люди — актеры» — все, для кого наука существует как вид деятельности, в которой они так или иначе участвуют. Еще и поэтому деятельность любого крупного ученого нельзя рассматривать в изоляции от того, какие научные школы были характерны для того времени, когда он работал, с кем он явно или неявно спорил, каковы были социальные и культурные ожидания того общества, к которому сам он принадлежал.

Для моих слушателей это не то чтобы новость — чаще они не понимают, зачем им вообще «это» знать. А потому выученные факты громоздятся в беспорядке, не будучи соотнесены с историей социума, то есть реальной сценой, где разворачивалось действие.

Я уж не говорю о том, что моя характеристика методик Павлова как идеала и предела бихевиористского подхода обычно вызывает ропот и недоумение. Ибо бихевиоризм у нас нынче понимается только как ругательство — как, впрочем, и марксизм.

А как быть с тем очевидным фактом, что в эпоху, когда жили и работали Л. С. Выготский, П. П. Блонский, молодой Г. А. Гуковский, не подлежал сомнению тезис о том, что классовое бытие формирует классовое сознание? «Измените условия — изменится и человек!» Разделяя этот лозунг, Выготский

был энтузиастом «переплавки» человека — и не надо думать, что *тогда* интеллигентные люди воспринимали слово «переплавка» как пропагандистское клише.

Надо задуматься о реалиях и динамике эпохи и поверить в искренность подобных побуждений. Только тогда и можно будет не удивляться тому, что страстью Выготского была педагогика, что он был убежден в неограниченных возможностях психологической и педагогической помощи — благодаря чему, кстати, им и была создана крепкая государственная система обучения и реабилитации детей с дефектами зрения, слуха и речи.

Кстати, куда она делась? Туда же, куда и государство...

А Выготский умер в начале лета 1934 года. Безработным и гонимым, но в своей постели. За несколько месяцев до убийства Кирова и начала террора.

Скамья и кафедра

Незадолго до своей кончины Лотман писал, что у него нет учеников. Я думаю, что у Юрия Михайловича учеников и не могло быть. (В своих суждениях о Лотмане я тем более свободна, что мои встречи с Юрием Михайловичем имели совершенно частный характер: я занималась другим и в тартуский кружок не входила.) А ведь мало кто был так любим и почитаем, так непосредствен и обаятелен, естественно учтив с юными и доверителен с коллегами. Лотмана обожали, перед ним преклонялись и, безусловно, у него *учились*. Вопрос — чему.

И вот тут самое время подумать о разнице между учениками и последователями.

Чтобы иметь последователей, мало с кафедры предлагать идеи, которые имеют шанс быть подхваченными теми, кто сидит на ученической скамье. Надо еще, чтобы эти идеи были изначально поняты адекватно замыслу Учителя. Чтобы они были развиты прежде, чем успеют устареть. Чтобы будущие ученики не использовали эти идеи для пущей важности и самоутверждения ради, со ссылками наподобие: «Еще мой учитель говорил, что Волга впадает...» Кстати, замечали ли вы, что легче всего профанируются именно самые красивые, самые неожиданные идеи?

Чтобы ученый имел последователей, ему надо прежде всего располагать *методом*.

Метод по определению должен быть вычленим из научной продукции Учителя — не важно, устной или письменной. Не важно даже, кому принадлежит этот метод или подход. Транслятор метода, нового подхода (иногда — не вообще нового, а нового лишь для данного научного сообщества) заслуживает благодарности потомства в не меньшей мере, чем генератор метода или идеи, в которой явно заложена точка роста.

Важно другое: что метод, подход — это то, что по определению имеет инструментальный характер. Метод не может быть дан пунктиром, намеком; он либо сформулирован весь, здесь и сейчас, либо это не метод, а лично присущий данному человеку способ постижения.

Метод, предъявленный в качестве реального инструмента, в гуманитарных науках — скорее раритет. Соответственно не так много и «школ», где есть Учитель и *последователи*. Впрочем, здесь не требуется далеко ходить за примерами. В Отечестве, например, есть блистательная школа медиевистики, методы которой восходят к знаменитой французской исторической школе «Анналов». (Полагая, что имя Арона Яковлевича Гуревича достаточно знакомо, отсылаю интересующихся к его книге, посвященной именно методам, — это «Исторический синтез и школа „Анналов”»)¹.

Если же метод не предъявлен, а его надо раскапывать или примысливать, то это уже не метод, а прозрение, инсайт, стиль, богатство интуиции.

¹ См. обстоятельный анализ работ А. Я. Гуревича в обзоре Дмитрия Харитоновича «Современность Средневековья» («Новый мир», 2000, № 10). (Примеч. ред.)

Прозрения Учителя нас окрыляют, инсайты заставляют думать о волшебстве, стиль провоцирует на подражание, богатство интуиции вызывает зависть. Счастлив тот, кто испытал все это, взирая со скамьи на кафедру: он пережил то, что Цветаева назвала «час ученичества».

За такие часы мое поколение гуманитариев благодарно Лотману, Мамардашвили, С. М. Бонди, В. Н. Турбину. К счастью, Лотман оставил много общедоступных книг — в этом смысле его *учениками* будут наши дети и внуки, читающие комментарий к «Онегину», биографию Пушкина и «Сотворение Карамзина». И Юрий Михайлович, не оставивший *последователей*, останется Учителем и культурным героем.

Сыновья лейтенанта Гранта

Для начала — две истории.

История первая.

Лет семь назад получаю почтой толстый конверт из Англии. Имя отправителя мне ничего не говорит. Несколько оторопев, долго разбираю кипу бумаг с печатями и без, а также брошюры разной степени глянцевого.

Некто N., профессор из Новосибирского университета (кто это? — впервые слышу), просит благотворительный фонд Leverhume Trust предоставить грант — но не себе, а группе из трех лиц, которые, по его мнению, работают над весьма перспективной проблемой (проблема очерчена, имена не указаны). Из официального письма директора фонда следует, что в соответствии с правилами фонда этот N. предложил меня как одного из экспертов, кто мог бы дать заключение по сути проекта.

Прилагается: всевозможная информация о фонде — его стратегия, бюджет, отчет о распределении денег между разными научными направлениями, инструкция для экспертов, для заявителей, личное письмо мне как новому для них персонажу и т. д.

От просителей: подробное описание проблемы и сведения о том, на что они намерены потратить деньги, если получат грант. Никаких данных, позволяющих вычислить личности, фонд не сообщает.

Заявка вполне дельная — и я долго отвечаю на вопросы к эксперту — надо сказать, достаточно въедливые. Через какое-то время из фонда приходит еще один подобный конверт: меня благодарят за помощь, извещают о положительном решении и информируют о суммах на будущий год.

Happy end.

История вторая.

Ежегодно из почтенного Российского фонда (название коего опускаю, ибо не в этом конкретном фонде дело) мне звонит сотрудница с просьбой дать экспертные заключения. То есть она меня якобы просит, по сути же умоляет. И я знаю почему: мне предстоит работа не просто малоприятная — это настоящее разгребание грязи. Потому что, в отличие от описанной выше ситуации, я получу не столько сведения о намерении сделать нечто, буде деньги дадут, сколько сведения о соискателях. И притом — сугубо личного свойства, хоть и в соответствии с правилами.

Я узнаю о претендентах все: их возраст и статус, домашние адреса и телефоны, места работы, где и что они печатали, кто и когда давал им гранты, в какие заграничные они успели съездить, даже кто их подчиненные — поскольку последние часто выступают как соисполнители, рецензенты и т. п. Соответствующие анкеты — детально, а форма для заявки хоть и огромна по объему, но по сути своей достаточно пуста.

Это некрасиво и несправедливо по отношению к заявителям.

Это неэтично по отношению к эксперту.

Потому что, хотя на бланке нет моего имени, а стоит код эксперта, я уверена, что всем все будет известно. И более того: именно поэтому мне и посылают столько заявок. Молодое поколение, в общем, не имеет шестидесятни-

ческих этических комплексов. Оно без колебаний поддерживает только «своих». В крайнем случае — не хочет связываться, в силу чего и проявляет завидную уклончивость в оценках. И я не брошу в них камень — ведь он (или она) не защищены ни моим жизненным опытом, ни, между прочим, моими титулами и «регалиями».

Итак, я не отказываюсь. Целую неделю я анализирую личные дела многочисленных сыновей и дочерей лейтенанта Шмидта. У желающих стать «детьми капитана Гранта» цели и приемы вполне бендеровские: провинциальный шик, оплаченный, как правило, мелким жульничеством. Да сноровка не та, поэтому в анкетах они вынуждены писать правду.

Но мне-то зачем знать, что некто Комарова, 26 лет, ныне живет на улице Космонавта Волкова? Стремясь оценить цели работы, я предпочла бы *не знать*, что малолетний Сидоров уже «схавал» стипендию Фулбрайта и два гранта Сороса, так что теперь, видимо, готов удовольствоваться рублевым вспомоществованием.

Будь я поазартнее, я бы собрала этакие разведанные, которые — глядишь, и пригодились бы для прогноза будущего отечественной науки.

Зато с заявками все обстоит ровно обратным образом.

Стандартный случай — выдать воздушный замок за недостроенный настоящий. Дайте побольше денег — и через два года будет вам хрустальный дворец и даже спящая царевна. Ну а если дадите меньше — я построю сарай, а в нем (пока что!) будет спящая прачка.

Другому для полного счастья нужен компьютер последнего поколения, о чем он (она) пишет с орфографическими ошибками, зато на лазерном принтере.

Не менее характерный пример: попросить денег на нечто, чего якобы прежде не изучали. Конкретизация «неизученного» объекта нередко определяется не столько степенью невежества, сколько обворожительной наглостью соискателя. Эти отроки и отроковицы почему-то полагают *себя* неотразимыми. И Фонд послушно финансирует издание первого полного и комментированного собрания сочинений монаха Бертольда Шварца (разумеется, на белейшей финской бумаге и с форзацами под мрамор).

Тоже в своем роде *happy end*.

А ведь кто-то дает «добро» продолжателям дела Великого Комбинатора!

И будет давать — по крайней мере пока не будет обеспечена полная анонимность соискателей и экспертов.

Во всем мире заключения о качестве научной работы даются именно в условиях полной анонимности. Это рутинная работа. Не так давно я подавала доклад на рядовую научную конференцию в Эдинбурге. Оргкомитет разослал мой текст трем экспертам, от которых я по e-mail'у, но опять же через комитет (а не напрямую!) получила анонимные отзывы. И конечно, ответить я была обязана тоже Оргкомитету, а отнюдь не моим критикам — годы спустя, уже побывав в Эдинбурге, я так и не знаю, кто были эти люди.

Что же, господа присяжные заседатели отечественной науки, — разве вы не заметили, что лед тронулся? Он не просто тронулся, он тронулся под нами!

«Простим угрюмство»...

Менее всего мне хотелось бы, чтобы личные позиции, здесь изложенные, были восприняты как ламентации человека, вынужденного уйти с любимых и обжитых подмоств в безвестность, уступая дорогу молодежи — тем, кто покрепче и позубастей. Во-первых, «силою вещей» я пребываю там же, где была, что в моем случае значит — живу *дома*. Я много пишу и печатаюсь; имею учеников и общаюсь с ними с радостью.

Во-вторых, я начинала свою жизнь в науке среди таких ярких личностей, что назвала ту часть своих мемуарных записок, где рассказывается о моих учителях, «Завидуйте нам!». Я и теперь считаю, что моему поколению, при всем

драматизме нашей «коллективной биографии», как ученым можно только позавидовать. Почему?

Прежде всего потому, что мы страстно любили то, чем занимались. А из сегодняшней науки (не только той, которой сама занимаюсь) ушла страсть. Практически исчезли домашние семинары. Само по себе это нормально, поскольку появились другие формы социализации. Собирайтесь где хотите и обсуждайте что хотите — хоть права человека, хоть доказательство теоремы Ферма.

Публичность, вообще говоря, следует только приветствовать. Всем известно, что и в худшие времена работали знаменитые публичные семинары, где накал споров соответствовал пониманию науки как призвания — например, «большой» и «малый» семинары И. М. Гельфанда. Но на домашние семинары приходили все же только из желания подлинного неформального общения по существу дела. А на семинар Гельфанда допускались вовсе не все желающие, и «правила игры» там были крайне непростые.

Нынче же на семинары ходят из самых разных побуждений, но решительных иных, нежели коллективный поиск истины. Это престиж, желание «мелькать», дабы подтвердить, что ты принадлежишь данному сообществу. Надо быть *на виду*, чтобы тебя не забыли пригласить на конференцию или в сборник, чтобы тебя познакомили с очередным заезжим гостем из дальних стран. Там, глядишь, что-нибудь и перепадет — позовут на семестр в какую-нибудь Небраску.

Никто уже и не вспомнит случая, когда рядовой участник семинара попытался бы опровергнуть чью-то концепцию, да и вообще высказаться резко, но по существу, привести доказательные аргументы *contra* — в особенности не *contra* чего, а *contra кого-то*. Это теперь (в лучшем случае) сочтут за дурной тон.

Так научный семинар превращается в ритуальную ассамблею, а выражаясь более откровенно — в «тусовку».

«Тусовка» делит мир на «своих» и «чужих», но не по принципу приверженности идеям или концепциям, а по принципу личной преданности. С этой точки зрения «верные» из пошлого салона госпожи Вердюрэн ничем не отличаются от посетителей утонченных журфиксов известного верлибриста, презирающих рифмованный стих потому лишь, что в нем есть рифма.

Перевес преданности «лицу» над преданностью идеям — это безусловный признак неблагополучия в научном сообществе. А существует ли это сообщество на самом деле? Тоже проблематично. Потому что в подлинно живом научном сообществе непредставимо «взирание на лица».

В нашей современной науке — и вовсе не только в гуманитарной, напротив того, — плохо представляема ситуация, когда нечто происходит *невзирая на лица*. Лучшее тому доказательство — процедура защиты работ, от дипломной до докторской. Оппоненту «позволительно» указать на недочеты, по весомости эквивалентные опечаткам. Избави вас Господь рискнуть на критику по существу, даже если в конце вы скажете, что «соискатель достоин...».

Я наблюдаю, как докторские диссертации защищают те, кому я активно помогала входить в науку еще лет двенадцать — пятнадцать назад. Оппоненты, как правило, — это их близкие друзья или однокашники, выпускники того же отделения. Соответственно отзывы формальны, преимущественно комплиментарны. Так теперь принято. Но нечто подобное происходит и на уровне дипломных работ, с той разницей, что в этих случаях оппонентами оказываются персонажи постарше — к счастью, это родители друзей. Или друзья родителей.

В свое время я снискала себе репутацию чрезмерно придирчивого критика. Сейчас я воспринимаю это как великое благо — меня никогда не зовут оппонировать. Зато меня нередко просят руководить — как если бы я обладала фирменным клеймом, удостоверяющим качество. Но чтобы поставить куда-то пробу, нужно создать изделие — в моем случае какой-никакой, но текст. Вместо этого я нередко обретаю еще одну прелестную приятельницу или при-

ителя — оказывается, они готовы общаться и даже задавать серьезные вопросы, но вовсе не готовы к труду.

Вот некое юное создание уже в третий раз не получило в Ленинке нужную книгу. Ужас какой! — и это перевешивает все прочие мотивы, руки опускаются, работа стоит. Потому что на самом деле рвения, страсти-то и не было. А что же было?

Было стремление быть как папа (он сейчас работает в ЦЕРНе). Или как мама (она только что вернулась из Принстона). Или как друзья дома, некогда кончавшие знаменитую Вторую математическую школу.

Главное же — желание получить «символический капитал», которым пока остается ученая степень, и притом сделать это, *не прилагая особых усилий*.

Предвижу недоуменный вопрос: если наука как социальный институт пребывает на обочине социума, почему ученая степень продолжает считаться символическим капиталом?

Ответ прост и туп, как валенок. Потому что без степени вас не возьмут преподавать в вуз, и уж тем более — в вуз коммерческий. Приличная частная школа тоже желала бы украсить «остепененными» педагогами. Частные уроки — будь то русский или математика — принесут кандидату наук большие доходы, даже если обладатель степени учит откровенно плохо. Что касается возможности получения гранта, то и здесь «имущему дастся»...

Значит, отныне занятия наукой становятся таким же *средством*, как сдача экзаменов только ради отметки и написание дипломной работы ради «корочки»: сдали — забыли. Это не менее катастрофично для нашего общего будущего, чем позорные зарплаты ученых и продолжающиеся отъезды самых ценных специалистов. Потому что обнаруживает отсутствие осознаваемой связи между знаниями и перспективами социального вознаграждения.

Некогда мой приятель, чешский исследователь — специалист по прочности сооружений, читал лекции для коллег в одном итальянском научном центре. Он обратил внимание на то, что на его лекции приходило много молодежи, которая отнюдь не была обязана их посещать. Из любопытства он разговорился с молодым человеком, в то время — студентом строительного факультета. Объяснение было неожиданно простым. Молодой человек готовил себя к карьере архитектора, и эти лекции восполняли определенные лакуны в его познаниях.

Трудно представить, чтобы студент с подобными устремлениями платил кому-то за выполнение сложных чертежей, которые в таких вузах входят в набор обычных домашних заданий. У нас же это дело совершенно житейское. Да что домашнее задание! Один мой знакомый, по образованию русист, уже в 90-е годы успешно зарабатывал писанием кандидатских диссертаций для «нуждающихся».

И вот я представляю себе, как имярек, купив себе ученую степень, потом вернулся в свои родные места — не важно, в Ростов, Тобольск или Череповец. Теперь, усвоив столичную премудрость, имярек пишет заявки на гранты во все существующие фонды.

Дальше возможны варианты. Пакостно-въедливый эксперт вроде меня, многогрешной, поступает как профессиональный разгребатель грязи. Проклиная свою интеллигентскую обязательность по отношению к социально важному, хоть и практически бесплатному труду, такой эксперт пишет отрицательный отзыв, вынужденно подробно объясняя очевидное — что «быстрые разумы» определяют не через местонахождение в столице или, наоборот, в Вышнем Волочке.

Эксперт, идущий в ногу с эпохой, желает прежде всего сберечь свое драгоценное время. К тому же он озабочен возможностью мстительной реакции неизвестных собратьев. Поэтому на всякий случай он пишет краткий положительный отзыв, указывая на особую важность поддержки именно жителей Вышнего Волочка или Тобольска в их благородном рвении.

Через несколько лет успешно обретший степень за деньги, а гранты — благодаря всеобщему «пофигизму», выпустит монографию и выдвинет себя... а какая, собственно, разница, куда именно?

Недавно я наткнулась на словосочетание «прикормленная интеллигенция». Логика этой убогой мысли столь же понятна, сколь и оскорбительна. Другой слоган призывает всех нас «не надеяться на государство». А что, разве Резерфорд или Капица сами заработали деньги на Кавендишскую лабораторию?

Вопреки расхожим представлениям, современная наука не создается полуголодными энтузиастами. Чтобы всерьез заниматься *чистой* математикой, нужен отнюдь не только *чистый* лист бумаги — нужно ездить по миру, общаться с коллегами и непрерывно думать — думать о своей науке, а не о том, как на зарплату снарядить ребенка в школу.

Настоящая наука не бывает ни «арийской», ни «советской». Она также не бывает дешевой.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вл. НОВИКОВ

*

NOS HABEBIT HUMUS

Реквием по филологической поэзии

1. Тема и термин. Вступление-отступление о прозе

«(ФР) илологическая поэзия» — столь же нестрогое понятие, что и «филологический роман», которому была посвящена моя статья в «Новом мире» полтора года назад (1999, № 10) и к которому придется для начала обратиться вновь. Проблема «литература как филология и филология как литература» и в наступившем столетии еще долго будет сохранять свою актуальность, задевая за живое литераторов разного творческого склада и разных эстетических взглядов. Не могу не отозваться на самые впечатляющие из печатных откликов на предыдущую статью.

Мне трудно согласиться с Борисом Екимовым, который, судя по его «литгазетной» реплике, увидел в моей статье дискредитацию «филологизма», якобы ведущего к неминуемой скуке: дескать, такие романы способны осилить только кандидаты и доктора наук, а нормальные читатели могут быть свободны от этой напасти. Нет, филологичность — неотъемлемое свойство всей полноценной прозы конца XX — начала XXI века, и отечественной, и зарубежной. Само романное мышление сегодня включает в себя филологическую оглядку на историю жанра и требует от прозаика обширных знаний, предполагает культурный уровень уж во всяком случае не меньший, чем может дать систематическое филфаковское образование.

Еще труднее согласиться с Марией Ремизовой, написавшей в «Независимой газете» (2001, 24 января) буквально следующее: «Владимир Новиков, претендующий на изобретение термина „филологический роман“ (ну пусть его, нам не жалко), не так давно напечатал и собственный „Филологический роман“ (так и называется; „Звезда“, 2000, № 7, 8)». Ну, положим, роман называется абсолютно не так (см. биографическую справку). Что же до претензии на изобретение термина — то тут можно ответить, только повторив одну фразу из самого начала статьи «Филологический роман»: «Приступая к такому разговору, мы должны для начала выписать патент на самый термин „филологический роман“ Александру Генису, давшему именно такой подзаголовок своей книге „Довлатов и окрестности“». Конец цитаты.

Но не конец терминологическим разысканиям. Приходится отозвать патент, выписанный на имя А. Гениса. В только что вышедшем новейшем издании произведений Юрия Карабчиевского его знаменитое «Воскресение Маяковского» напечатано с подзаголовком «филологический роман», а в примечаниях Сергея Костырко сообщается: «Определение жанра — „филологический роман“ — появилось после совместной работы с редактором „совписовского”

Новиков Владимир Иванович — литературовед, критик. Родился в 1948 году в Омске. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Автор книг «Диалог» (1986), «В. Каверин. Критический очерк» (в соавторстве с О. Новиковой; 1986), «Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове» (в соавторстве с В. Кавериним; 1988), «Книга о пародии» (1989), «Писатель Владимир Высоцкий» (1991), «Заскок. Эссе, пародии, размышления критика» (1997), «Роман с языком» (2001). В «Новом мире» печатается с 1980 года.

издания Ольгой Тимофеевой». «Совписовское» издание 1990 года вышло все-таки без жанрового подзаголовка (извините за педантизм, но это так), однако мы имеем достаточное основание считать отныне изобретателями термина О. Тимофееву и Ю. Карабчиевского. Если, конечно, не обнаружится более ранний прецедент.

А. Генис же в свою очередь продолжил теоретическую разработку данного понятия. Стремясь доказать, что «филологический роман» может обойтись без вымысла, автор прилежно варьирует здесь популярные постструктуралистские постулаты (как же они пустоваты! и как устаревают на глазах!) типа: «Мы не придумываем — мы пересказываем чужое. Вымысел — это плагиат, успех которого зависит от невежества — либо читателя, либо автора»¹. Александр Мелихов однажды замечательно резюмировал, спародировав такого рода длинные рассуждения фразой: «Хромой утверждает, что время быстроногих прошло».

«Специфическая задача» филологического романа, по А. Генису, — исследовать «уникальность творческой личности» писателя, «попытка восстановить непостроенный храм», «опыт реконструкции», «фотография души» и т. п. Все это подходящие ориентиры для литературоведения и мемуаристики, но что в этом всем собственно романного? Можно, конечно, назвать «романом» любую интересную и хорошо написанную книгу, но все-таки «роман без вымысла» («без вранья», как у Мариенгофа) — это, по-моему, оксюморон с ограниченным диапазоном применимости. Писать роман — значит выдумывать. Душу человека (в том числе и писателя) невозможно «сфотографировать», ее можно только «нарисовать», с неизбежным творческим риском.

Сейчас, когда литература начинает преодолевать узкую жанровую специализированность, навязанную ей в советские годы, многие литературоведы-критики-филологи задумались о своем, так сказать, креативном самоопределении. Тут есть два пути. Один — взять да и написать вымышленное повествование, честно испытав свои возможности, а заодно и побывав в «шкуре» прозаика, что по-своему и познавательно, и поучительно. Другой путь — объявить романами свои «материалы и исследования» (кстати, если не ошибаюсь, «романом-исследованием» называлась довольно заурядная и подзабытая ныне книга Б. Бурсова о Достоевском). Оба варианта представлены в нынешней культурной ситуации. Второй, конечно, во много раз безопаснее первого, но, прибегая к приему остранения («остраннения»), я изобразил бы его так.

Помост для тяжелоатлетов. На нем лежит штанга, то есть тот самый творческий вымысел, который надо взять, осилить, выдержать. Вот выходят один за другим романисты и романистки (думаю, не обидит их такое сравнение): допустим, Маканин, Шишкин, Дмитриев, Уткин, Буйда, Волос, Улицкая, Славникова, Полянская, Толстая. Кто-то роняет штангу сразу, кто-то с мучительным усилием поднимает и держит над головой — в то время как судьи-критики еще придирчиво решают, взят ли вес. И вот в это время появляется на помосте блестящий журналист, эффектно поигрывая мускулами, поднимает вверх свои пятикилограммовые гантели и хочет быть причисленным к категории штангистов. Легкое журналистское письмо — ремесло по-своему необходимое, но от романного письма оно отличается природно. Как и легкая жизнь литературного журналиста от монашески жертвенной стези современного некоммерческого романиста.

Мое вступление обернулось отступлением. Но без него обойтись было нельзя, ибо ситуация с филологической поэзией по сути своей принципиально сходна с положением филологической прозы. Никаких дефиниций такой поэзии я давать не собираюсь, а специально для Марии Ремизовой подчеркну: сочетание «филологическая поэзия» придумал не я — оно, что называется,

¹ Генис А. Каботажное плавание. К вопросу о филологическом романе. — В кн.: «L-критика. Ежегодник Академии русской современной словесности (АРСС)». М., 2000, стр. 69.

рождено жизнью и носится в воздухе. Лучше обратимся к конкретному и наглядному примеру — стихотворению Тимура Кибирова из его книги «Юбилей лирического героя»:

Российские поэты
разделились
на две неравных группы —
большинство
убеждено, что рифма «обуян»
и «Франсуа» ошибочна, что надо
ее подправить — «Жан» иль «Антуан»...

Иван.
Болван.
Стакан.
И хулиган.

Относительно этого стихотворения все российские читатели неизбежно делятся на две неравные группы — 99,99 процента в этом тексте не понимают и не могут понять ровно ничего. Какой Франсуа? Какой Антуан? Зато для 0,01 процента (или даже меньшего числа) проблем нет. Всего-то навсего надо знать наизусть стихотворение Мандельштама «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» да припомнить еще воспоминания Семена Липкина о том, как он рискнул в разговоре с Осипом Эмилевичем покрикивать неточную рифму «Франсуа — обуян», предложив взамен «Антуан» или «Жан», за что был собеседником беспощадно обруган. Сведения эти не Бог весть какие уникальные, но, конечно, всякий, кто ими обладал к моменту встречи с произведением Кибирова, не может не ощутить приятного чувства причастности к элитарному культурному меньшинству. А какой дидактический материал для университетского преподавания! Прочитав стихотворение вслух на лекции и озадачив им несмышленных студиязусов, можно потом с удовольствием их просветить, порассказав и о Мандельштаме, и о Липкине, а по курсу «Введение в литературоведение» коснуться проблем рифмы, белого стиха и верлибра!

Вот уж образчик филологической поэзии в чистом виде. Заметьте, что в отличие от «просто поэзии» ее нельзя понимать «отчасти». Это вам не «Когда вы стоите на моем пути...», общую эмоционально-смысловую суть которого может уловить читатель, впервые в жизни столкнувшийся со свободным стихом и слыхом не слыхавший ни о какой Кузьминой-Караваевой. Нет, здесь либо — либо. Теоретически, конечно, и «простой» человек может приобщиться к загадке и разгадке кибировского текста. Для этого он, правда, должен обладать фантастической честностью — признаться себе самому в своем неведении, а потом попросить помощи у знакомого эрудита. Но в этом почти невозможном случае такой (такая) *tabula rasa* уже невольно превратится в начинающего филолога. Однако рассчитывать на подобную пытливость — утопия. Обратимся к культурной реальности: в телеигре «О, счастливчик!» популярная и интеллигентная тележурналистка (не простой зритель «из народа!») на вопрос, что такое «небрежный плод моих забав», еле-еле отвечает наугад с «помощью зала», а ведь это не далее чем тринадцатая строка произведения, входящего в школьную программу... Из «нашего всего», из пресловутой «энциклопедии»... А кибировского «Антуана», конечно, весь зал ни за миллион, ни за миллиард рублей не смог бы раскусить...

Короче говоря, есть такой вид поэзии, где и автор, и читатель — хорошо понимающие друг друга филологи-авгурь, а третий — лишний. Хорошо это, плохо ли, но имеет место такой упрямый факт.

2. «Невинная» поэзия, или Из жизни отдыхающих

Теперь я хочу обозначить противоположный полюс, отметить место, так сказать, диаметрально противоположное филологической поэзии. Память мне это место подсказывает — вот, к примеру, столовая Дома творчества в Пере-

делкине. За соседним столом дама прекрасного возраста потчует обедающих стихами собственного сочинения. Что-то там о природе, незамысловатые слова более или менее подогнаны к амфибрахию, мысли и образы — из традиционного фонда, без отсебятины и выпендрежа. На пари за один день две сотни строк такого качества и вы, и я навалием запросто. «Знаете, я в стихах ничего не понимаю, — раздраженно реагирует сидящий рядом с дамой прозаик. — Вон там сидит критик, специалист по поэзии». И предательски указывает на меня. Ну и нравы, думаю! А поэтесса охотно переключается на новую жертву: «Ах, вы критик... Я только одного критика знаю — Феликса Феодосьевича Кузнецова. Он меня в свое время очень, очень поддержал. Ему понравилось вот такое мое стихотворение...» После чего следует декламация.

И аппетит, и настроение безнадежно испорчены. Незлой ведь я по натуре человек, честное слово. Мне до боли жалко эту женщину, которая природой была предназначена для какого-то нормального житейски прагматического занятия, а свои стихотворческие способности могла бы успешно реализовать в стенгазетах, на банкетах, в сочинении обширных поздравительных эпопей и неотразимых застольных экспромтов. Ну зачем эти циники официально обозвали ее «поэтессой», обрекли на двусмысленно-призрачное существование, на презрительные смешки за спиной...

Тут грустные раздумья мои переключаются в плоскость общественно-политическую. Ведь таких женщин (и мужчин, конечно, тоже) и в Союз писателей принимали, и печатали *вместо* кого-то. Кузнецовым они были нужны, чтобы заменить поэтов настоящих, но «слишком» культурных, независимых, чтобы вытеснить «неуправляемую» поэзию — из печати, из страны, из жизни. Когда Мандельштам саркастически писал об «армии поэтов», он не знал еще, что власть действительно выстроит две-три тысячи государственных стихотворцев в шеренги, станет платить им по рублю за строчку независимо от качества и читательского спроса — при условии отсутствия политической крамолы и эстетских «закидонов». Чрезмерный «филологизм» отнюдь не поощрялся и позволялся ограниченному числу патентованных «чудаков». Этот противоестественный отбор и породил жутковатый тип профессионального стихотворца, интеллектуально необремененного, культурно «девственного» (как Иван Бездомный до встречи с Мастером), нацеленного на поденно-количественное производство строк, воспринимающего прозаиков, литературоведов и критиков как людей другой, чужой, профессии. Все они безнадежно путали божий дар с яичницей, то есть свое элементарное техническое владение пятью школьными размерами всерьез считали поэтическим талантом. Естественно, мы с вами их по доброй воле никогда не читали, но они составляли статистическое большинство, были навязанной сверху средней «нормой».

«Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном», — говорю я строкой Дмитрия Быкова, глядя, как на смену искусственному засилью стихотворцев-невежд пришло закономерное преобладание стихотворцев-грамотеев.

Замечу, что мы живем в ситуации, когда «ценностей незыблемая скала» начинает вычерчиваться заново, когда апелляция к общему для всех «гамбургскому счету» практически бесплодна — здесь я на сто процентов согласен с пафосом статьи Ирины Роднянской «Гамбургский ежик в тумане» («Новый мир», 2001, № 3). Единственный возможный путь — честный обмен откровенными и по возможности аргументированными субъективными оценками, совокупность которых со временем может приобрести объективное значение. Требовать от критики можно только внутренней честности и компетентной аргументации (не мифической «объективности»). Критик — не «начальник» литературы, а рядовой участник литературного процесса, имеющий законное право энергично поддерживать плодотворные, по его мнению, тенденции и столь же энергично подвергать сомнению явления, по его разумению, себя исчерпавшие. Ходасевич, к примеру, совершенно напрасно обижался на Тынянова за «Промежуток». Для поэта естественно ждать одобрения от эстетических единомышленников, а не от представителей противоположного фланга.

Этими трюистическими доводами я хотел бы упредить свои последующие и ни для кого не обязательные оценочные суждения.

3. Культурный ценз и питательная ценность

Итак, мы не против культуры, а очень даже за нее. И, оглядываясь на прошедшие 90-е годы, с чувством глубокого удовлетворения отмечаем несомненный рост общей культуры стихотворного письма. Ни в толстых интеллигентных журналах, ни в тонких малотиражных сборниках, издаваемых «Пушкинским фондом» или «Проектом ОГИ», при самом придирчивом взгляде не сыщешь того рифмованного вздора, которым славилась советская поэзия. Заметьте: критики давно перестали выдергивать отдельные строфы или строки и возмущенно их цитировать — потому что никто не дает такого повода, очень *защищенно* пишут. Нечего сегодня делать пародистам школы Александра Иванова: уже не попляшешь на смешной цитатке. Остался, правда, один музейный экземпляр — Евгений Нефедов, публикующий в газете «День литературы» очень советские пародии на новых поэтов, Максима Амелина например. Но об этом сатирике можно сказать только словами Жванецкого: «Товарищ не понимает».

«Procul este, profani» — начертано сегодня на вратах поэзии, и нет сюда входа ни профанам-рифмоплетам, ни профанам-читателям, не желающим «расти над собой». И наверное, это хорошо, что поэзия так сопротивляется духу стандартизации и «раскультуривания». Вкус — категория не только эстетическая. Бывают ситуации, когда вопрос о качестве стиха касается всех без исключения. Вспомним недавние споры о государственном гимне. Не хочется беречь эту нашу общую рану, но я держусь оптимистического прогноза: верю, что наш начинающий президент в обозримом будущем признает ошибку и согласится с тем, что негоже России иметь в качестве гимна текст графоманского уровня — бессвязный, сумбурный, несообразный с трехсотлетней национальной традицией русского стиха. А у традиции этой есть и стойкие защитники, и реальные продолжатели.

В 1997 году журнал «Литературное обозрение» отметил сорокалетие «филологической школы», имея в виду определенную общность питерских поэтов, сформировавшуюся во второй половине 50-х годов (М. Еремин, А. Кондратов, С. Кулле, Л. Лосев, В. Уфлянд и другие). Виктор Куллэ тщательно очертил контуры этого безусловно значимого литературного течения, а М. Айзенберг определил его как «помещенную в комнату расширяющуюся вселенную»². О роли каждого из названных «филологических» поэтов еще предстоит высказаться историкам литературы *прошлого* столетия, пока же можно констатировать: «расширение» действительно произошло, и «филологизм» стал теперь доминантой не только петербургской, но и всей русской поэзии.

Граница между поэзией и эстетической рефлексией стерта. Поэты выступают со статьями, доценты и критики — со стихами собственного сочинения. Причем и в стихах, и в статьях на первый план то и дело выходят вопросы словоупотребления и просодии, творческих отношений поэтов с коллегами и историческими предшественниками. Но не с этого ли все и начиналось? Разве не занимались нерасчленимой «поэтической филологией» Симеон Полоцкий и Кантемир, Тредиаковский и Ломоносов?

Филологический дух всегда располагал поэтов к философичности, к погружению в вечные тайны бытия, к сверхличной исторической памяти. И наоборот: мы наблюдаем процесс необратимой и справедливой «уценки» даже даровитых сочинителей, не изощрявших свой ум и стих в филологической лаборатории. Возьмем для примера Ярослава Смелякова, природную причастность которого к поэзии отрицать невозможно. Сегодня те семнадцать

² Айзенберг М. Литература за одним столом. — «Литературное обозрение», 1997, № 5.

страниц альбомного формата, что щедро отвел ему в своих «Строфах века» Евтушенко, смотрятся как курьез, если не как абсурд. Не проходит Смеляков ни в первый, ни во второй ряд русских поэтов XX века. Читая вузовский курс, я не имею даже трех секунд, чтобы его имя назвать студентам — не то чтобы процитировать: объективно вытесняют более значимые конкуренты. Ладно, авось не оставят его своим научным вниманием западные слависты с их странным повышенным влечением ко всему советскому. А у нас здесь истинная филологичность в основном все-таки вела *песню* в сторону *тайны* и *правды* (выделяю курсивом три ахматовских критерия оценки поэзии, зафиксированные мемуаристами).

Однако каждое благое веяние, каждый позитивный творческий вектор имеет свои объективные пределы. Сам по себе филологизм, взятый в чистом виде, еще не продуцирует ни песню, ни тайну, ни правду. Филология по-русски — «любословие». Не сомневаясь в том, что любовь к слову со стороны нынешней поэзии истинна и неподдельна, иной раз задумываешься: а как насчет взаимности? Ответил ли ей «великий и могучий» своим верным рыцарям 90-х годов?

Этот общий вопрос распадается на несколько более конкретных. Сколько было у нас за это десятилетие стихотворений-событий, таких, которые без усилия запоминаются наизусть? Да хоть отдельных строф... Да хоть отдельных броских «сочетаний слов», которые поэтам вроде бы надлежит искать «с беспечального детства». В интернетовском «Русском журнале» Егор Отрощенко ведет рубрику «Век-текст», где, в частности, систематически помещает «стихотворение года» — 1901, 1902 и т. д. Жду, когда молодой коллега доберется до последнего десятилетия, и очень надеюсь на его неожиданные находки. Пока же при взгляде на этот период испытываю ощущение недостаточной «питательности», пользуясь словечком Блока.

Чтение поэзии — это всегда духовная работа, и лично я принадлежу к тем читателям, которые всегда готовы настраиваться на волну читаемого автора, даже если это требует немалых усилий. Но если усилие не окупается — хотя бы частично — эмоциональным зарядом, получаемым взамен, общее ощущение «эстетического объекта» разваливается, рассыпается. Сегодняшняя филологическая (или по крайней мере «филологизированная») поэзия исполнена самых лучших намерений, но «выход продукции», на мой взгляд, свидетельствует о фатальном разрыве между теорией и практикой.

4. Конец центонной эпохи

Почему это происходит? Попробуем разобраться на материале самой характерной разновидности филологической поэзии. Нестрогий термин «центонность» лучше всего подходит для обозначения «интертекстуального» бума 80 — 90-х годов. Хотя бы потому, что само слово «интертекстуальность» уже буквально дышит на ладан. Подобно тому, как ни одна терминологическая новинка структурно-семиотической школы не дождалась до 2001 года, не стала необходимым элементом мирового эстетического языка, так и постструктуралистская двусмысленная лексика неизбежно останется явлением века минувшего. «В новейших концепциях интертекстуальности фактически отменяется диахроническое направление литературного развития; все произведения литературы располагаются не во времени, а в пространстве... — отмечает пристальный историк литературоведения Сергей Зенкин, — соседствуя и взаимодействуя благодаря работе читателя, совершающего произвольные путешествия по этому пространству»³. Иначе говоря, эмпирические поиски любых связей «между текстами» уведут в дурную бесконечность. Получше будет термин «палимпсест», поскольку за ним стоит древняя и внятная метафора, но наши поэты конца XX века со-

³ Зенкин С. Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. М., 2000, стр. 73.

здавали скорее все-таки не палимпсесты, а веселые центоны (от итальянского «centone» — лоскутное одеяло) из разноцветных цитат.

Центон в строгом средневековом смысле для русской поэзии оставался не более чем игрой на угадывание источников. Вроде: «Стишки для вас одна забава, / Которых надпись говорит, / Какой ценой купил он право / Писать о феврале навзрыд». Под «центонностью» же мы с некоторого времени стали иметь в виду такую систему стихотворной (да и прозаической) речи, где с любого места возможно использование, и притом без предупреждающих кавычек, чужого стиха. В 1990 году я назвал в «Литературной газете» Александра Еременко «создателем русской центонной поэзии», получив вскоре на титуле его книжечки «Добавление к сопромату» адекватный инскрипт-ответ: «От центона слышу!»

Да, почти все мы были тогда такими немножко сдвинутыми «центонами», сыпавшими цитатами к месту и не к месту. Такой была повседневная речевая культура профессиональных филологов, ставшая почвой для особого типа поэзии. Естественно, это поветрие исторически соотносимо с той традицией осознанного творческого обращения с *чужим словом* (это бахтинское выражение нравится мне гораздо больше, чем пресловутая «интертекстуальность»), которая явлена в «Евгении Онегине» и в «Поэме без героя». Хочу обратить внимание на то, что в подцензурной русской поэзии двух веков утонченная цитатность была прочно связана с вольнодумными политическими аллюзиями. Напомню: «цитируя» пушкинский прием отточий, Ахматова пишет в примечании номер двадцать один: «Пропущенные строфы — подражание Пушкину». В прижизненном издании 1965 года это было своего рода проверкой читателя на искусственность (понять ахматовский комментарий буквально могли только те, кого поэтесса называла «непугаными»).

Иначе говоря, генезис «центонности» был связан с тайнописью, с «симпатическими чернилами». Думаю, что Еременко как поэт не состоялся бы без присущего ему мощного вольнодумного потенциала, без его органичной «антисоветскости» и однозначного антисталинизма (на акrostихах Феликса Чуева с шифровкой «Сталин в сердце» он, как известно, ответил акrostихом, где читалось «Сталин в ж...»). «Центонность» Еременко была не просто двусмысленностью, между первым и вторым планом возникало сложное и многозначное третье измерение. Читатель призван был не только угадать подтекст, но и занять собственную позицию в конфликте — скажем, между текстами Мандельштама и Межирова («Ночная прогулка»), Высоцкого и Вознесенского («Я заметил, что, сколько ни пью...»). Самый авторитетный источник здесь осваивался *как материал*, «чужое слово» радикально трансформировалось и вовлекалось в сложную систему сравнений — как часть ноосферы, постоянно соотносенной с био- и техносферами. Опыт Еременко показал, что, помимо вольнодумно-крамольных аллюзий, центонной поэзии доступна и возможность прикоснуться к тайнам мироздания. Если при этом не изнувать прием и вовремя остановиться, что и сделал Еременко в самом начале 90-х годов.

Часто пишется «мост», а читается «месь»,
и летит филология к черту с моста.

Чтобы стать поэзией, филология действительно должна загреметь с моста, разбиться и воскреснуть. Или не воскреснуть. Еременко — поэт интенсивного склада, а в 90-е годы центонная поэзия продолжила экстенсивное развитие, создав безопасный, уютный канон, наиболее характерной реализацией которого стало творчество Тимура Кибирова.

Кибиров обладает редким ощущением и пониманием своего адресата. Он — профессиональный корифей большого самодеятельного филологического хора. Его читают и любят те, кто сочиняет стихи такого же типа, но с меньшим мастерством, а также те, кто стихов не пишет, но если писал бы, то именно так, как Кибиров. Про Пелевина специалисты по масскульту говорят, что он точно угадал читательскую target group. Кибиров попадает в свою ми-

шень не менее точно. Читателей тут, как всегда у стихов, поменьше, зато контингент качественный, отборный. Какой из поэтов двадцатого века сейчас наиболее престижен, о ком пишется больше всего статей и монографий? Правильно. Так получайте:

Дано мне тело. На хрен мне оно,
коль твоего мне тела не дано?

Простенько, но со вкусом и с подтекстом-интертекстом. Не плоско ли, однако? Есть ли у Кибирова диалог с Мандельштамом? Спросил — и устыдился своей бестактности. Автору и не нужны потусторонние связи — ему дороже диалог с реальными, живыми мандельштамоведами, уставшими от исследовательской работы и желающими культурно отдохнуть. Повторяю: здесь важен сам факт угадывания-неугадывания. Испытываю приятное ощущение профессиональной полноценности, когда меня просят расшифровать кибировские подтексты. Как кроссворд заполняешь — все так легко пересекается. Единственное, что не мог пояснить коллеге-слависту, — это строки «То березка, то рябина...». Музыка Кабалевского, а слова... Вот мне сообщили, что Пришелеца. Зато все остальное — пожалуйста. «Иль теток уважать возможно, / когда мне ангел не дала?» Да вы что, не узнали лермонтовское «Я не унижусь пред тобою...»? Только осечка с песенкой меня несколько сбила с панталыку и заставила задуматься: не является ли весь «классический» пласт у Кибирова таким же поэтически незначимым, сырым, творчески не освоенным материалом, как советские «то березка, то рябина», изначально не обладающие эстетической ценностью?

«На вопрос жестокий нет ответа...» Такой вот цитаткой ограничусь и пару слов еще скажу о сборнике Кибирова «Amour, exil...». Название удачное, в высшей степени «таргетное». При его помощи осуществляется своеобразный «тайтл-контроль» (по аналогии с «фэйс-контролем»): кто не понял — дальше обложки не пройдет. Сборник сам по себе — реализация старого присловья о постмодернизме — мол, постмодернист объясняется в любви по принципу: «Как сказал такой-то, я вас люблю». Героиня — Наташа, и у автора были все основания позвать в соавторы самого главного поэта. Поначалу есть некоторая веселость, дерзкая эротическая игра с языком: «...чтоб клятвенно руку на сердце твое положить... / Простите, конечно же, не на твою, а на Вашу». Но, посвященная одному чувству, книга вглубь этого чувства не движется. А все потому, что назойливые соавторы мешают: и виртуальный Пушкин, и все остальные. Щелкаешь семечки подтекстов, а меж тем ни «лирический герой», ни героиня раскрыться не успевают. Может быть, они этого и не хотели, может быть, подспудный замысел — это что-то вроде «в постели с Пушкиным» (помните юбилейный, 1970 года анекдот про трехспальную кровать «Ленин с нами?»).

Все, однако, познается в сравнении. Исчерпанность цитатно-центонной поэзии все-таки лучше показать на примере явной деградации. Таковую обнаруживают «Песни аутсайдера» Всеволода Емелина, которым «Независимая газета» щедро выделила две полные полосы (29.12.2000 и 19.01.2001). Вот начало стихотворения «О Пушкине»:

Застрелил его пидор
В снегу возле Черной речки.
А был он вообще-то ниггер,
Охочий до белых женщин.

И многих он их оттрахал.
А лучше бы, на мой взгляд,
Бродил наподобье жирафа
На родном своем озере Чад.

Думаете, меня что-то здесь шокирует? Да нет, уж не Емелину меня шокировать. Я просто показываю на этом примере, что в начале наступившего столетия вторично-цитатная поэзия утрачивает культурное достоинство.

5. Есть ли выход?

Есть, и даже целых три.

Первый — научное сложение центонов в подлинном смысле слова. Роль «античных» стихов здесь исполняет русская поэзия XVIII века. Таким чисто лабораторным трудом однажды занялся Максим Амелин. Практическое литературное значение этой несмешной игры лично мне пока не ясно.

Второй — использование пародического стиха для злободневных целей, возобновление «перепева» времен Минаева и Курочкина. Так работает Игорь Иртенев, остроумно облагораживая свой массовый жанр.

Третий — собственно пародия, причем возникающая неожиданно, в местах, для этого специально не отведенных. Почему бы и не передразнить славного предшественника, не слишком перед ним расшаркиваясь. В поэме Дмитрия Быкова «Военный переворот» вдруг выскакивает такая строфа:

Качество жизни зависит не,
Долбанный Бродский, от
Того, устроилась ты на мне
Или наоборот.

Здесь метко схвачены по крайней мере три элемента поэтики пародируемого автора: монотонная предсказуемость анжамбмана, холодный эротизм и рецептурно-дозированное употребление экстремальной лексемы (замененной эвфемизмом «долбанный»). Этот выход самый непростой, требующий культурной дерзости.

А выходить надо. Оставаться в этом выморочном пространстве просто невозможно. Поэтам, желающим перейти в двадцать первый век, а не торчать второгодниками («второвечниками»?) в двадцатом, придется выдавливать из себя по капле цитатное рабство. Как сказано в одном стихотворении, анонимно вывешенном в Интернете:

Но уже не светит путь кремнистый
Интертекстуальным пошлякам.
Выхожу я из постмодернизма —
Хватит прислоняться к косякам.

6. Слух и голос

Хорошо, что нынешние поэты читают друг друга (современные прозаики, между нами говоря, делают это редко). Хорошо, что поэты друг про друга пишут — вдумчиво, аналитично, с филологической рефлексией. Как это делают в «Новом мире» Владимир Губайловский в статье «Борисов камень» (2001, № 2), Сергей Завьялов и Валерий Шубинский в своем диалоге «„Мейнстрим” и мы» (2001, № 5). Любопытный факт: В. Губайловский (по образованию математик), сочувственно повторяя «антифилологические» эскапады Максима Амелина, также обзывая филологов «маньяками-потрошителями», всю оперирует стиховедческим инструментарием и уделяет внимание поэтической форме гораздо больше, чем профессиональные литобозреватели с филологическими научными степенями, которые сегодня, напротив, сосредоточены на «содержании», точнее — на наивно-буквальном прочтении текстов. И С. Завьялов с В. Шубинским нелегкий и большой вопрос о способе существования поэзии рассматривают не в соцбытовом, а в культурно-эстетическом аспекте.

Немало интересных мыслей в этих статьях, но во всех трех есть одно «узкое место» — это положительные примеры и соответствующие им цитаты. Восхищенное цитирование — самый легкий критический прием и почти всегда проигрышный. Пишущий о стихах колоссально «напрягает» читателя, когда принуждает его прямо сейчас, на месте, прочесть длинный текст и обрадоваться вместе с критиком. Куда действеннее критическая синекдоха — демонстрация маленького фрагмента, выражения, строчки. Лучше заманить

читателя, показать ему, как Дон Гуану, «узенькую пятку» текста, а там уж, как говорил Лепорелло, «воображение в минуту дорисует остальное». К целому тексту читатель сможет, если захочет, обратиться с глазу на глаз, интимно. Когда же стихотворение выставлено полностью напоказ, мы тут же начинаем раздраженно замечать его физические недостатки. Но для критической синекдохи, для крупнопланового фрагмента нужны сгустки, блестящие, а с ними в современной, ровно-культурной, поэзии туго.

Я сейчас отдельно перечитал «цитатную» часть трех статей. Все эти стихи сложены настоящими профессионалами — теперь это слово обозначает не зарабатывание стихами денег, а непритворную пожизненную верность поэзии как таковой. Везде за стихами стоит основательная эрудиция, культурный опыт. Ощущается научный подход к самому процессу версификации, причем на смену банальной «центонности» приходит сложное *цитирование ритмики* — античной, восточной, русской силлабики. Негативно процитированный С. Завьяловым Пригов с его банальным травестированием «Онегина» действительно смотрится здесь просто мешанином во дворянстве, совковым плебеем среди филологических аристократов. Ни одному из процитированных поэтов медведь на ухо не наступал — все обладает отличным филологическим слухом.

А вот насчет голосов, то есть индивидуальных интонаций, неповторимых языковых «идиолектов», дело, увы, обстоит не так благополучно. Филологическому стиху недоступны две эстетические крайности — виртуозный артистизм и речевая естественность. Он находится посередине, и, быть может, там его необходимое историческое место. Но стоит ли приписывать негромким и не очень эффектным голосам фантастический диапазон и богатство оттенков? Вместе с В. Губайловским я пристальнейшим образом прочитал стихотворение Максима Амелина «Ты в землю врастаешь, — я мимо иду...». Стихотворение вполне достойное, но характеристики типа «можно любоваться, как совершенным творением мастера», «чистым светом подлинной поэзии» кажутся мне не очень идущими к делу.

Мотив бесплодной смоковницы сам по себе обладает и для меня большой ценностью: я не язычник, не атеист и не дзэн-буддист. Но я не разделяю положения о том, что «поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божие» (Максим Амелин, «Краткая речь в защиту поэзии»). Я принадлежу к тем, для кого бытие Божие не нуждается в стихотворных доказательствах. Противоречие не фатальное, поскольку я уважаю чужие религиозные взгляды, рассчитывая на ответное уважение к своим. При всей сложности взаимодействия религиозного и поэтического сознания, мы, полагаю, можем сойтись на том простом положении, что сакральная тема может быть претворена с разной степенью глубины и совершенства.

С этой точки зрения в стихах Амелина мне не хватает именно того самого «звукосмыслового» единства, которое он считает признаком настоящей поэзии. Разговоры о том, что это единство «является особым живым организмом», недоступным пониманию «расчленителей»-филологов, представляются мне малоубедительной риторикой. Так никакой диалог невозможен: любой поэт может заявить, что его стихотворение — живой организм, а критик ответить, что организм этот не очень живой, а то и вовсе мертвый. Нет для серьезного разговора о поэзии иного языка, кроме филологического. Поэтому давайте немного о дольнике.

Амелин умеет избегать монотонности, старается не ступать в чужой ритмико-интонационный след, но в поисках новой эвфонии то и дело сбивается на какофонию. Сравнение искусства с бесплодной смоковницей, отмеченное И. Роднянской, действительно нетривиально, но в строках «...твоя предсмертные муки / искусство возвышенному сродни» слово «возвышенному» торчит, как оглобля, — и фонетически, и семантически. Это слово, на мой вкус, выбрано слишком случайно, а примеров прицельного выбора, когда работает внутренняя форма слова, высвечивается весь спектр его значений, я у Амелина, к сожалению, просто не нахожу. Стих у него работающий, натруженный,

мозолистый, но еще не подтвержденный языком. Стих этот нуждается в исполнительски-декламационном «вытягивании», сам по себе не воспаряет над бумажной страницей.

Высказываю свое собственное мнение, поскольку другого у меня, естественно, нет. Если Амелин искренне назвал свою книгу «Dubia», то одного сомневающегося читателя он нашел. Я в свою очередь готов усомниться в сказанном мной сегодня — если для этого явятся основания. Я уважаю филологическую поэзию за ее поиски, но не могу, не покрывив душой, назвать их находками.

7. О роли личности в поэзии

Синтез филологии и поэзии возможен и плодотворен в определенных пределах. Филология — дело сверхличное, здесь главное — уважение к преданию, точность факта, корректность аргументации. Поэзия всем этим может пренебречь во имя своих неконтролируемых целей. Филолог говорит с кафедры, а поэт — все-таки со сцены, с эстрады. Эстрадную поэзию, то есть модернистов 60-х годов, культурные поэты сейчас не жалуют. Тем более Бродский так не любил Евтушенко и Вознесенского, а Бродский — главный авторитет. Коварство поэтической истории состоит, однако, в том, что следование творческому примеру Бродского никого до добра не довело. «Последователи Бродского» — это надпись на братской поэтической могиле. Не выжил буквально ни один.

А была у нас еще и своего рода «филологическая эстрада», представленная прежде всего концептуалистами, и в первую голову — Приговым. Этот автор останется в истории русской поэзии как постановщик уникального эксперимента на тему: можно ли стать поэтом, не будучи им от природы, без всяких там требований к священной жертве? Оказалось, что можно. Репутация Пригова, его «литературная личность» — продукт коллективного бессознательного цинизма филологической тусовки, отечественной и зарубежной. Дескать, сделаем себе поэта из ничего. Такие вещи в искусстве неизбежны. Когда я вижу в гамбургском «Кунстхалле» инсталляцию из мешков с крупой и кофейными зернами, я понимаю: это *временный* экспонат раздела «Современное искусство» — на следующем витке моды он будет заменен чем-нибудь новым и столь же недолговечным. То же будет и с ошейником Кулика, и с картинами Пригова-художника вроде помещенной в раму страницы «Правды», и со стихами этого автора, уныло-натужными, квазисатирическими, лишенными даже эпизодического блеска и остроумия. Зря прогнозирует С. Завьялов, что школьников заставят писать сочинение «Поэзия Пригова: вызов позднесоветской лжи». Такое сочинение честно написать просто невозможно, и живущий не по лжи учитель его никому не задаст.

Но это уже архаика, а между тем выходит на авансцену новый тип эстрадного поэта, не нуждающегося в карикатурной маске «совка», дерзающего показать публике свое истинное лицо и говорить открытым текстом, прямой речью, не замызанной стандартной ироничностью. Я имею в виду Дмитрия Быкова и Веру Павлову. Оба не чужды филологической жилки. Быков еще в юные годы цитировал предсмертную фразу Василия Львовича Пушкина («Как скучны статьи Катенина!»), прихотливо разрезая ее анжамбманом. Павлова осуществила вполне филологический эксперимент по форсированному употреблению обсценной лексики в женской поэтической речи, занесла свой рекорд в Книгу Гиннеса и вовремя сменила пластинку (подчеркну: перемена пластинки в современном поэтическом процессе — вещь редкая; большинство стихотворцев заигрывает свою изначальную манеру до дыр).

Оба названных поэта — осознанно или нет — подключились к энергетическому источнику шестидесятнического модернизма. Оказалось, что там есть еще ресурсы. Тема «со мною вот что происходит» нашла у Быкова человеческое, свободное от политических спекуляций развитие. А что до Павловой, то вот пара параллелей:

Я, Павлова Верка,
сексуальная контрреволюционерка,
ухожу в половое подполье...

(В. Павлова. 2000)

Моя бабушка — староверка,
но она —
научно-техническая революционерка.
Кормит гормонами кабана.

(А. Вознесенский. 1973)

между
биографией и автобиографией
между
географией и библиографией
между
порнографией и агиографией...

(В. Павлова. 2000)

между Беллой и Новеллой...
между Польшей и Китаем...

(Ю. Мориц. 1980)

О модернистах-шестидесятниках трудно говорить, абстрагируясь от внешнерепутационных аспектов. Это уже чисто академическая задача — определить роль и место Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Мориц в истории поэзии XX века. Замечу только, что эти разные поэты каждый по-своему любили слово и, положа руку на сердце, не были обойдены взаимностью. Кое-что из их опыта еще может найти применение. Скажем, ассонансная рифма, утраченная в постмодернистскую эпоху. Все-таки, что бы там ни говорили, по одной только рифмовке «Литературой *мы дышали...* и говорил о *Мандельштаме*» когда-то можно было констатировать эстетическую полноценность стиха. Ассонансная рифма доступна только талантам, а грамматическая — любому из нас. В нынешней же филологической поэзии рифма просто поэтически не значима, и это, прямо скажем, обедняет стих. (Вопроса о том, сколько еще можно безнаказанно рифмовать «день — лень» и «ты — мечты», неизбежен ли переход к свободному стиху, я сейчас не касаюсь — это особая тема.)

Павлова и Быков вслед за своими предшественниками выходят к «нормальному» читателю и слушателю. Поварившись в собственном соку, туда неминуемо устремится и филологическая поэзия, уставшая от слишком интимного контакта с «ограниченным контингентом». Тогда, впрочем, уже и эпитет «филологическая» отпадет от нее, как омертвевший эпителий.

Nos habebit humus⁴, говорю я, подводя итоги филологического стихотворчества последнего десятилетия. Можно было бы выкинуть из песни слово «nos» и заменить его на «vos», однако не хочу этого делать, ибо под местоимением подразумеваю и стихотворцев, и читателей — ту самую «среду, с которой я имел в виду сойти со сцены, и сойду». Но, уходя в землю, в гумус, филологический стих, уверен, послужит добротной почвой для дикорастущей, свежей и смелой «надфилологической» поэзии нового века.

⁴ Нас возьмет земля (*лат.*) — из старинной студенческой песни «Gaudeamus igitur».

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

*

ЭКСПАНСИЯ

Опыт обозрения актуальной книжной серии

Если книга есть в значительной мере автопортрет персоны, ее написавшей, то книжная серия — всегда портрет читателя, собирательный, но оттого не менее правдивый. Люди в метро, уткнувшиеся в выпуск «Черной кошки» или очередного «Очарования», не догадываются, что на глазах у всех смотрятся в зеркало. Вообще глядение в зеркало — процесс интимный и допустим прилюдно, только если человек при параде, где-нибудь в ресторанном либо театральном фойе, хотя и в этом случае предпочтительнее дамская либо мужская комната. Поэтому лично я не читаю в транспорте ничего такого, что могло бы служить для окружающих моей характеристикой. Вообще книжная серия — вещь коварная: издатель как бы дает читателю гарантии его идентичности, но далеко не всегда выполняет взятые на себя обязательства, а иногда и просто «кидает», пользуясь тем, что читатель, покупающий книгу, ее еще не читал.

Успех петербургского издательства «Амфора», чьи фирменные длинные томики проникли за последний год во все капилляры книжной торговли, обусловлен именно тем, что здесь не обманут. На рынке наблюдается буквально экспансия «Амфоры», взявшей на себя удовлетворение существенной части спроса на интеллектуальную книгу. В зеркале серий «Новый век», «Миллениум», «Славянский шкаф», «Эврика», «Гербарий» читатель видит себя неизменно с лучшей стороны. Понятно, что с переводными книгами работать легче в том смысле, что почти всегда имеешь дело с апробированным качеством. Серия «Наша марка», публикующая современную отечественную прозу, — гораздо более рискованный проект¹. Причины понятны: литературный процесс, из которого черпает издатель, неотфильтрован, и всегда существует опасность принять желаемое за действительное. Однако пока, насколько могу судить, провалов вкуса в серии не произошло. Я имею в виду провалы ниже некоей весьма высокой планки, с запасом заданной романом Павла Крусанова «Укус ангела» — с которого, как мне кажется, все и началось.

«Укус ангела», имеющий формальные (и преодоленные качеством прозы) признаки популярного жанра фэнтези, важен тем, что автор едва ли не первым в нашей современной литературе сделал образ русского Наполеона. Известно, что все отечественные военачальники, от Суворова до Жукова, имели над собой Государя либо Генерального секретаря, что сильно сковывало полководческий и мистический потенциал этих незаурядных фигур. Главный герой «Укуса ангела» Иван Некитаев, подобно Бонапарту,

Славникова Ольга Александровна — прозаик, эссеист, литературный критик; автор романов «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале» и многочисленных статей о современном литературном и культурном процессе.

¹ Вот изданные в этой серии книги, о которых пойдет речь: П. Крусанов, «Укус ангела» (2000); В. Лапицкий, «Борхес умер» (2000); А. Левкин, «Цыганский роман» (2000); А. Секацкий, «Три шага в сторону» (2000); С. Носов, «Хозяйка истории» (2000); В. Назаров, «Круги на воде» (2001).

становится императором не по династическому праву, а потому, что он «меченый», то есть «истинный» по своей предопределенной судьбе. Однако русский Наполеон куда опасней европейского: он не вполне человек. По мере того как расширяются границы империи, завоевателю становится все более чудно все человеческое, он словно теряет себя в растущих пространствах — то есть свойство всякого русского быть затерянным в просторе гипертрофируется. Сверхусилие империи быть больше себя будит разрушительные силы, с которыми никто не может совладать. Прописывая сюжет как магическую фантазию, не чуждаясь и литературных аллюзий (понятно, что князь Кошкин — это альтернативный князь Мышкин), Крусанов на самом деле ставит эксперимент с подавленной русской пассионарностью. Лишенная стабилизаторов, история государства Российского на пике могущества и расцвета всегда чревата катастрофой; экспериментальная модель русского Бонапарта, показанная в романе, символически реализует катаклизм.

Роман «Укус ангела» (чьи реальные достоинства имеют не так много общего с тем поверхностным прочтением, благодаря которому книга сделалась хитом), видимо, придал издателям храбрости и соблазнил их поиграть мускулатурой: серия современной русской прозы была запущена. Открыла «Нашу марку» («Укус ангела» вышел еще в «Новом веке», а в новой серии был только переиздан) книга Виктора Лапицкого «Борхес умер». Тут следует сказать, что серия с самого начала оказалась ретроспективна. Двигаясь вперед и публикуя новые вещи, издатели одновременно шли назад и, так сказать, отдавали долги. По понятным причинам в сфере интересов «Амфоры» оказались прежде всего петербургские андеграундные писатели и тем самым — Петербург. Благодаря «Нашей марке» рельефней проявилось некое общее поле, в котором сама по себе существует и сама себе наследует интеллектуальная питерская проза. В беглом критическом обзоре это поле может быть описано по-простому как совокупность тем — обладающих, однако, не меньшим запасом движения, нежели те круговые *прирученные*, по слову Набокова, темы, которыми он, как паук муху, оплетал своего небольшого прирученного Чернышевского.

Первое, что видно, — это тема *ангелов*. Если у Крусанова ангел целует избранного смертного со страстным прикусом, после чего смертный отправляется выполнять метафизическую миссию, то у Лапицкого это опасное существо ведет с героем (автором?) странный тактильный диалог: в результате слияния пальцев человека и существа (таково условие игры) образуется замкнутая Вселенная, полная авторских фобий — во многом литературных. Вообще рассказы Лапицкого стоило издать по двум причинам. Во-первых, у этой прозы есть ряд пластических достоинств. Лапицкий умеет задавать условия игры: придумывать фантастические обстоятельства, из которых развиваются парадоксальные следствия. «22 июля ровно в четыре часа заработали все радиостанции, а точнее, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и т. п. всех семи земных континентов, и какой-то голос (совсем не Америки) в кратких и ясных выражениях сообщил, что отныне любой человек, сказавший слово СТОП, полностью и бесповоротно исчезнет». Результаты оказались разнообразными и очень далеко идущими (так далеко, что автор, чтобы добраться до внятного финала, вынужден был делать большие разрывы в своих придуманных причинах и следствиях). Наиболее точно найдены некоторые культурные феномены нового странного мира: так, запретное «СТОП» заменило собой слова из трех и более букв, традиционно вносящие лифты и стены подъездов. В рассказах Лапицкого вняты генетические связи с мировой литературой фантазмагорий (для меня наиболее очевиден не Борхес, но Кафка) — что расширяет «силовое поле» этих небольших по объему текстов. Лапицкий сосредоточен на том, что прикосновение к неизвестному дает человеку наивысшее одиночество: никакие сюжеты личностных и общественных от-

ношений не могут породить столь абсолютного переживания, такого метафизического ужаса перед присутствием *иного*. По Лапицкому, человек человеку ангел — при этом из ангельского изъяты положительные коннотации, на первый план поставлена жутковатая *инакость* другого существа.

Вторая причина, по какой рассказы Лапицкого должны были появиться этой книгой, заключается в том, что бессюжетную фантазмагорическую литературу восьмидесятых надо было увидеть сегодняшними глазами и верно ее оценить. То, что пятнадцать — двадцать лет назад представлялось силой и свободой литературы (большую роль играла оппозиция «жизни в формах самой жизни»), сегодня выглядит упражнением в субъективности. Тексты Лапицкого весьма сходны с теми, что некогда составили так называемый экспериментальный номер журнала «Урал» (1988, № 1). Совпадает и время написания, и — что закономерно — эстетика. Комбинирование воображаемых предметов и обстоятельств порождает ряд любопытных эффектов — но при этом понимаешь, что сам язык и наработанная литературой «вторая реальность» настолько богаты, что в любом случайном сочетании вещей можно усмотреть мерцающий смысл. Особую ценность в восьмидесятых представляли, насколько я понимаю, фигуры кошмаров: видимо, тогда казалось, что кошмары есть феномены наиболее глубинных слоев человеческого «я». Сегодня видно, что такая проза безмоторна, она лишена опорно-двигательного аппарата. При всей субъективной сложности восприятия коллаж на самом деле есть упрощение прозы, его достоверность может быть обеспечена единственно способностью литератора хорошо описывать то, что видится ему под закрытыми веками. У Лапицкого эта способность развита весьма, поэтому его литература не осталась полностью там, где некогда резвились «неформалы», пугая добропорядочных редакторов своими словесными коктейлями. Книгой Лапицкого, однако, экспериментальная темноговорящая проза, черпавшая свою энергетику в оппозиции официальной советской культуре, оказалась полностью закрыта.

Андрей Левкин, выпустивший в «Нашей марке» сборник повестей и рассказов «Цыганский роман», тоже родом из восьмидесятых. Некогда редактируемый им журнал «Родник» был обитаемым островом отечественной внесоветской словесности. Тем не менее Левкин продолжает быть актуальным (о чем свидетельствует хотя бы параллельный выход в питерском «Борей-арте» другой его книги с другими рассказами, называющейся «Двойники»). Видимо, причина в том, что Левкин всегда принадлежал не столько времени, сколько самому себе. В «Цыганском романе» понимающий читатель найдет немало отзывов тех или иных литературных мод и вообще умонастроений, бывших и ушедших за последние пятнадцать лет. Помню из студенческих времен специфическое отношение к свалке — как, что ли, к культурному слою, в некоторой, что ли, оппозиции культуре склада и магазина, где властвовал сильный бес под названием «блат». У Левкина романтика кладоискательства в местах, отдаленных от общества, зафиксирована в рассказе «Свалка». Рассказ не устарел потому, что в комплекте с «неткой» — отпечатком времени — читателю дается правильное зеркало: свалка у Левкина есть остров сокровищ — то есть буквально остров, окруженный болотом и рвом, где, по закону всех островов, герой остается надолго, если не навсегда. Помню и другое модное поветрие: культ личности Шерлока Холмса, энергично развиваемый Славой Курицыным, некоторое время даже ходившим, в подражание кумиру, с какой-то тростью. У Левкина в рассказе «Август, тридцать первое» Холмс живет на рижской улице Яуниела, где снимался известный телевизионный фильм. Поскольку на той же самой натуре снималось и еще много чего («Семнадцать мгновений весны», «Посол Советского Союза» и так далее) — ежедневная жизнь улицы Яуниела представляет собой бесконечный замкнутый круг одних и тех же киноэпизодов, сквозь которые робкими призраками проходят живые туристы. Холмс у Левкина запечатан в риж-

ской квартире, будто дух в сосуде, — при этом квартира и дом несут все черты неухоженного советского быта. Виртуальная кинокоммуналка в рассказе создает ощущение тесноты поддельной советской Европы и безысходности наших лучших киноиллюзий — что намного превышает задачи, стоявшие некогда перед модой нескольких канувших в Лету литературных сезонов.

Тема *ангелов* отчетливой всего возникает у Левкина в текстах уже московского периода. Повесть «Русская разборка» — лирико-мистическая хроника вживания автора, перебравшегося в Москву из ближнего зарубежья, в новую российскую действительность. Может быть, главная психологическая проблема героя текста — в том, что им никто особо не интересуется, все заняты своими делами, деньгами, проблемами. Компенсируя эту странность (герой из прошлого советского опыта знает, что им, иностранцем, должны интересоваться какие-нибудь органы), ему являются «российские государственные ангелы», которые и осуществляют «вписку» персонажа. «На каждого, кто попал на нашу территорию, заполняется формулярчик. И резюме — оставить или выкинуть. Покруче, чем в ментах регистрироваться. Можешь оставаться, радуйся».

Эти нереальные существа так же существенны в ткани новой российской реальности, как и обычные люди в московском метро: «Что можно обнаружить в России, как только ее увидишь? Конечно, редкую обособленность, даже и не обособленность, а, что ли, проявленность всех и каждого». Несмотря на нестеснительную, вдруг обретенную москвичами способность быть самими собой и в собственном качестве представлять наблюдающему взгляду (тут мы исподволь подходим к теме *шпионов*), жизненная ткань, которую автор пытается пощупать, помять пальцами, все-таки слишком легка и дырява и не очень понятно, из чего состоит. Характерны эти авторские оговорки, постоянные уточнения, возвраты к сказанному: именно такое заикание только и способно описать процессы, слюхо состоящие из частностей. Если и есть в постигаемой реальности что-то общее для всех, то, что внезапно сводит к общему знаменателю пассажиров метро, — это, конечно, кризисы. В рассказе «Тут, где плющит и колбасит» Левкин пытается уловить, поймать в словесные ловушки те сдвиги реальности, что предшествуют и сопутствуют переменам во власти — нашим небольшим учебным катастрофам. Левкин видит, как подрагивают камушки городского калейдоскопа, прежде чем обрушиться и сложиться в какой-то новый, непредсказуемый узор — частично состоящий из осколков рухнувших надежд. Ангелы в этом *дырявом*, нуждающемся в домысливании мире столь же необходимы, как и зверь Годзилла, который «тут всегда уже вышел или уже идет». В чем функция Годзиллы? «Кто-то, короче, время от времени выходил из лесу и производил набеги на некоторые, условно говоря, умственные и прочие культурные нивы и посевы государства». Годзилла, как и ангел, есть условная величина, некий икс, подставляемый в формулу реальности, чтобы эта формула была не совсем бесформенна и что-то обобщала. Грамматическое прошедшее время в данном случае ничего не значит: проза Левкина построена так, что случившееся раз тем самым случается всегда.

Выбирая позицию для работы с материалом, Левкин разрывается между полной, *иностранной* отстраненностью (в тексте его не случайно всплывает классически «посторонняя» фигура Адольфа де Кюстина, видимо, все еще раздражающего наш культурный нерв, раз не только Левкин, но и чуткий Кобрин обращается к автору «России в 1839 году») — и максимальной приближенностью к фактуре. Местами Левкин просто-таки утыкается носом в описываемую вещь и видит буквально поры в нежной плоти творожного сырка. Это говорит о том, что для Левкина не существует нормальной, *общегражданской* точки наблюдения за жизнью, потому что он чужой среди своих. Шпионство Левкина отмечал в предисловии к книге

Курицын, и он же обратил внимание читателя, что левкинские ангелы-гэбисты — тоже, по сути, шпионы. Иными словами, к автору всегда приставлена «наружка», а он в свою очередь шпионит за не принадлежащей ему действительностью. Увлекательная игра «в чужого» не позволяет замыливаться писательскому взгляду там, где повседневно втягивает и присваивает наблюдателя, превращая его в собственный частный случай. Может быть, самая большая проблема сегодняшнего литератора: как делать прозу из того, что описано в газете? Андрей Левкин для себя эту проблему отчасти решил: он — неприсоединившийся нелегал, его инструменты — лупа и подозрительная труба.

Книга Александра Секацкого «Три шага в сторону» представляет собой приятный раздражитель для философски скроенного ума. Самая беллетризованная часть интеллектуальной трилогии — роман «Моги и их могущества», похоже, сильно повлиявший на мифологию постперестроечного Петербурга. Моги — некие сверхлюди, получившие могущество из простейшей, но глубоко прочувствованной формулы «Я могу». Путь мога противоположен пути Логоса — научного познания мира. По Секацкому, Логос есть обходной путь, по которому, к несчастью, пошло развитие человечества. По жизни моги (в центре романа — некое Василеостровское могущество) — какие-то, видимо, сторожа в котельных и им подобные маргиналы. Понятно, что перед нами фантастически преломленная питерская андеграундная культура. Практику мога можно прочесть как практику художника, в частности, литератора. Перехватить управление у самого Творца — такова сверхзадача могов, и к этому же в пределе стремится писатель. В финале романа танец могов уничтожает мир — не потому, что моги злые волшебники, а потому, что такова логика «перехвата». Литература также несет не одно только разумное, доброе и вечное. Подчиняясь собственной логике развития, она имеет деструктивный потенциал и наносит обществу весь вред, какой способна нанести. Роман «Моги и их могущества» стоит читать потому, что он поощряет кураж у дерзких людей: эффект из разряда побочных, однако ценный и редкий по нынешним временам. Думаю, что моги в романе Павла Крусанова — это «секацкие» моги. И введены они в «Укус ангела» не только ради литературного жеста, но и как некий витамин, требовавшийся автору для входа в ОС — Основное Состояние, необходимое писателю и могу, чтобы *мочь*.

Что касается темы шпионов, то она разработана у Секацкого в тексте «Шпион и разведчик: инструменты философии». Танцуя на разных философских «полях» (более всего оттягиваясь на, естественно, Хайдеггере), Секацкий пишет об экзистенциальном шпионаже как о способе взаимодействия человека и бытия. Всякое человеческое существо забрасывается в этот несовершенный мир, имея «шпиона-в-себе»: последний позволяет дистанцироваться от навязанного порядка вещей и сохранить себя подлинного — правда, лишь до того плачевного момента, когда разведчик перестает ориентироваться, где «чужие» и где «свои». Перед нами современный текст, где беллетристика вытесняется эссеистикой. Для такого текста важно быть не пустым, то есть иметь дело не с мелким вопросом — плюс обладать гибкостью мысли и языка, чтобы сплести вокруг проблемы собственное кружево. Все это есть у Секацкого. На мой вкус, книге «Три шага в сторону» не хватает интонационного разнообразия: вся она «проговаривается» одним и тем же серьезным, несколько наставительным авторским голосом, и отдельные фишки (например, придуманный для могов профессиональный жаргон) не меняют общей картины. Однако никакому автору нельзя предлагать стать более «веселым», если он не является таковым.

Автором «Нашей марки» стал и Сергей Носов, в прошлом году награжденный за роман «Член общества, или Голодное время» дебютной премией журнала «Октябрь». Вероятно, когда читатель получит в книжке «Нового мира» данный обзор, «Член общества» уже успеет выйти в «Ам-

форе» отдельной книгой. Сейчас же мы говорим о романе Носова «Хозяйка истории». Перед нами пародия на мемуары всяческих засекреченных гэбистов, которые тучами выходят в книжных сериях типа «Совершенно секретно». Но не только. Носов «подловил» советскую власть на самой сокровенной ее метафизической глупости. Наша Софья Власьева всегда была старая дева, и стародевическая эстетика стала эстетикой всех важнейших государственных институтов, в том числе и силовых. Стародевичество проявлялось еще и в том, что вовсе без эстетики власть обойтись не могла и ничего не делала в простоте. Понятно, что область сексуальной власти претила. А тут случилось вот какое дело: некто Ковалева Е. В. обнаружила пророческий дар, проявляемый не как-либо, но в момент оргазма. Дар этот оказался необычайно ценен для Кремля: стоило перед актом настроить Ковалеву на нужные мысли — и она выдавала прогнозы по любому вопросу, от исхода переговоров Китая и США до урожая зерновых. В этой связи чины КГБ — тоже «старые девы» — были вынуждены разрабатывать «сексуальное» направление, в которое, в частности, входил поиск новых пророчиц методом, естественно, проб и ошибок. Все это получилось у Носова безумно смешно: его шпионская тема — необычайно едкий гротеск.

Но писатель не был бы писателем, если бы не сделал шаг, отделяющий смешное от великого. «Хозяйка истории» — это еще и про любовь. Первый, любимый муж пророчицы (естественно, гэбист) умирает в тот момент, когда пытается узнать у жены время и обстоятельства собственной смерти. Второго мужа ей дают: им оказывается некто М. Подпругин. Это родной сын советской власти, поскольку глуп наследственной глупостью — при всей своей добросовестной эрудиции, которую в мемуаре охотно демонстрирует. Ковалева еле терпит Подпругина, а он... После многих лет он встречает Ковалеву, ставшую американкой Элизабет Стоун, где-то в Швейцарии: «Но ведь я не смеялся. Над чем мне смеяться? Над прожитой жизнью? Над неразделенной любовью? Вот он, момент истины, о котором столько написано!.. Неожиданно для себя самого осознал я в этот миг полноту моего окаянного чувства — чувства вздорного, сильного, яркого, нежного, хрупкого, как хрусталь... Я едва не заплакал». М. Подпругин, в новом времени «общественный деятель» (что еще более пошло, чем офицер КГБ на сексуальном дежурстве), — это такой Грушницкий, в котором, по известному выражению Печорина, даже отчаяние смешно. Однако отчаяние — подлинное, и Носов сделал это за счет точнейшего стилистического контраста между основным массивом мемуаров Подпругина и последней главой.

В «Нашей марке» на момент написания данного текста есть еще по меньшей мере одна книга, без упоминания которой картина была бы неполна. Я имею в виду роман Вадима Назарова «Круги на воде». О нем надо сказать не потому, что Вадим Назаров, собственно говоря, издатель всего, о чем тут говорится, и обойти его литературный труд было бы, скажем так, невежливо. Просто эта книга помогла мне отчасти преодолеть нелюбовь к библеизмам в литературе. Назаров обходится с библейским материалом как с материалом семейным. Своеобразная достоверность книги строится на чувстве родственности, которое автор испытывает к горным существам. Это чувство интимно, переплетено с самыми странными детскими воспоминаниями, едва выходящими из младенческого сумрака: у героя это обозначено как минута *ледяная* и минута *волчья*. Сестра героя Марина знает у себя одну «родинку в излучине губ», что досталась ей от предка-ангела. «Сто тысяч моих предков умерли, — подумала Марина, — целый город покойников, но Ангел, который вошел к Адамовой дочери, жив до сих пор».

Как справедливо отметил в послесловии к книге упомянутый выше Александр Секацкий, «Круги на воде» — роман очень петербургский. «Я провел по лицу ладонью и сквозь пальцы увидел: Поместный Ангельский

Собор на ярусах Исакиевского, строгие книжники Синода, легкомысленный Гений триумфальной колонны, Александриец, попирающий змея. Всюду мне открылись знаки горнего присутствия». Изображения ангелов в архитектуре Петербурга присутствуют так же естественно, как в частном жилище — семейные фотографии. Иными словами, Петербург есть дом ангелов, их *частное место* — насколько вообще может быть частным для горних существ земной населенный пункт. В романе с автором происходит примерно та же вещь, что с героем набоковского рассказа «Катастрофа»: «Верхние ярусы и крыши домов были дивно озарены. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающиеся к небу золотые, нестерпимо горящие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть, и Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих храмов, повисших в вышине». Известно, что за секунду перед тем, как все это увидеть, герой рассказа умер. Обычным, земным зрением Марк наблюдал только «купола, столбики, — которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят вверх», — но и это видел потому, что был счастлив, ехал к невесте. Каким-то образом писатель может при жизни обрести потустороннее зрение — и сила этого зрения возрастает многократно, если в преображении, имеющем явственный привкус смерти и небытия, участвует счастье. Мне кажется, что роман Вадима Назарова — книга *счастливого* человека, в этом секрет ее воздействия.

— *Вы хотите курить, как я вижу?* — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — *Вы какие предпочитаете?*

— *А у вас разные, что ли, есть?* — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— *Какие предпочитаете?* — повторил неизвестный.

— *Ну, «Нашу марку»,* — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

— *«Наша марка».*

Мне почему-то кажется, что в «Амфоре» выбирали название серии, имея в виду и этот известный булгаковский диалог. Смысл очевиден: «Наша марка» — везде.

Екатеринбург.



РУССКАЯ ЛЕГЕНДА. ОБЗОРЫ

СЕГОДНЯ. ЗАВТРА. ВЧЕРА

Светлана Шенбрунн. Розы и хризантемы. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 665 стр.*

Большая банкетная зала в столичном пятизвездочном отеле. Массивные овальные столы на десять — двенадцать персон, небольшая овальная же эстрада у задней стены в центре зала. Деловитые приуставшие люди, усевшись за столы, ждут развязки буковской интриги — и конечно же буковского ужина.

Светские и профессиональные разговоры слегка подогреты коктейлями. От стола к столу бегают «осведомленные» и просто взъерошенные леттермены. Кое-где за столами затевают игру в предсказания. Шуршат шепоты — номинанты сидят тут же. Вдруг в левом углу залы нечаянно громко вскрикивает тенор: «Шиш-кин!!» В два удара, как шарик о столешницу пинг-понга.

А по другую сторону от входа, шипя, раскатывается пушечным ядром: «Шен...ннн-брунн»... Основные соперники из шести первых?

Нам объявили: лауреат — Шишкин. Все похлопали. Можно спокойно доесть и двинуть к выходу. В вестибюле каждому гостю подарили шесть изящных томиков — лучших претендентов на Букера — спецвыпуск «ИНАПРЕСС». Что ж, Шишкин так Шишкин¹.

Но я — о Светлане Шенбрунн.

Шенбрунн... Это название городка в Австро-Венгерской империи. Он упоминается у Толстого в описании военной кампании 1805 года — ассоциации со звуком выстрела не зря приклеились к этому имени. Отец Светланы Шенбрунн — журналист, военный корреспондент, советский писатель 50-х годов. Псевдоним — Павел Шебунин. Светлана Шенбрунн в середине 70-х эмигрировала в Израиль. Постепенно она сделалась заметной фигурой израильской культурной жизни. Русскоговорящим израильским читателям, а также кое-кому в России она известна своими русскими переводами литературных произведений, написанных на иврите. Ее единственная большая книга «Розы и хризантемы» (она может оказаться томом первым, но неизвестно, будут ли подготовлены к печати и изданы дальнейшие тома) была переслана в Россию где-то в начале или середине 90-х годов, но по некоторым, видимо не совсем случайным, причинам оказалась востребованной только в 2000 году. Книга Шенбрунн во всем иноприродна сочинению лауреата Шиш-

* Основной тираж книги вышел в 2000 году в издательстве «Текст».

¹ Чисто типологически выбор буковского жюри выглядит несколько устаревшим. Стилистический дар у автора достаточный, чтобы держать на плаву любую взятую им в работу «версию», из которых состоит его повествование. Книга Шишкина казалась бы блистательной в конъюнктуре 1995 — 1997 годов. Аборигены разрушают Россию (а кто строил?), автор деконструирует роман... Но к 2001 году, к эпохе увядания «ящика», превращения видеопросмотров в обыденное семейное развлечение и спада надежд на появление новых сияющих гениев в Интернете, литература (как и театр, и, возможно, кино) вновь начала набирать достоинство. По крайней мере у нее появился на это шанс. Почему же буковское жюри именно шишкинский текст сочло лучшим из тех десятков произведений, что ему пришлось прочитать? Ну, для начала произведения такого, по видимости, сложного, заманчиво-непонятого жанра гораздо вероятнее могут прельстить критиков и западных славистов, чем то, что написано аборигенами и интересно для нас — аборигенов. У Шишкина в активе стилистические игры, историко-философские штучки, философские подначки: «Так называемый тварный мир течет и бесплотен. Сегодня вы здесь, стряхиваете перхоть с плеч, а завтра — где вы? Другое дело слова...» Ну и так далее. И еще за Шишкина доводы гуманности. Молодой и способный автор попал в ловушку. Уехать-то он из нехорошей России уехал, а ничего другого, как писать русские романы, не может. Как с ним поступить в таком случае? Вот как судят об этом у Толстого отцы командиры (про Долохова, разжалованного в рядовые): «„А что характер?“ — спросил полковой командир. „Находит, ваше превосходительство, днями, — говорил капитан, — то и умен, и учен, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...“ — „Ну да, ну да, — сказал полковой командир, — все надо пожалеть молодого человека в несчастии...“»

кина (кроме разве того, что напечатана кириллицей), и сравнение их как текстов — бессмысленно. Но тем не менее эти имена маркируют определенные направления развития современной российской словесности. Или жизни, может быть. В которой для одного Россия — нарочитое место бедствий, а для другой — единственно выпавшее прошлое.

«Лошадь бежит быстро-быстро.

— Наверно, уже ушел, — говорит мама. — Если опоздаем... Просто не знаю, что я буду делать...

— Успеем, — успокаивает Лаврентий Осипович. Телега подпрыгивает на ухабах, проваливается колесами в выбоины, я подлетаю вверх, плюхаюсь на узел, опять подлетаю. Мне становится очень смешно. Еще, еще!..

— Быстрее! — кричу я лошади.

— Перестань хохотать, — говорит мама. — Язык прикусишь.

Лаврентий Осипович оборачивается, смотрит на меня через плечо:

— Веселая... А я тут одних вез... мальчишка у них... постарше вашей... как начало трясти... он и давай орать... Всю дорогу ревел.

— Быстрее! — кричу я...

Мне так жалко, что мы приехали, я чувствую, что не удержусь и зареву.

— Прекрати немедленно! — Мама держит меня за руку и тащит вдоль поезда...

Наконец она замечает свободное местечко — на самой нижней ступеньке...

Мы приманиваемся возле чьих-то ног. Одной рукой мама обхватывает меня, другой — узел... Поезд трогается. Под ступенькой, разрываясь на полосы, летит земля. Мне страшно... Мы едем в Москву».

Это первая сцена. «Я» — девочка четырех лет по имени Светлана, от лица которой написан весь большой роман. Мать с дочерью едут из эвакуации в Москву, в свою драгоценную комнату «со всеми удобствами» в коммунальной квартире — в доме, где предоставлялось жилье сотрудникам «Правды». Комната оказалась нагло захваченной, и долгих три месяца Светлана, заболевшая корью, и ее мать ютились в коридоре, не имея права на прописку, а следовательно, на вещи, деньги и продовольственные карточки. (Еще чудо, добавлю я, что соседи их не выгнали.) Наконец они отсудили ограбленную комнату. Потом нашлась в Минске бездомная бабушка — мамина мать, бывшая дворянка, полька, «из западных губерний». Ее с трудом и мученьями удалось тоже прописать в этой комнате. Бабушка, Елизавета Францевна, — бестолковая, вздорная, расточительная, пьющая женщина, почти безумная. На улицах она то собирает милостыню, то хвастает былым богатством (что было тогда одинаково опасно). Но она бесконечно любит «внученьку», а внучка — ее. Хотя и стыдится бабушкиных скандалов.

Через год-полтора после войны возвращается папа. Из нескольких чемоданов сооружают «стол», и папа начинает на нем работать — писать статьи для заработка и роман о войне для будущего. Девочка растет, идет в школу. Роман отца выходит из печати. Вот, пожалуй, и все «события» в том виде, в каком их обозначает наша грубая взрослая память.

Роман написан в настоящем времени и первом лице, без всяких отступлений в другие позиции, то есть без корректировки впечатлений четырех-двенадцатилетней девочки ее собственным или чьим-то посторонним взрослым осмыслением. Факт сам по себе удивительный, определяющий собою и то, что это не книга воспоминаний в прямом смысле слова.

Еще более необычно, что девочка Светлана (субъект рассказа), во-первых, с поражающей точностью вовлекает нас в военный и начальный послевоенный быт тех лет как в само собою разумеющуюся вселенную. В ее мире может быть не совсем ясно, почему нельзя дотянуться до неба с высокой крыши или — как это одна и та же луна видна с любой улицы, но зато хорошо известно, что по детской карточке положено 400 граммов хлеба в день, а по взрослой второй категории — 350. Очереди, голод и дефицит — это все ясные и понятные предлагаемые обстоятельства, в которых проходит ежедневная жизнь. Ее мать комментирует их достаточно часто и жестко. Но у ребенка нет опыта для сравнения, а именно девочке отдано

право рассказывать. Свежесть открытия мира, уж такого, какой пришлось, освещает ее рассказ.

Во-вторых, ребенок слышит разговоры родителей и знакомых, по мере взросления вникает в события их домашней (коммунальной) и общей для страны жизни: бомбежки, марш пленных немцев по Москве, победа, трофейные вещи в быту тех лет, нищие и репрессии против нищих, бывшие русские военнопленные, которых почему-либо не посадили сразу, и репрессии против пленных, «10 лет без права переписки», которым вышел уже срок, но никто из осужденных так и не возвратился, борьба с «космополитами», разгон биологической науки и доносы, доносы...

Втянувшись в это всей памятью, всей кожей — мое детство ведь тоже шло в это время и в этом городе, и все мельчайшие детали стоят перед глазами (они, оказывается, тоже сохранились, хоть и не так ярко и последовательно), — вдруг ловишь себя на том, что заодно вовлечена в тот высокого накала драматический (и комедийный) сериал, который касается не общей, а только Светланиной жизни и происходит в ее семье.

Но не только.

И в жизни, и в книгах ребенок доподросткового возраста — это «дитя» — в большей степени умилительно простодушный, иногда жалкий объект, чем субъект. В крайнем случае субъект реконструкции, как у Пруста или, скажем, у Газданова. Здесь все иначе.

Здесь прочерчен уникальный сюжет: как с самых ранних, полумладенческих лет *личность*, ведя свою войну с миром близких и дальних, отвоевывает себе в нем пространство (территорию!) и свою независимость. «Наша комната... На подоконнике мамины цветы, загородили все окошко. А у меня тут ничего нет. Только раскладушка... Но ее на день выносят в коридор».

Светлана — единственный и поздний ребенок у самовлюбленной, эгоцентричной, раздражительной, властной и физически слабой матери. Мать очень часто в присутствии дочери говорит о том, что напрасно она решилась иметь ребенка, что ребенок — обуза, которая погубила ее здоровье, красоту и счастливую жизнь с мужем.

Нину Владимировну, Светланину мать, равно выводят из равновесия болезни дочери, ее «недостаточная» помощь по дому, малейшее своеволие, излишние расспросы... Мать бьет Светлану. Что примечательно — на многих страницах, за все восемь описанных лет, нет ни одного случая, чтобы мать пожалела или приласкала дочку. Что в общем-то даже невероятно.

Светлана спорит с матерью редко. Больше пытается скрыть, обмануть, молчит и плачет. Детство — зависимое состояние. Но про себя — какая логика протеста, недоверие, недобрая память — счет, который все увеличивается:

«Конечно, мама ничего не знает. Про солдата говорит „часовой“».

Мать с дочерью (не более пяти лет) должны срочно сдать мамину работу — нарезать и покрасить марлю.

«В чем дело? Ты что, спишь? Ты что, не понимаешь, что послезавтра я должна все это сдать? Хочешь, чтобы меня послали на военный завод? Отвечай, сволочь! Отвечай, дрянь, убить тебя мало!..»

«Кто она? Почему она моя мама? Почему она, а не Люба? Не Елизавета Николаевна?»

Трижды Светлана пытается покончить жизнь самоубийством. Первый раз она хотела наестся мыла — «если так просто умереть (поверила, что от этого умирают. — А. Ф.) и если ничего не будет, то отчего же никто не умирает? Зачем же тогда все мучаются и живут?». Это не из «Гамлета», это мысли малолетки! Во второй раз она выпивает ядовитую микстуру не только из-за матери, но оттого, что девочки во дворе презирают ее, дразнят нищенкой и еврейкой.

Тогда же она видит во сне, что будто бы девушка — их соседка — перелезает через перила и падает с балкона пятого этажа.

«„Зачем, зачем ты это сделала?!“ — кричат все и плачут. Я тоже плачу. „Чтобы вы выслушали меня, — отвечает Стелла. — Вы не хотели слушать...“» Светлана думает, просыпаясь: «Неужели для того, чтобы человека выслушали, он должен спрыгнуть с балкона?.. Никто не хочет понять. Чтобы они захотели понять, нужно спрыгнуть с балкона... Или броситься под трамвай...»

Отец Светланы ласков с нею, он безуспешно пытается утихомирить и порадовать Нину Владимировну. Но со временем он начинает тяготиться постаревшей ворчливой женой, ненавистной тещей, коммунальной жизнью. В быт семьи вошли ночное ожидание безобразно пьяного отца, розыски его по знакомым домам, извещения о его приключениях на стороне.

Без конца варьируются в тексте назидания и упреки Нины Владимировны (теперь уже мужу), словно цитируемые из провинциальной мелодрамы:

«Я взываю к тебе, как погибающий взывает из пропасти... в которую ты безжалостно меня толкаешь, а ты в это время находишь возможным думать о Светлане. Боже, за что? За что мне такое наказание? Подумай, ты просил, ты требовал, чтобы я родила... а теперь... ты отвергаешь меня ради этого самого ребенка! Должна же быть хоть капля справедливости, я уж не говорю о благодарности... Надо было видеть: ты весь преобразался в моем присутствии, у тебя в глазах вспыхивало пламя... Единого дня не мог прожить без меня!.. Павел, до тридцать девятого года, до этого злополучного рокового часа мы с тобой были счастливы!..»

Светлана (отцу): «Мама хочет, чтобы я умерла. Она будет рада... Но, может, тебе тоже будет лучше?.. Я могу умереть. Правда, я знаю, как это сделать... Мне не трудно умереть... [шагнуть через перила балкона]. Правда. Нисколько не трудно».

Отец колотится головой о стол, кричит, не может слова выговорить. «Нет, он, наверно, не хочет, чтобы я умерла. Наверно, не нужно было спрашивать».

Между тем, выбравшись из комнаты-коробки на простор школьной, дачной, лагерной жизни, Светлана меняется, выявляются ее дарования — она выдумывает стихи, истории для ночных рассказов в лагерной спальне, пьесу, которую сама же поставила в своем классе. Подруги любят ее, и она наслаждается — играет своей властью над ними. Книга обрывается с началом подросткового, девичьего возраста и со смертью бабушки. Бабушка, как и Светлана, подчиненная, громоотвод домашней злобы — суевливая, скандальная, отходчивая и добрая к обидчикам, вездесущая и смешная, словно рыжий у ковра. Почему ее уход со страниц романа ощущается как беспспорный его финал? Попытаюсь предположить.

Строгий автор — Светлана Шенбрунн! Монологи Нины Владимировны, даже в ее истинном несчастье, написаны так, что подозрительно смахивают на высказывания дамы-мещанки из тех реприз, которыми несколько позже объявленного романного времени забавляли зрителей Миронова и Менакер.

Отец, судя по прочтанным Светланой отрывкам, плохо написал свой роман: «полубегом в полутьме» — что-то вроде этого. Он и сам признается друзьям, что в роман не вошли действительно трагические его впечатления об обстоятельствах Сталинградской битвы, а вошли те, о каких удобно и возможно было тогда говорить. Надо заметить, что сослуживцам его и этой правды показалось достаточно — такова была тогда аберрация зрения.

Однако Шенбрунн совсем не дидактична. Исподволь узнается, что мать Светланы далеко не глупа. Наивность и незнание — ее защитная окраска. Для этой бывшей барышни, кончившей заштатную гимназию в 1919 году, Данте, Гёте и Флобер — обиходные персонажи ее повседневной речи. «Остракизм и осмеяние» — вот, оказывается, чему подвергают окружающие эту, по словам отца, «ничего не читающую» женщину (ничего — это, очевидно, советские книги и газет, хотя и здесь она «в курсе»). Она читает мемуары своих дворянских предков на польском и французском языках. Очень трезво, как и шестьдесят лет спустя далеко не все, она судит в эти глубоко советские годы о Гражданской войне, о Ленине, о голоде на Кубани.

После войны, когда напряжение выживания спало, она кормит бедствующих, приласкивает гонимых. Отец Светланы — добрый, любящий и любимый дочерью — отстраняется от своих репрессированных друзей, отрекается от приятелей и даже тещи. А злущая мать — все-таки нет.

Неоднозначно приходится судить об этих персонажах. И поступают они далеко не так логично, как рассуждают. То отец-писатель тайком рассыпает по полу елочные иголки, чтобы втихую смеяться над тем, как их всё убирают и убирают, то примерная отличница Светлана неожиданно для себя мяукает на уроке, но главное, странная, смешная бабушка переворачивает весь «этикетный» быт, вносит в

него атмосферу почти хармсовского абсурда, с потасовками, с бутылкой чернил, вылитой на голову, с блинами, летящими со сковородки во все стороны. Ее иррациональное, взбалмошное и по-своему тоже почти детское восприятие жизни уравнивает «трагические» страсти остальных членов семьи. И придает картине однообразного существования эксцентричную объемность. С исчезновением бабушки эта повесть жизни кончается. Все, что будет описано потом, придется строить совсем иначе...

Итак, отсутствие авторских «корректирующих» оценок — отличительная и, если хотите, обаятельная черта романа Светланы Шенбрунн. (Этим-то выведением из-под морального суда объясняется растерянная разноречивость откликов на текст: для одних мать неправдоподобно ужасна, для других отец — конформист, для третьих девчонка — дрянь...)

Такая особенность обусловлена не только оригинальным «субъектом» повествования, не только тем, что от лица ребенка, нигде не сбиваясь и не сюсюкая, написан текст для взрослых, в котором привычные «взрослые» комментарии звучали бы неуместно. На это же работает драматургически выверенное взаиморасположение трех главных персонажей, увиденных глазами яркой, неординарной и по-своему даже властной личности, пусть еще и находящейся в становлении. На три четверти перед нами как бы драматургический текст: разговоры, чьи-то рассказы, сообщения, быстро сменяющиеся реплики и внезапные монологи — все, как уже было замечено, в настоящем времени.

Но драматургическое начало здесь обманчиво: эта якобы ролевая игра — восклицания матери, ирония отца, репризы бабушки — передает сложную семейную, личную и всеобщую жизнь в ее именно *эпическом* движении.

Закруглю свои соображения по поводу этого неожиданного текста: какую роль играет он в нынешнем литературном раскладе?

Перед нами роман. В каком-то смысле все-таки мемуарный. В очевидной временной близости к нему появился и другой мемуарный роман — профессора-филолога А. П. Чудакова, 1938 года рождения, — «Ложится мгла на старые ступени...». Жанр разъяснен подзаголовком «роман-идиллия». Это воспоминание о взрослении мальчика в маленьком городке в Казахстане во время войны и немного позже. Память автора, недавно посетившего родные места, не избегает печальных фактов, трудностей, житейской грубости быта, но они и в самом деле подернуты идиллической дымкой.

Об этом романе много написано, в «Новом мире» в том числе. Не буду повторяться. В какой-то степени к этим двум примыкает семейный роман «Купавна» Алексея Варламова. Там тоже — история мальчика, осознание семейных традиций и, так сказать, семейной идеологии в трижды менявшихся временах. Хотя мне кажется, что книга этого профессионального беллетриста продумана послабее двух упомянутых выше.

Что означает почти одновременное появление этих произведений в отечественной печати («Розы и хризантемы» значительно раньше изданы на русском языке в Израиле) и их явная востребованность?

За десять — пятнадцать лет быстрых, даже неуследимо мчащихся перемен в литературе тоже был прилив с пеной и брызгами. Волна за волной ложились на книжные прилавки некогда возвращаемые и свеженаписанные романы, стихи, философские и исторические сочинения, воспоминания узников и эмигрантов, расширявшие сферу размышлений читателей, суженную советской идеологической цензурой. Но все они от прежде замолчанных или заново канонизируемых классиков, беспорядочно наслепшихся друг на друга, до постмодернистов, расшатывающих историческую перспективу «для забавы» (будь то В. Шаров или несравненно более талантливый М. Шишкин), скорее углубляли разрыв времен.

Между тем множество людей не в состоянии расстаться с советским мифом и готовы пожертвовать ему своей личной исторической памятью и памятью своей семьи именно потому, что не могут и не хотят считать, что все эти жизни прожиты в какой-то временной щели. Поэтому так важно оказалось рассмотреть *повсе-*

дневность начала — середины — конца XX века глазами неподвзятых — в силу самого художественного задания — свидетелей и найти в воссозданном прошлом опору для дальнейшего пути.

«Только если в детях живет душа и воля отцов, они имеют жизнь, чтобы передать ее внукам»; надо «опереться на живые силы прошлого, еще действующие в настоящем, и помочь им органически и в новых формах воссоздать нарушенную непрерывность жизни», — так писал С. Л. Франк еще в 1925 году.

Думаю, что в истории развития детей — героев автобиографических семейных романов — предсказана возможность восстановить такую непрерывность. Этим именно сегодня они и интересны.

Я не очень хорошо понимаю, какая символика заложена в названии «Розы и хризантемы». В жесткой книге Светланы Шенбрунн и идиллии Александра Чудакова так много неожиданных совпадений. Бабушка Антона (так зовут чудаковско-го героя), как и бабушка Светланы, польская дворянка из Вильно, знала язык цветов: «Сейчас этот язык, к сожалению, забыт. Между тем на нем можно было высказать все. Бересклет — твой образ запечатлен в моем сердце... ландыш — тайная любовь, крокус — размышление, колокольчик — постоянство...»

Интересно, что означают «розы» и «хризантемы» на этом языке?

Анна ФРУМКИНА.

*

ЛЕТЯТ ЩЕПКИ

Виктор Мануйлов. Жернова. Роман. Книга первая. Иудин хлеб. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 7 — 10.

Современных литераторов иногда соблазняет пример классиков — создателей грандиозных романов-эпопей. Им хочется повторить подвиг предшественников. Вот и Виктор Мануйлов затевает грандиозное повествование о России на крутом историческом переломе. В первой книге описаны события от 1917 по конец 20-х годов. Предполагается продолжение.

Леденящий душу замах!

Сказать по правде, я сомневаюсь как в возможности, так и в целесообразности подобных ширококомаштабных повествований в современной культурной ситуации, когда идея романа-потока, романа-реки не просто вышла из моды, но еще и утратила какое-то базисное основание в духовном опыте современника. Но мои сомнения Мануйлову, конечно, не указ. Он сам с усам.

Тем интереснее. Посмотрим, что получилось у современного автора, взявшего себе в пример классический способ эпопейного строительства.

В прозе Мануйлова читатель найдет сложный букет ароматов. С одной стороны, его роман таков, что где-то на двадцатой его странице хочется отложить в сторону журнальную книжку. Враги рода человеческого, а особенно русской нации: Троцкий, Каменев, Зиновьев и прочие «инородцы» той же породы. Теоретик-извращенец Ленин. Сталин — без симпатии, но как бы с *пониманием*... Какая от всего этого тоска падает на душу. Ну их совсем, таких господ писателей, с их латентными юдофобией и сталинизмом. Читывали. Знаем.

Но профессиональный интерес берет верх. Мануйлов увлекает конкретными подробностями. Оригинальный образ, мастерская деталь, умело вылепленный портрет героя, живописный эпизод — это, согласимся, имеет самостоятельную интересность. Чем дальше в этот лес, тем больше всяких наколото дров. Тем больше интересных, неглупых частностей. Тенденциозной публицистикой, к счастью, не подавляется стремление автора к эпическому объективизму и трезвому видению жизни.

Так незаметно, без больших усилий и одолеваяешь все четыре журнальных книжки. А дочитав сей опус, приходишь к такому выводу: Мануйлов — неплохой писатель, есть у него голова на плечах, и проза его довольно добротная. Не такая

она плоская и глупая, как может показаться на первых порах. Хотя и портят ее прежде всего две вещи: замах на слишком ответственный, не вполне пока адекватный возможностям автора жанр — и непрожеванная, сочиненная впопыхах или некритически перенятая историософия.

«Жернова» — это вовсе не роман. И даже не хроника, как «Кануны» Василия Белова, созданные на сходном материале. Нет в прозе Мануйлова той сосредоточенности на подробностях крестьянского житья-бытья в год великого перелома, какая составляет сильную сторону исторической прозы Белова. Это скорее многостраничный сборник рассказов из раннесоветской истории. Довольно аморфная панорама эпизодов, в разной степени убедительно выписанных и в разной мере важных в общей перспективе. Роман-река не сложился, концы с концами не сходятся. Вместо реки — где озерцо, а где и лужица.

У автора, кажется, нет отчетливого, связанного понимания исторического прошлого родины, нет серьезной и глубокой концепции эпохи, которая позволила бы увидеть в жизни что-то бесспорно главное, сделать на этом упор и в итоге объединить разные эпизоды в единое романное целое. Мануйлов тут пробавляется чужим, в придачу траченным молю идеологическим товаром. Не принимать же все-раз и нам созревшую в большом, манихейском сознании людей минувшего XX века *теорию заговора*, на которую Мануйловым даются местами невнятные намеки. Автор и сам, кажется, в нее не очень верит. То ли верит, то ли сомневается. Он, во всяком случае, не решается искусственно измышлять подходящие перипетии, подгонять изображаемую жизнь под теоретический абстракт, вычитанный в маниакальных сочинениях неведомых мыслителей, — но все-таки считает нужным хотя бы сослаться и на таинственную мохнатую руку, протянувшуюся неведомо откуда и вцепившуюся в начале столетия в русское горло.

Или еще: как расценить стоящие рядом с пассажирами о заговоре обвинительные автоаттестации *вождей-«инородцев»*, называющих своекорыстие исключительной пружиной своей исторической активности? Они-де и сами в душе понимают, что старались, совершая революцию, только ради себя. И делают себе такие признания... Редукция мотивов поведения исторических персонажей к личной выгоде — это, пожалуй, наследие вульгарного пропагандизма раннесоветских лет. В те времена так интерпретировали борьбу с советами белогвардейцев и капиталистов. Мануйлов же бумерангом возвращает эти обвинения красным вождям... Так им, конечно, вурдалакам, и надо. Но все-таки, прежде чем поверить писателю, хотя бы перечитаем мемуары того же Троцкого, заглянем в архивы русской коммунистической оппозиции сталинскому режиму. И поразмыслим над историческим феноменом глетворного бескорыстия, героического безумия.

Да и в отношении автора к Сталину тоже дает о себе знать психологический редукционизм, правда чуть иного колена. В основном автор изображает Сталина как жертву собственных комплексов. Бедного Иосифа обижали *большие парни*, то бишь *великие вожди*. Троцкий, Бухарин. Презирали, шутили, смеялись над ним. Вот он и решил им всем отомстить. *Отшутиться*.

Совсем невнятно концептуализировано в тексте романа название первой книги. Один из героев, смелый мужик Кузьма, произвольно интерпретирует знаменитый евангельский эпизод, когда Иисус говорит Иуде: «Что делаешь, делай скорее». И дает ему хлеба. Отсюда герой выводит, что Иисус есть провокатор и дьявол. И что мир пребывает во власти дьявола. А потому нужно надеяться только на себя. Герой этот погибает. Моего разуменья не хватает, чтобы связать эту ересь с общим планом мануйловского повествования. Неужто тут дает о себе знать богоборчество и антихристианство писателя?

На подобное подозрение наводит и еще одно красноречивое место в романе, где из Библии и «Толмуда» (так в тексте) извлекается мысль о «избранной богом расе, праве на мировое господство, на физическое истребление неполноценных народов и прочая, и прочая». Так прочитать священные книги можно только при весьма определенном повороте сознания, ведущем от попыток отвергнуть Ветхий Завет (Юрий Селезнев и другие) в сторону какой-нибудь «Десионизации» христорборца Емельянова...

Еще одна, более тщательно и уверенно проведенная идея мануйловской философии истории состоит в том, что на роковом изломе противостояли друг другу деревня и город, патриархально-почвенный, народный элемент — и элемент беспочвенно-теоретический, беспашпортно-бродяжий, космополитический и инородческий. Мысль не нова. Но, пожалуй, именно она наиболее органично сопрягается у писателя с художественной тканью.

Впрочем, город изображен Мануйловым крайне избирательно. Со стороны, отчужденно. Случаен, непонятен отбор событий и персон. Культурные верхи представлены только Горьким (к этому персонажу мы еще вернемся). Очень поверхностно изображены также питерские пролетарии: по поводу неприятия ими искусства художников-авангардистов. Самих этих художников Мануйлов тоже запечатлел, но выбрал весьма простоватых, начинающих. Зато у автора жгучий (и родовой для литераторов-антисемитов) интерес к тем самым «инородцам». Каждый второй персонаж в романе — из этой среды. Наконец, персонально представлены и вожди: Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин, Зиновьев, Каменев, — о чем уже говорилось. А отчего-то самый яркий городской эпизод — это ноябрьская демонстрация 1927 года, знаменитое выступление «троцкистско-зиновьевской» оппозиции (описанное в основном со знанием дела, хотя топографически крайне неотчетливо) и его подавление Мартемьяном Рютиным.

Гораздо полнее и интереснее портрет пореволюционной деревни. Здесь, правда, Виктор Мануйлов не весьма оригинален. В придачу его реализм какой-то уж слишком приземленный, отчего крестьяне у Мануйлова в массе своей... как бы это понежнее сказать... наивны. Даже глуповаты. Ей-богу. (А и не спутаешь с беловскими, из деревни Шибанихи, которые будут еще наивней и доверчивей.)

Но есть у него и любопытные акценты. Роман Мануйлова не такой цельный, не такой завершенный внутренне, как хроника Белова. Но читать его, смею сказать, даже интереснее.

Во-первых, читателям представлена белая ворона в простодырой стае: сельский мыслитель, мудрый крестьянин по прозвищу Ведун. (Таких мы встречали когда-то у Залыгина.) Ведун — народный революционер, почвенный коммунист, проповедующий общероссийскую солидарность трудящихся крестьян и с глубоким недоверием относящийся к городским теоретикам, к поставленным сверху властям, кто бы их там ни ставил. Он даже с Лениным спорил, добравшись до него ходом. Ведун в романе пал жертвой чекистской провокации. Власть в подобных умниках не нуждается.

Во-вторых, автор выводит на первые роли смоленского крестьянина Гаврилу Мануйловича, белоруса, сын которого под действием роковых обстоятельств уезжает в Ленинград и меняет фамилию на ее великорусский аналог, становится Мануйловым. И это нам скажет кое-что о писателе, о его корнях. Оказывается, им сделана попытка претворить в роман историю собственного рода.

В-третьих, и это особенно впечатляет, Мануйлов привносит в сознание лучших своих героев это чувство греха; очень сильно звучит у него мотив раскаяния и воздаяния. Кто творил зло, кто брал чужое — тех и наказывает Бог.

Гаврилу мир определил в мельники, вместо сбежавшего дореволюционного владельца. И отсюда, от несправедно доставшегося богатства, начались его несчастья, которые привели Гаврилу в концлагерь, а потом и под пулю. Гаврила сам это сознает. Он — единственный персонаж романа, который духовно меняется, растет.

Иные из прочих могут разве лишь впадать в неразрешимые противоречия. А простоватый, немудрящий поначалу Гаврила начинает слышать голос совести и выходит к выстраданной небанальной истине. Он осознает свою вину, свой грех, а перед смертью прощает главного своего врага — сельского коммуниста Касьяна.

...Как связать несвязуемое? Эпизодическое христорбчество сочетается у Мануйлова с христоприятием этического свойства.

Будем воспринимать нашего автора таким, каков он есть. Обнаружив у писателя зачатки христианского мирозерцания, начинаешь в ином свете видеть и некоторые другие эпизоды. Например, замечать рефлекс авторского сострадания, обращенного чуть ли не к каждому персонажу. Даже мерзавец Зиновьев изображен

не просто заживо смердящим бурбоном, который даже в опале, в Казани, не устает бороться с «врагами советской власти» и ломать человеческие судьбы. В нем есть что-то жалкое, печать обреченности, его гнетут тяжелые мысли... Даже чекист-душегуб Ермилов вдохновляется-то возвышенными идеалами, хотя и абстрактно-несбыточными.

И тут пора вернуться к Горькому. Его портрет в романе дан лаконично, но вышел неожиданно убедительным. Я что-то не припомню столь же рельефный образ Горького в нашей прозе. Теоретическим абстракциям Горький — писатель и человек — у Мануйлова противопоставляет внимание к каждой отдельной личности, к каждой отдельной человеческой судьбе. И чувствуется, что сам Мануйлов в душе этот подход очень даже разделяет. Чем внимательнее рассматривает наш писатель каждого своего героя, тем неидеологичнее, тем объемнее становится его портрет. Даже если автор не симпатизирует персонажу. Замечательно верны психические реакции, жесты, простые рефлексии и действия такого героя. А умствования его, как правило, — от лукавого. Очень неубедительно умствует обычно герой.

По сути, Мануйлов — реалист-бытовик с сильным этическим началом, а покушается он на чуждую ему роль исторического мыслителя, идеолога, концептуалиста. Поэтому не всему у него можно верить. Чем-то Мануйлов напоминает Горенштейна с его «Псалмом». При всей разнополярности — такое же сочетание избирательной силы и рассудочной предвзятости.

Писатель может вкладывать в уста некоего умудренного опытом художника теоретическое рассуждение о том, что жизнеспособность как принцип искусства соответствует консервативно-почвенной основе национальной жизни. Возможно, именно таким образом мотивирует Мануйлов-почвенник и свою приверженность к традиционным средствам повествования. Но, кажется, наш автор не все продумал здесь до конца.

Во-первых, не так просто решается вопрос о жизнеспособности и условности. Ведь реализм в высшем смысле, реализм как способ постижения истины бытия, вовсе не тождествен жизнеспособности. Есть случаи и времена, когда истина раскрывается в искусстве преимущественно в формах жизни. А бывает и иначе, приходит большое время, когда сами эти формы не вполне адекватны истине. И художник даже должен идти на риск, прибегая к гротеску, гиперболе и т. п. Никакой прямой связи художественного выбора в пользу жизнеспособности с социальным консерватизмом как идеологическим кредо — нет.

Во-вторых, вовсе не обязательно брать за миросозерцательную основу в романе взгляд на жизнь и художественный вкус простонародной крестьянской и пролетарской массы (а у Мануйлова к этому склонность). Совершенно ясно, что есть такая — и духовная, и эстетическая — высота, которая отнюдь не для каждого простолюдина достижима. Точнее, далеко не каждый простолюдник ставит себе задачей достижение высоты. В конечном итоге и сам Мануйлов приходит к такому выводу. Финальный перелом в душе Гаврилы происходит не иначе как под влиянием монаха-отшельника, с которым сталкивает его жизнь. Именно этот монах открывает Гавриле новые духовные горизонты, которые ему и не снились. Правда, Мануйлов излагает в книге этот эпизод весьма конспективно. И эта конспективная скороговорка — знак того, что автор робеет и пока останавливается, тормозит, сталкиваясь с более серьезной духовной проблематикой. Мануйлов здесь не столько погружается в проблемные недра человеческого бытия, не столько их анализирует, сколько угадывает связь вещей и пунктирно ее прописывает. Но интуиция у него хорошая. За это многое прощаешь и сам готов просить у автора прощения.

В-третьих, писатель и сам ощущает, что ему тесно в рамках узко понятого жизнеспособности. Кончается первая книга романа вполне постмодернистски. Упомянутый коммунист Касьян в соседствующих абзацах эпилога назван сначала мертвым, а потом снова живым. Я перечитал это место раз пять, никакого юмора не обнаружил и подумал наконец, что от Мануйлова нужно ждать сюрпризов.

Евгений ЕРМОЛИН.



КРУШИТЬ — НЕ СТРОИТЬ

Никанор Коваль. Крушиловка Тридцатого года. Повесть. М., «Русский путь», 2000, 303 стр.

Минуло шестьдесят лет с момента, когда в бывшем СССР началась коллективизация — событие, вошедшее в новейшую историю страны под разными наименованиями: «революция сверху», «великий перелом» и т. п.

Казалось бы, это — уже далекое прошлое, и большинство участников и свидетелей происходившего либо умерли, либо успели запомнить все то, что видели и пережили в ту пору. Но нет: продолжают публиковаться не только рассекреченные документы, но и свидетельства людей, сохранивших в памяти живые подробности эпохи.

Одна из таких книг — документальная повесть Никанора Ковалья. Она автобиографична. В подростке Мартыне — главном ее персонаже — легко угадывается будущий автор.

Наблюдательный, совестливый, чуткий на любую несправедливость паренек сумел впоследствии запечатлеть, как крушили, добивали их семью, как его отец, отказавшийся вступить в колхоз, был брошен в тюрьму, а отбыв срок, вынужден был скитаться по разным стройкам.

Н. Коваль — автор одной книги. Он писал ее, можно сказать, всю сознательную жизнь, писал потаенно, дважды уничтожая рукопись. Год с лишним назад этот много повидавший человек, участник Великой Отечественной войны, военный переводчик по профессии, скончался от инсульта.

Коваль не стремится к широкому охвату событий, связанных с коллективизацией. Он ставит перед собой задачу представить большое через малое, на примере одной семьи показать, что происходило на селе.

Он подробно, тщательно воспроизводит приметы крестьянского быта, что в детстве окружал его. Казалось, ничто поначалу не предвещает нависшей над семьей беды. Но стоило отцу Мартына — Андрею Головченко — отказаться от вступления в колхоз, как на семью посыпались несчастья. Редька, голова местной сельрады (действие происходит в украинском селе), врывается в избу Головченко, уже угодившего в тюрьму, с ватагой своих «активистов» и учиняет в доме подлинный разбой: погромщики расколотили посуду, вспороли подушки, истоптали сапожищами крестьянский скарб — все это якобы в поисках спрятанного зерна. А ведь и Редьке, и его «активистам», вооруженным для вящей острастки односельчан обрезками, прекрасно известно, что зерна в селе давно нет: оно в принудительном порядке выметено ими же подчистую. (Как мы знаем, в «активисты» охотнее всего шла самая гольтьба, отпетые лодыри, пьянь, нечистые на руку люди, с помощью таких полубандитских налетов рассчитывавшие безбедно существовать за счет чужого добра.)

Требуя от своих «помощников» все большей ретивости в поисках хоть самой малой «зачачки» с зерном, Редька в свою очередь понимает: его власть в деревне — фикция. Ведь над ним в районе стоит другой начальник — грозный, не терпящий никаких оправданий Нечипорук. Достаточно Редьке не доставить в район очередной обоз с зерном, как Нечипорук грозно объявит ему: «Клади, контра, наган и партбилет... Струсил, смалодушничал, пожалел, крови испугался — предатель! За измену великому делу — смерть!» С односельчанами же Редька — лютый зверь. И гибнет он бесславно от руки одного из них, чью семью Редька пустил по миру, а его самого заставил, как бандита, скитаться по окрестным лесам.

Повесть Ковалья — некий сплав точной записи воспоминаний и стремления как-то беллетризировать их. Но, по сути, в ней с документальной правдивостью воспроизведена атмосфера беззакония в деревне, показан геноцид крестьянства, проводившийся в гигантских масштабах.

Несмотря на обилие всякого рода жестоких сцен, в повести очень ощутима лирическая струя — особенно на тех страницах, где изображаются отношения юного героя с матерью. Сколько любви вложено в рассказ о судьбе многострадаль-

ной крестьянской женщины, попавшей под маховик государственной машины, о ее попытках в годину бед сохранить родной очаг, сберечь детей, хозяйство, остатки привычного быта. Мартын старается облегчить страдания матери, лишившейся всего. И пожалуй, только эта сыновья любовь помогает Катерине Головченко устоять, не наложить на себя руки. Скупая на внешние проявления, нежность к матери проходит через всю книгу Коваля, наполняя особым смыслом посвящение, предпосланное повести: «Оляне Макаровне, маме моей, замученной насильственной коллективизацией...»

Подчас от той абсурдной, с точки зрения здравого смысла, вакханалии, что разворачивается на страницах книги, невольно голова идет кругом. Но сегодня мы отлично знаем, что везде эта грандиозная ломка приводила к полному разорению деревни, развалу сельского хозяйства и голодому. В еще совсем недавно хлебных местах, таких, как Украина, Кубань, Донщина, Сибирь, начался голод, в сравнении с которым даже 1921 год в Поволжье кажется детской страшилкой. Вот, к примеру, только недавно опубликованное свидетельство очевидца, чудом уцелевшего в одной из умирающих украинских деревень: «Пошли слухи о случаях людоедства. Еще с осени 1932 года село совершенно оголилось. Забирали не то что пуд зерна, но и горсточку — все, что находили... Если в деревне не находили зерна и уполномоченный ничего не мог сделать, чтобы раздобыть его, то специальная „тройка“ принимала решение о его аресте и немедленной высылке на Соловки... Голодное село шло навстречу страшной зиме. Приедешь, бывало, в село, а оно мертвое: не слышно, чтобы залаяла собака, закукарекал петух или кошка дорогу перебежала. Не слышно ничего живого. Люди тихо умирают в своих домах, а всю живность, которая когда-то была, давно съели!»¹

...Почему вдруг крестьянскую массу потребовалось наспех поделить на несколько социальных групп: на кулаков, подкулачников, середняков, злостников, бедняков, — натравить их друг на друга, зажечь в деревне пламя «классовой борьбы»? Так или иначе, но направление главного удара партией было указано, враг назван, предписано, как с ним поступать. Сначала «ликвидировать кулачество как класс». Потом приниматься за подкулачников и т. д. Но кто, спрашивается, из тех, кого сами большевики именовали «классиками марксизма», сформулировал подобную социальную градацию? Кого, к примеру, считать подкулачником? Какой имущественный ценз соответствовал данной социальной группе? Этот термин тридцать лет спустя высмеет сама же «История партии», назвав его «нелепым»². Но тогда такая «нелепость» часто оборачивалась «высшей мерой» для тех, кого зачисляли в этот разряд.

На все эти многочисленные недоуменные вопросы сельского населения кремлевские мудрецы и не собирались отвечать, хотя ЦК, редакции центральных газет и секретариат Сталина были завалены мешками писем из деревни — жалобами, мольбами, проклятиями.

Ныне, когда доступ во многие архивы открыт, когда выявлены ранее засекреченные приказы и инструкции, стало ясно, что к решающей схватке с крестьянством партия готовилась, как к серьезной войсковой операции, по всем правилам военного искусства. Так, в закрытом постановлении ЦК от 30 января 1930 года говорится о необходимости «в связи с проведением кампании по изъятию кулаков и раскулачиванию крестьянских хозяйств увеличить штаты ОГПУ на 800 человек и войск ОГПУ на 1000 человек»³.

Возможно, впрочем, что определенную роль играл и субъективный фактор. Н. С. Хрущев в своих «Мемуарах» точно подметил: «В глазах Сталина крестьяне были вроде отбросов. У него не было никакого уважения к крестьянству и его труду. Он считал, что крестьян можно заставить работать только путем нажима. Жми, дави и силой забирай, чтобы кормить города».

¹ Сб. «За что? Проза. Пoesия. Документы». М., 1999, стр. 488.

² «История КПСС». М., 1960, стр. 423.

³ Сб. «Судьбы российского крестьянства». М., 1996, стр. 283.

Как бы то ни было, Сталин продолжает наращивать силовой прием, требуя от подчиненных изымать зерно, даже то, что предназначено в семенной фонд. И это не просто прихоть жестокого деспота, а трезвый расчет. Зерно, безжалостно выкачиваемое из умирающей деревни, широким потоком идет на экспорт. Господа капиталисты расплачиваются за него полноценной валютой. На эту валюту приобретается новая техника, новые станки, машины, стройматериалы. Ведь партия взяла решительный курс на индустриализацию, а в деревне — на сплошную коллективизацию мелких, разрозненных индивидуальных хозяйств. А то, что за станки и трактора заплачено десятками и сотнями тысяч человеческих жизней, так эти «издержки» неизбежны: отдельные «перегибы» на местах. Главное же — не сбавлять уже взятый темп! (Примерно в таком духе выдержана знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», появившаяся в «Правде» 2 марта 1930 года.)

Ясно одно: главной причиной скоропалительной коллективизации были чисто политические соображения. Ближился XVII съезд партии, который с легкой руки С. М. Кирова станут именовать «съездом победителей». А победителей, как известно, не судят. Но требовалось выйти на съездовскую трибуну с какими-то козырями, чтобы уложить на обе лопатки последних оппозиционеров в партии, таких, как группа М. Рютина...

Всей сложной политической подоплеки «великого перелома» Коваль в повести не касается. Но он, повторюсь, представляет нам живой пример того, как «перелом» вершился, и в целом ему как прозаику это удалось. Хотя композиционно, на мой взгляд, вещь получилась рыхловатой, с не вполне оправданными повторами. Картины вымирающей, разоренной деревни ближе к финалу сменяются «городскими» главами, в которых рассказывается о мытарствах юного героя уже в Москве и Ленинграде: Мартын пытается пристроиться в отцовском общежитии, тщетно ищет работу... Эти главы сами по себе интересны, но плохо связаны с предшествующим повествованием. Тут, впрочем, невольно вспоминаются «Люди из захолустья» А. Малышкина, где изнанка городской жизни 20 — 30-х годов с ее социальными контрастами тоже показана как бы отстраненно, глазами провинциала.

При чтении «Крушиловки...» приходит на память еще одна вещь, ставшая уже своего рода классикой и тематически перекликающаяся с книгой Ковалья. Я имею в виду повесть С. Залыгина «На Иртыше». В обоих произведениях запечатлен сходный конфликт. Но главное, отец Мартына из «Крушиловки...» и Степан Чаузов из «Иртыша» — явно родственные характеры, да и социально оба персонажа относятся к разряду середняков. С ними власть вроде бы заключает союз, но стоит этим людям в чем-то проявить несогласие, не засвидетельствовать рабской покорности, как их тут же объявляют врагами и гонят из родной деревни. То, что действие каждой из книг происходит в разных концах страны — на Украине и в Сибири, — только подтверждает достоверность общей картины сплошной коллективизации.

Что же касается судьбы подростка Мартына, то, скитаясь в чужом и враждебном городе, он попадает в детприемник. Однако, убедившись, что в этом заведении порядки не лучше, чем в мире взрослых, задерживаться здесь Мартын не стал; характером он выдался в мать, которая, глядя на односельчан, по принуждению подавшихся в колхоз, говорила сыну: «И все-таки мне лучше. Кожух с меня последний сняли, горшки надщербленные — и те унесли, но душа и руки — мои! Нищая я, но свободная!» Эти материнские слова, видно, вспоминает Мартын как доброе напутствие, когда со своим случайным товарищем по несчастью сговаривается бежать из детприемника.

Как сложится дальнейшая судьба подростка, можно догадываться, зная, что повесть автобиографична и что будущий ее автор, несмотря на все невзгоды и беды, все-таки «выбился в люди» и исполнил юношеский обет: написал книгу о драме, пережитой им в детстве, драме, что составляет лишь малый фрагмент большой крестьянской трагедии.



ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Эльмира Котляр. В руки твои. Стихотворения и поэма (1991 — 1997). М.,
«Московский парнас», 1999, 204 стр.
Эльмира Котляр. Я двух народов дочерь... Стихи. — «Континент», № 104 (2000),
апрель — июнь.

Уже тогда [в XVII веке], как мы знаем, намечается деление общего понятия искусства на *высокое искусство и простые вещи*.

Л. А. Успенский, «Богословие иконы православной церкви».

Мы привыкли к эстетике завершенности. То, что весь XX век посвящен всякого рода попыткам ее разрушения, лишь доказывает ее устойчивость — даже и теперь эти попытки продолжают восприниматься как хоть и несколько потускневшее, но новаторство. Мы привыкли к той замкнутости художественного произведения со стороны живых — закрывает «вторичную» реальность от всякого воздействия «первичной». «Вторичная» реальность — некий мир «под колпаком», который «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» и для освоения которого настойчиво требуется обзавестись «шестым чувством» «эстетического восприятия».

Таково «высокое искусство». Там поэта нельзя отождествлять с «лирическим героем», а писателя с «автором» и тем более с «образом автора». Там всякий скорбный крик требуется воспринимать как сладостную музыку — и я сильно подозреваю, что во многих случаях именно читателю, способному к «эстетическому восприятию», отводится роль медного быка.

Однако остаются еще и *простые вещи*...

Простые вещи отличаются от «высокого искусства» тем, что не создают обособленной реальности, но существуют в нашем мире как вещи нашего мира — или как вещи, вступающие с нашим миром (с нашим «я») в прямой, двусторонний, непосредственный контакт.

Такова икона, в отличие от картины. «Пространственное построение иконы отличается тем, что, будучи трехмерным (икона не плоскостное искусство), оно ограничивает третье измерение плоскостью доски, и изображение обращено к предлежащему пространству. Иначе говоря, по отношению к иллюзорному построению пространства в глубину построение иконы показывает обратное. Если картина, построенная по законам линейной перспективы, показывает пространство другое, никак не связанное с тем реальным пространством, в котором оно находится, никак с ним не соотносящееся, то в иконе наоборот: изображенное пространство включается в пространство реальное, между ними нет разрыва. Изображенное ограничивается одним передним планом. Лица, изображенные на иконе, и лица, предстоящие ей, объединяются в одном пространстве»¹. Если даже живописец попробует (как это случалось) воспроизвести в картине эффект объединения зрителя и изображаемого в одном пространстве, это будет сродни фокусу, обману зрения — тоже иллюзии, но иначе оформленной. Икона (пока не начинает в помянутом XVII веке уходить в область «высокого искусства») прежде всего не допускает именно иллюзорности.

Таков псалом, в отличие от стихотворения. Мы не можем читать «с выражением» «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Задача «воспроизведения» псалма именно в отсутствии воспроизведения. Не фантом царя Давида должен возникнуть перед тем, кому случится увидеть произносящего псалом, но ему должно быть ясно — и так оно и есть, — что эти слова сейчас, на его глазах, рождаются из глубины души вот этого

¹ Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. [Б. м.], Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 1997, стр. 598 — 599.

кающегося грешника, это его вопль и стон, хотя он и находит выражение в словах, присвоенных уже столькими до него. Однако — парадоксально — при этом ведь вовсе не забывается царь Давид, но именно потому, что вопль его становится твоим воплем, так больно и лично, как свое, ты можешь вспомнить и пережить его преступление и его покаяние. Как и его отчаяние от ощущения Богооставленности, его горе от предательства самых близких, его радость и восторг при созерцании чудес Божьего мира, его скорбь и его благодарность... Чему здесь нет, пожалуй, места, так это — хоть какой-то возможности остаться в границах *эстетического* переживания.

И вот у некоторых стихов получается быть... простыми вещами.

Книгу Эльмиры Котляр я читала, обливаясь слезами.

Она пишет свои стихи рашником. Это стих народной драмы, корнями уходящей в «мистерию» и во многих случаях сохранившей ее формальные приемы: «иконографический» принцип объединения зрителей и действующих лиц в одном пространстве, отразившийся в том числе в частых диалогах между залом и сценой; сильный элемент импровизации; а в самом стихе — максимальная формальная открытость, несобранность «внутри» стиха (его называют «рифмованной прозой», он организуется только членением на строки, к тому же неравные, и рифмой) — открытость, как бы предполагающая *непрерывного* другого участника разговора и соучастника обращения. Соучастника и сочувственного — в том случае, если очевидный адресат — некто иной (Некто Иной). Не знаю, но полагаю, что по внутреннему смыслу технического приема это очень близко тому, как слагал свои псалмы царь Давид.

Надо заметить, что эту близость Эльмира Котляр осознает (осознавая в то же время и безмерную драгоценность близкого):

Как получивший
великую прибыль,
радуюсь, Господи,
слову Твоему,
святому псалму.
Как мне близок человек,
сложивший псалом!
Точно сидим рядом
за одним столом.
Точно старый,
богобоязненный еврей,
покачиваясь,
молится нараспев,
белый талес
на плечи надев.
И читает псалом.
А я головой качаю:
— Шолом! Шолом!..

Еще раз хочу подчеркнуть: я не сравниваю «художественных достоинств» псалмов Давида и стихов (это — не уничижительное! это — ласкательное...) Эльмиры Котляр. Не потому, что они несравнимы, а потому, что это не нужно, потому, что не это важно в отношениях между *простыми вещами*. Потому что простые вещи не соревнуются, не создают между собой иерархию, как то свойственно «высокому искусству», а *поддерживают* друг друга в служении своем, в своем зове, и стихок «качает головой», поддерживая псалом. Как поддерживают друг друга самая прекрасная в мире икона Владимирской Божией Матери и бумажная иконка местночтимой святой, обе открывая перед предстоящим мир, к которому он обращается со своим воплем. Они — об одном и том же (и это тот случай, когда достоинство *быть об этом* гораздо важнее «формального совершенства»; другое дело, что не все то, что говорит от себя «я об этом», действительно *об этом*).

Но сравним: «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою. И возведе мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камне нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему» (Пс. 39) — и:

Вчера я была
на грани небытия,
а сегодня — исцеленье!
Все возможно по Божьему Соизволенью.
Вчера Ангел смерти витал надо мной,
а сегодня вернулась в мир земной!
Вчера хрипела, как старая шарманка,
и была совсем слаба.
А сегодня встала на ноги Божья раба.
Вчера из своего угла
я на мир глядеть не могла.
А сегодня надо всей суетой
Мир сияет снежной красотой!

В этих стихах прежде всего нет гордости — гордости «самодостаточного» стиха, гордости «самостоятельного» поэта. Потому что та, которая их пишет, давно и хорошо осознала всю нетвердость, с какой человек *сам по себе* может стоять на ногах. И всю твердость, на которую он способен по Божьему соизволению. Это стихи человека, жизнь которого зримо иссякает («Жизнь моя уходит по горсточке, и осталось ее в наперсточке»), человека во прахе и пепле — а во прахе и пепле не до красоты слога. Но это стихи человека, который, пребывая во прахе и пепле, как никто умеет почувствовать и пережить красоту Божьего мира даже в самой его незначительной подробности.

Что ни день,
то черемуха,
то сирень!
На акации
проклюнулись почки —
желтые коготочки!
У старой ели
свежие побеги зазеленели!

И, наверное, именно потому, что Эльмира Котляр действительно пишет *об этом*, ей дана власть являть бытие мира простым именованьем:

Собаки,
как обалделые, носятся!
Лай, разногосица!
Крохотный шенок
прыгает у моих ног.
Мальчишки — в прыжки,
в снежки!
Бабушка лепит снежную бабу
внуку в забаву.
Лыжница на бегу
прочертила след
на подтаявшем снегу!

Это стихи женщины, которая приняла как *то, что есть*, свою старость, немощь, болезнь и болезненность, одиночество, смерть близких, нелюбовь ближних — все то, чего мы не хотим признавать в своей гордыне, в чем мы существуем втайне, переживая как позор и обиду, нанесенные нам жизнью, — и, приняв все это, возблагодарила Бога за красоту и богатство своего бытия. И недаром в книге (а она создана именно как *книга*, а не как сборник стихов) соседствуют стихи «Счастье» и «Старость».

А между тем перед нами человек, очень даже способный обижаться, и отчаиваться, и бунтовать в человеческой нелепости души, но и человек, мудрость сердца которого всегда подсказывает ему точнейший, единственно возможный выход («Как я хочу, чтобы обида моя растаяла, как мартовский снег, почерневший, ноздреватый!.. Чтобы мне быть не правой, а виноватой!» — ведь иначе никак не справишься с обидой — только ощутив свою собственную вину). А не в точности ли — самая главная сила поэтического слова? Из запоздалого осознания своей вины — вместо бывшей правоты — рождается, может быть, самый пронзительный цикл книги — о маме («Когда мама была жива, я думала, что она передо мной не права.

А мама была мудрой и прозорливой. Я была счастливой!» — «Мамочка! Как мало я тебе отдала тепла! Как глубоко ты была одинока. Как в любви моей неуверена!.. Только сейчас я поняла, когда все потеряно!»). И плач-притчание:

Мамы нет!
Затмился белый свет.
Нет моей милой спутницы,
нет моей заступницы.
Нет моей жалельщицы,
нет моей болельщицы.
Нет моей советчицы,
за меня перед Богом ответчицы.
Нет моей печальницы,
нет моей начальницы!

Впрочем, пронзительность — свойство скорее общее стихам Эльмиры Котляр (вот никак, даже ради гладкости, чтобы не повторяться, не могу назвать ее «поэтессой»; да и она сама свои стихи зовет не стихами: «Господь меня не отметил славою земной. У Него обо мне замысел иной. Как будто Он говорит мне: „В безвестии, в тиши, молитвы свои пиши. Пусть они возносятся к Небесам, а судьбу их Я решу Сам!“»). И, наверное, такими пронзительными их делает то, что автор никогда не жалуется на непосильность ноши, но только просит дать сил ее донести; просит не облегчения от трудов, но дозволения и возможности их исполнить:

Господи!
Как мне молиться,
чтобы руке моей исцелиться?
Помоги моей правой руке
поворачивать ключ в замке.
Помоги отрезать хлеба ломоть,
орех расколоть,
протянутую руку пожать,
перо держать!..
Руку мою пожалей,
оживи ее и согрей.
Милосердием Твоей любви
благодарю!

...Моя мама давно перестала писать стихи (да и не то чтобы писала когда-то: стихи внезапно и непредсказуемо вдруг почему-то у нее вырывались, выплескивались — как вдруг раздражается речью обиженный человек, решившийся молчать во что бы то ни стало).

Когда я читала стихи Эльмиры Котляр, душа у меня ныла так, словно все, что я читала, написано моей мамой.

Татьяна КАСАТКИНА.



«НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОЭЗИЮ»

Наталья Астафьева, Владимир Британишский. Польские поэты XX века.
Антология. СПб., «Алетейя», 2000. Т. 1 — 463 стр. Т. 2 — 543 стр.

Во второй половине XVI века великий Ян Кохановский создал польскую систему стихосложения, разработал все основные размеры польского силлабического стиха, ввел новые строфические формы, в том числе сонет, терцины, секстины, канцоны, — одним словом, проделал работу, занявшую у нас почти весь XVIII век от Третьяковского до Ломоносова до Жуковского. Надо сказать, что в это же время подобное сотворение новой поэтической системы происходило и в других европейских странах, к примеру, во Франции — Ронсаром и дю Белле, в Испании — Гарсиласо де ла Вегой и Хуаном Босканом. Все они, как и Кохановский, побыва-

ли в Италии и, познакомившись с постпетраркистской поэзией, «новым сладостным стилем», приспособили ее принципы к своим родным языкам.

С тех пор развитие польской поэзии и литературы происходило без резких разрывов в отличие от литератур других славянских народов (у южных славян таким разрывом стало турецкое завоевание, для Чехии — катастрофа при Белой Горе, у нас — татаро-монгольское нашествие и, как ни странно это звучит, петровские реформы). Да, были периоды бесплодные, например, так называемый саксонский в XVIII веке, но была блистательная эпоха барокко, была эпоха романтизма, давшая трех великих поэтов — поэтов-пророков, как их называют в Польше, — Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и практически неизвестного у нас Зигмунта Красиньского, а также стоящего особняком Циприана Норвида. XX же век ознаменован был прямо-таки поразительным расцветом поэзии. И тому, кроме общемировой тенденции, были специфически польские основания: в 1918 году Польша после более чем векового несуществования как государство вновь обрела независимость (осознание себя единой нацией у поляков никогда не умирало). Второй взлет польской поэзии приходится на послеоттепельный период, когда в Польше был «отменен» соцреализм.

Нелишне будет вспомнить, чем в конце пятидесятых и в шестидесятых годах была для нас Польша («Восток на Западе и Запад на Востоке», по выражению Станислава Ежи Леца): польские журналы, польское кино, польский юмор («В социалистическом лагере польский барак самый веселый»). И конечно же польская поэзия — Константин Ильдефонс Галчиньский, Юлиан Тувим, Тадеуш Ружевич. А потом Леопольд Стафф, Ярослав Ивашкевич... Вообще современную польскую поэзию издавали в Советском Союзе довольно щедро — и книги одного поэта, и коллективные сборники. (Хотя наши «соответствующие органы» зорко следили за умонастроениями и поведением иностранных авторов, тут же накладывая вето за отклонения от идеологических предписаний. Особенно интенсивно этот процесс пошел после 1968 года. Так, из российского литературного оборота были изъяты замечательный поэт и эссеист Збигнев Херберт, прозаики Ежи Анджеевский, Тадеуш Конвицкий, Славомир Мрожек, Казымеж Брандыс.) В 1971 году вышел небольшой сборник «Современная польская поэзия», где были представлены стихи почти пятидесяти поэтов. С тех пор подобные антологические попытки, насколько мне известно, не предпринимались.

И вот в конце 2000 года выходит двухтомник «Польские поэты XX века», уже самой датой выпуска подытоживающий столетний путь развития польской поэзии, а заодно являющийся итогом, хочу надеяться — промежуточным, более чем тридцатилетнего труда по переводу польских стихов двух прекрасных поэтов-переводчиков Натальи Астафьевой и Владимира Британишского. Труд, поистине достойный уважения: более девятисот страниц, набранных сплошняком, девяносто пять имен, обстоятельное предисловие переводчиков о польской поэзии и польских поэтах ушедшего века, весьма полезная и существенная справка В. Британишского о польском стихосложении, краткие (по необходимости), но исчерпывающие справки о каждом поэте, а в завершение — впечатляющая библиография связанных с Польшей публикаций обоих переводчиков. А имена... Леопольд Стафф, с которого традиционно начинаются все антологии польской поэзии XX века, Болеслав Лесьмян, Константин Ильдефонс Галчиньский, Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич, Юлиан Пшибось, Мария Павликовская-Ясножевская, Тадеуш Ружевич, Ежи Харасымович, Збигнев Херберт, Тадеуш Новак, конечно же оба нобелевских лауреата Чеслав Милош и Вислава Шимборская и еще очень много поэтов, может быть, не столь крупных, но безусловно интересных и добавляющих дополнительные оттенки в сложный мозаичный узор польской поэзии, представленный переводчиками. Хотя мне среди авторов антологии не хватает Александра Рымкевича с его «ягеллонскими соловьями», Иоанны Кульм, у которой есть стихи про «далёко-далеко, в Варшавском восстании, Эдварда Стахуры, а, скажем, в подборке Ярослава Марека Рымкевича, «теоретика современного польского классицизма», его изощренных «барочных» стихотворений. Жаль, что практически не представлена (за одним-

единственным исключением) фразка — жанр, чрезвычайно популярный в польской поэзии. Правда, единственное это исключение — Станислав Ежи Лец:

Беседовало молчанье с молчаньем.
Я слушал с ужасом и отчаяньем.

(Перевод В. Британишского)

Возможно, кому-то еще будет недоставать других имен. Однако это *авторская* антология, что и подчеркивают переводчики, поставив свои фамилии в верхней части титульного листа. Что поначалу меня немножко удивило; я привык к другой схеме, которую в обобщенном виде можно представить так: «Из иностранной поэзии (лирики) в переводах такого-то». Но прочитал в «Ех libris НГ» от 30 ноября 2000 года в информационной колонке «Книги недели» странный упрек: «Книга, которая претендует на самый широкий обзор польской поэзии, автоматически осталась без переводов Бродского, Базилевского и других — разных, но любопытных — персонажей русского перевода. А в случае с антологиями переводческий „разброс“ — это ведь единственный шанс почувствовать подлинник», — и согласился с переводчиками, которые поставили свои фамилии на титуле именно там, где поставили, как бы утверждая свое право на отбор, на состав в соответствии с собственными склонностями, пристрастиями, наработанным творческим багажом и — на собственную интерпретацию. А абсолютно объективных антологий не бывает. Это как литературные премии: всегда найдутся несогласные и недовольные.

Уже буквально на первых страницах меня ждало открытие. Болеслав Лесьмян, самый, наверное, значительный польский поэт XX века, достаточно полно представленный по-русски (хотя для поэта такого масштаба очень поздно: его книжка вышла у нас только в 1971 году), стихотворение «Припев»:

На цветочек сев шаткий,
Взявши голову в лапки,
Пчелка, прежде чем вспорхнет,
В солнце моется, как кот, —
Вся раскрылась догола, крылья растопорщив.

(Перевод Н. Астафьевой)

И дальше: «В страхе к небу животом замер жук-притворщик». И еще: «Пес на лапе головой / Спит до края лапы той, / Будто кончилось на ней мира бездорожье». Что-то в этом есть обэриутское... И в следующем стихотворении, «Ветряк», то же самое. Естественно, я обратился к оригиналам и убедился, что Наталья Астафьева перевела стихи с максимально доступной точностью — и лексической, и стилистической, вскрыв то, что не заметили переводчики-предшественники и я сам, хотя часто перечитывал Лесьмяна, правда, без намерений переводить. Стихотворения эти взяты из книги «Луг», вышедшей в 1920 году, то есть чуть раньше, чем образовалось Обэриу, но в ту же эстетическую эпоху. И получается, что Болеслав Лесьмян, вышедший из эстетики «Млодей Польски», эстетики модернизма, и наши обэриуты, символистами никогда не бывшие, почти одновременно и независимо друг от друга творили авангардную поэзию (которую я бы определил как «надреализм»), в каких-то моментах, в каких-то частностях очень сближенную. И великая удача переводчицы, что она сумела это почувствовать (быть может, интуитивно) и показать это нам, читателям.

А вот еще одно стихотворение, где чувствуется поразительная вещная плотность слова, сравнимая с тем, что есть в «Столбцах» Заболоцкого:

Поговорим о рыбе!
Уже белеет скатерть на столе,
в компотах золотятся абрикосы.
Сомы, селедка, судаки, треска,
лососи и угри.
У бабы на барже кипит похлебка,
вода за бортом дышит хрипло,
течет живым потоком чешуя.

И конец:

Так радуйся, гурман, смакуй и чавкай,
раздуйся от жратвы и от питья.

(Перевод В. Британишского)

Но это уже другой — замечательный — поэт Ян Спек, выходец с Херсонщины, знаток и переводчик русской поэзии, в частности Хлебникова, — и другое время. Подборку Яна Спекка стоит прочитать полностью — превосходные стихи. Впрочем, в обоих томах превосходных стихов и превосходных подборок много.

И чтобы уж закончить с параллелями с русской поэзией, стоит обратиться к Марии Павликовской-Ясножевской. Она первая польская поэтесса, которая писала о любовном чувстве напрямую, откровенно и непосредственно, не окутывая его поэтической символикой. Ее называют польской Ахматовой, они принадлежат к одному поколению, и тема первых книг у них общая — любовь. Но у ранней Павликовской не встретишь резких трагических диссонансов вроде «я на левую руку надела перчатку с правой руки». Ее любовные трагедии скорей меланхоличны. Вот знаменитое стихотворение «Любовь» из знаменитого же сборника «Поцелуи» (1926):

Вот уж месяц мы не встречались.
Ну и что? Я бледней немножко,
чуть сонливей, молчаливей малость...
Значит, жить без воздуха можно?

(Перевод Н. Астафьевой)

Польский критик Ежи Квятковский заметил, что поэзии Павликовской-Ясножевской присущ «абсолютный слух женственности». Наталья Астафьева сумела (а это безумно трудно) воспроизвести по-русски ощущение этого «слуха», хотя в оригинале, по-польски, «Поцелуи» звучат чуть легче, прозрачней, воздушней, чем в переводе. Органичность синтаксиса, лексики, интонации, точные, но не броские рифмы и что-то еще — неуловимое — создают впечатление, будто каждое из этих четверостиший родилось без всякого труда, на одном вздохе. А переводчице как-никак приходилось трудиться, придумывать, искать, чтобы как можно точнее передать то, что вложено автором. Говорю я это, разумеется, не в укор, а в качестве грустной констатации ограниченности возможностей любого переводчика.

Читая антологию, видишь, что в польской поэзии рифмованный метрический стих и впрямь вытеснен верлибром, и завершился этот процесс примерно в семидесятых. К этому времени даже Ярослав Ивашкевич практически перешел на верлибр. И дело тут не в моде, процесс скорее объективный. Видимо, справедливы утверждения поэтов, что рифмованный силлабический стих в языках с фиксированным ударением (а в польском ударение всегда на предпоследнем слове, на что еще в 1948 году особо пенял Галчиньский в своей инвективе «К польскому языку») исчерпал себя, отчего они и начали освобождаться от оков метра, ритма, рифмы.

маленький был я парусом слез прикрытый
но это поместится разве
в рифмами сшитом
рассказе, —

так писал в конце тридцатых годов Юзеф Чехович (перевод Н. Астафьевой).

Первую примерку свободного стиха к польской поэзии сделал еще в начале XX века Ян Каспрович (кстати, автор первой польской книги стихотворений в прозе «О героическом коне и рушащемся доме») в своих «Гимнах». А затем, начиная с «краковского авангарда» (и даже раньше), несколько поколений сотворили поэтическое явление, именуемое «польский верлибр». Это не дадаистская нарезка из газетных строк, верлибр у польских поэтов (если они поэты) — структура организованная: иногда нерегулярными ассонансами или диссонансами, иногда аллитерациями или инструментровкой на гласных, но в основном интонацией, зачастую весьма прихотливой, как, например, у Виславы Шимборской, великолепного мас-

тера верлибра, у которой, кстати, были и виртуозные стихи, построенные на рифме. И переводчики антологии стараются последовательно выдерживать принцип организации верлибра, хотя в переводах из Шимборской, как мне представляется, интонационная скрепа иногда чуть-чуть ослаблена. А вот переводы из Халины Поставтовской, Виктора Ворошильского я без колебаний назвал бы образцовыми.

Переводчики включили в антологию, пусть небольшими подборками, поэтов, прочно вошедших в литературу в восьмидесятые и девяностые годы, иными словами — открыли нам имена нового поэтического поколения, и по крайней мере двое из них — Вальдемар Желязны с «Мистификациями» и Лешек Энгелькинг — производят сильное впечатление. Это настоящее.

Хотелось бы привести несколько образцов прекрасных верлибров, но ограничусь одним — стихотворением «Некоторые любят поэзию» Виславы Шимборской в переводе Н. Астафьевой:

Некоторые —
то есть не все.
Даже не большинство — меньшинство.
Не считая школ, где заставляют,
и самих поэтов,
из тысячи таких найдется двое.

Любят —
но любят и суп с вермишелью,
любят комплименты, любят голубое,
любят старый шарфик,
любят настоять на своем,
любят гладить собаку.

Поэзию —
но что такое поэзия?
Множество сомнительных ответов
на этот вопрос уже давали.
А я как не знаю, так и не знаю
и держусь за незнание, как за перила.

Стихотворение как раз для конца века. Как-то так получается, что в конце века (и пошло это чуть ли не с XVII столетия) интерес к поэзии падает, число *некоторых*, которые любят поэзию, уменьшается. Но мы уже вступили в новый век, и есть надежда, что наступит, как это не раз бывало, новый взлет поэзии, появятся новые поэты, новые направления, новые пути. (Хотя и кажется, что все уже открыто, что дальше двигаться некуда, но представление это обманчиво...)

А *некоторые*, убежден, будут благодарны авторам этой любовно составленной и со вкусом сделанной антологии.

Леонид ЦЫВЬЯН.

С.-Петербург.

*

«ДЕДУШКА НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ»

Этгар Керет. Дни, как сегодня. Предисловие, перевод и комментарии А. Крюкова. М., Издательский дом «Муравей-Гайд», 2000, 255 стр. («Новая израильская проза»).

В рассказе «Иностранный язык» девушка просит молодого человека сказать ей о любви на каком-нибудь экзотическом языке. Герою ничего не приходит в голову. Рассерженная подружка швыряет в него пепельницу. «Тяжелую», «с эмблемой страховой компании», — замечает наблюдательный юноша, по всей видимости в унисон с автором, знающим толк в деталях. Повинуясь подсознательному (а может быть, и сознательному) желанию читателей, тяжелая пепельница со страхово-вой гарантией попадает необразованному любовнику прямо в лоб. Метка вахханка вопит: «Люби меня, люби меня!» (это оргазм). Обливаясь кровью, герой (таки герой!) пытается сложить любовное признание на экзотическом русском наречии,

но его заимствованный у «русских» коллег словарный запас вмещает один только мат. Самодостаточная сцена, исполненная брутальной эротики и типичного для Керета черного юмора. Невысказанные русские слова оказываются как бы и высказанными — и вполне кстати.

Существует концепция Израиля как места встречи культур, их синтеза на еврейской основе. Эта концепция представляет собой секулярную редакцию мистической теории о миссии еврейского народа как собирателя божественных *искр* в ночи рассеяния и возвращения их Всевышнему. Собираение и синтез действительно происходят, однако же — не высокой духовной культуры, как предполагалось, но грубой и низкой. Во всяком случае, так выходит у Керета. На языке каббалы это называется *клиптон* (шелуха, кожа) — изнанка, инверсия святости.

Керет демонстрирует русский вклад в этот непредполагавшийся синтез. Пожалуй что у автора нет предпочтений, и он распорядился бы подобным образом с любой национальной составляющей, но просто русская у всех на кончике языка¹ и идеально подходит к ситуации.

Непосредственно перед взрывом чувств девицы с лингвистическими фантазиями герой пытается уговорить ее: «А что, иврит недостаточно хорош?.. Язык Торы». Иврит, язык Торы, оказывается, увы, хорош недостаточно. Предложение оценивается как заведомо недобросовестное, за что бедный малый получает по лбу.

Апелляция к Торе носит двойственный характер: конечно же она абсурдна в контексте рассказа. Когда протагонист говорит «язык Торы», он вообще ничего не имеет в виду, он просто механически воспроизводит обесмысленное от постоянного повторения языковое клише. Если наполнить его содержанием, то возникает забавная коллизия. Скажем, «Песнь песней»² считается в иудео-христианской (западной) культуре эталоном любовной лирики. Но, с точки зрения девицы, в иврите нет и не может быть ничего, кроме пошлой обыденности, а она ею и так сыта по горло. Так ты еще и издеваться! На, получи пепельницей! Для героев Керета иврит — грубое инструментальное средство. На нем можно предложить трахнуть, но нельзя признаться в любви.

Сионизм породил массу внутриеврейских конфликтов. Один из них филологический. Пафос возрождения иврита как разговорного языка столкнулся с жесткой ортодоксальной оппозицией: иврит — священный язык, и он не должен быть профанирован, не должен быть превращен в язык улицы. Еще и сегодня в Израиле можно встретить ортодоксов, предпочитающих в своей среде пользоваться в обыденной жизни идишем. Сионизм победил, иврит возрожден, он стал языком улицы, но человек улицы (у Керета) не может сказать на нем о любви.

На обложке книги Керет вписан в Маген Давид — шестиконечную звезду. Уж не знаю, что имел в виду художник — должно быть, изобразить что-то символически еврейское. В каком-то смысле он преуспел: ядовито фиолетовая звезда с багровой начинкой и тремя спиленными концами демонстрирует, что случилось с идеалом, что произошло с сионизмом.

Сказать, что писатель осмеивает ценности предшествующих поколений, было бы слишком сильно: осмеяние требует энергии, отсутствующей у Керета, — скорей уж он насмешничает, но насмешничает тотально: семья, отношения между людьми, армия, политические символы, религия, даже Катастрофа³.

В рассказе «Рабин умер» речь идет о гибели одноименного премьеру кота, которого хотели первоначально назвать Шалом, «так как Рабин умер ради мира». Завершение сюжета вызывает в памяти пассаж из «Графа Нулина»:

¹ В слегка гебраизированном виде русская ненормативная лексика широко укоренилась в иврите и приобрела нормативный характер.

² Слово «Тора» многозначно. Трудно сказать, что имеет в виду герой, — скорей всего что-то вообще священное и хорошее, но мы не ошибемся, если отнесем его в данном случае ко всей Библии, поэтому пример с «Песнью песен» вполне уместен.

³ Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны — то, что столь неудачно зовется обыкновенно в русском словоупотреблении Холокостом. На иврите используется в этом случае слово «шоа», которое переводится на русский как «катастрофа». Именно так и переводит Крюков.

Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину...

Эпизод римской истории, имевший грандиозные последствия, замещается забавным усадебным происшествием. С одной стороны, эта занижающая проекция сама по себе комична. С другой стороны, здесь возникает вполне серьезный вопрос о недетерминированности истории. Что было бы, если бы Лукреция повела себя, как славная Наталья Павловна? История пошла бы по-другому? У Керета понижение еще кардинальней, но механизм тот же самый.

«Проходя через свой двор, я остановился на минутку возле могилы Рабина и подумал о том, что бы случилось, если бы мы не нашли его, как бы тогда сложилась его жизнь. Может быть, он замерзал бы от холода (это в Тель-Авиве-то! — М. Л), но скорее всего кто-нибудь другой взял бы его домой, и тогда бы его не задавило. Все в жизни — вопрос везения. Даже настоящий Рабин, если бы после того, как он вместе со всеми спел „Песнь о мире“, не стал сразу спускаться с трибуны, а подождал немного, был бы еще жив, и вместо этого стреляли бы в Переса... Или если бы у той с площади не было приятеля-солдата и она таки дала бы Тирану свой телефон, а мы бы назвали Рабина Шаломом, — то все равно его бы задавило, но по крайней мере дело не кончилось бы мордобоем».

Один из самых забавных рассказов сборника «Кроссовки» посвящен восприятию Катастрофы израильским мальчишкой 90-х годов. Он понял так, что отменные немецкие кроссовки, о которых столько мечтал, сделаны из костей, кожи и плоти его замученного нацистами дедушки. Так сказал выступавший перед детишками суровый ветеран, и мальчик, величающийся своим мучеником-дедушкой перед одноклассниками — сплошь выходцами из Ирана, — ветерану поверил, поняв метафору буквально. Далее рассказывается, как юный герой рефлектирует, надевая кроссовки. Как он ходит сначала на цыпочках, чтобы не травмировать дедушку, как, играя в футбол, старается «не бить по мячу носком, чтобы не сделать дедушке больно», но потом, конечно, увлекается.

Конец рассказа: «Классный ударчик был, а? — напомнил я дедушке по дороге домой... Дедушка ничего не ответил, но, судя по тому, как удобно мне было идти, я могу сказать, что он тоже был доволен».

Абсурдность и бессмысленность жизни, чернуха, взрывы жестокости и агрессивности, выхолащенные отношения между людьми — правда, неизменно смягченные улыбкой — кочуют из одной миниатюры в другую. Читать это порой забавно, а порой скучновато: все-таки трудно сделать пустоту занимательной.

«Посмотри на свою грустную жизнь. Ты пустой, лишенный ценностей человек, — нудел мне рав и постоянно приводил цитаты» («Каценштайн»). Принудительный собеседник-моралист, сосед по самолету, не закрывавший рта пять часов кряду, на самом деле был совершенно прав и в отношении этого, и в отношении прочих героев Керета, но его правота оказывается пошлой, неадекватной, смехотворной. В мире Керета вообще нет правых, как нет и правоты — его мир бесструктурен.

В рассказе «Взведен и на предохранителе» арабы непрерывно и в сознании полной безнаказанности глумятся над израильскими солдатами, при первой возможности калечат и убивают их. Ответить нельзя: европейский гуманизм не позволяет. Однако разрешить эту коллизию проще простого: надо лишь избавиться от гуманистических предрассудков и стать такими же, как арабы. Керет очень живо изображает эту запретную возможность.

«Верх будет мой, потому что сейчас я — как он, а он — с винтовкой в руках — будет в точности как я. Пусть его мать и сестра трахаются с евреями, пусть его друзья лежат в больнице парализованные, а он будет стоять с винтовкой напротив меня, как пидор, и не сможет ничего сделать. Как я вообще могу проиграть?»

Он поднимает „Галиль“, когда я меньше чем в пяти метрах от него, снимает с предохранителя, прицеливается с колена и нажимает на курок. И тут он обнаруживает то, что я обнаружил в последний месяц в этом аду: эта винтовка — дерьмо, три с половиной килограмма ненужного металла. Она не стреляет... Я подбегаю к нему раньше, чем он успевает подняться...»

Завершающую рассказ расправу над арабом я опускаю. Она описана с воодушевлением человека, который в жизни и мухи не обидит, — литература как средство психотерапии. Полагаю, многие в Израиле прочли этот замещенный здесь отточием пассаж с чувством глубокого удовлетворения.

Кстати, «Галиль» — автоматическая винтовка. Походя Керет разрушает миф о непобедимости израильского оружия. Ну решительно нет ничего святого!

Переводчик и автор предисловия Александр Крюков констатирует, что «многие рассказы написаны без малейшего указания на национальность автора и героев, а также место событий». И добавляет: «В этом — заслуга автора». Признаться, не вижу тут никакой заслуги — всего лишь особенность, которую многие сочли бы вопиющим недостатком. Крюков полагает, что вненациональность («общегуманизм») — неперенный атрибут «настоящей литературы», однако в конце концов все зависит от дефиниции.

В любом случае перенос даже таких рассказов на иную национальную почву не будет инвариантен. Их содержание снивелируется до интернациональной литературы абсурда, усреднится и обеднится: ведь остроту им придает великий сионистский миф и постоянная опасность террористических актов и войны — неотъемлемый и в высшей степени контрастный фон вымороченной жизни героев Керета.

И действительно, можно выстраивать параллели между Керетом и приходящим русскому читателю на ум Хармсом или западноевропейскими абсурдистами. Да только набухающая кровью во тьме египетской советской ночи Россия тридцатых и обесмыслевший послевоенный Запад создают совсем иной контекст. Если же вослед за Набоковым считать, что литературу порождает все-таки не жизнь, а литература, то стоит обратиться и к домашним израильским поварам, готовившим абсурдистские блюда. Таким был недавно умерший драматург Ханок Левин.

И в заключение — рассказ «Фокус с цилиндром», который может быть понят и как литературная саморефлексия. У некоего фокусника, от лица которого ведется повествование, есть ударный номер: он вытаскивает из цилиндра за уши живого зайца. В эпоху видеоигр этот номер (что уж говорить обо всех прочих!) не пользуется у ребятни особым успехом. Но однажды фокусник неожиданно для себя вытаскивает из цилиндра одну лишь окровавленную голову своего ушастого ассистента. Успех потрясающий! Детишки в полном восторге! Фокусник завален предложениями. На следующий день он вынимает из цилиндра мертвого младенца. Дети неистовствуют! Вот это да!

Фокуснику, которому пошла такая небывалая везуха, жить бы да радоваться, а он совершенно разбит, испытывает отвращение к фокусам «и думает о голове зайца и трупике младенца». «Будто это какие-то намеки... будто кто-то пытался мне что-то сказать. Например, что сейчас не самое удачное время для зайцев, а также и для младенцев. Что это не самое лучшее время для фокусников».

Михаил ГОРЕЛИК.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ

+7

Л. В. Зубова. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 431 стр.

Этой книге, этому научному труду, при всей его очевиднейшей добросовестности, я могла бы предъявить множество претензий — и крупных, и по мелочам. Почему, обследуя языковые характеристики «неканонической поэзии» последних тридцати лет (три с половиной сотни поэтических имен!), автор всю эту компанию стремится подвести в своем трактатообразном «Введении» под тривиальнейшие

признаки постмодернизма («мир как текст», ирония, центонность и проч., а в «Заключении» вдобавок — «утрата бытия»)? Разве Ю. Кублановский, барды Ю. Ким и М. Щербаков, «детский» поэт Б. Заходер и многие прочие, кого Л. Зубова неоднократно цитирует, годятся в постмодернисты? Почему, при всем ошеломляющем изобилии иллюстративного материала, она часто ищет не там, где может лежать нужная вещь, а, следуя известному анекдоту, «под фонарем, потому что там светло»? То есть — среди нарочито экспериментаторских текстов, откуда языковые фортели можно грести лопатой, но где они так и не претворены в факты поэзии. (Например, игра семантических вариантов: «ветер — ветр», «берег — брег» проиллюстрирована невыразительными строчками Т. Буковской и А. Крестинского, между тем как существует превосходное стихотворение А. Кушнера, специально занятое языковой рефлексией на эту тему; в разделе о «превратном» порядке слов в поэтической синтаксисе не нашлось места наиболее дерзким — и убедительным — архаизирующим опытам М. Амелина и т. д.). Почему не сделано никакой попытки привести сугубо лингвистическую терминологию, которой на законных основаниях пользуется автор, в некое соотношение с устоявшейся литературоведческой и стиховедческой («каламбур», «сдвиг», «поэтическая этимология», «поэтическая вольность» и проч.)? Почему исследовательница так наивна, когда пересекает границы своего строго профессионального кругозора («кафолический» объявляет вышедшим из употребления вариантом слова «католический» наподобие «альбума» или «маскерада»; в слове «прильпнуть» не замечает церковнославянизма; «Отче наш» со знанием дела называет молитвой «утренней», «начинательной», не подозревая, должно быть, о ее евангельском источнике и особом месте в молитвословии; Поля Рикёра именует теоретиком постмодернизма и т. п.).

...А между тем — книга просто захватывающая. Она с энтузиазмом откликается на малейшие вибрации стихотворного слова, сопереживая ему, а не только накалявая на научную булавку (о чем, в частности, свидетельствуют эпиграфы, остроумно подобранные к каждому из разделов). Исследовательница выступает сразу в роли Ноя и в роли Линнея: берет в свой ковчег «чистых» и «нечистых» и каждому находит классификационную ячейку, не прибегая к оценкам (я-то, будучи несколько причастна к работе над «Поэтическим словарем» А. П. Квятковского, знаю, сколько волнений и радости доставляет процесс подобного коллекционирования). Эстетические суждения в таком труде, действительно совершенно излишни — важно проследить тенденцию (а из приводимых цитат и так видно, что Лосев, Гандельсман или Строчков талантливы, Кедров же — ничуть).

Выявленная тенденция между тем подтверждает то, о чем уже писала критика: авангардную роль восемнадцатого века и славяно-русской древности в обновляющемся потоке современной поэтической речи. Некоторые подробности этюды на эту тему — например, вокруг слов «зга» и «очи» — можно считать наилучшими образцами занимательной филологии. (Вообще в книге «эксперименты» по возможности тщательно соотносятся с «корнями», иногда не только дальними, но и пушкинскими, тючевскими...) Впечатление же от вороха стихов такое, что многочисленные ученики покинувших нас чародеев выпустили наружу огромные магические энергии языка и, не осененные гениальностью, часто бессильны с ними справиться. Наиболее безграмотные опыты автор деликатно определяет как «аграмматические архаизмы» (к коим я бы отнесла неправильное употребление глагольной частицы «суть» у Бродского).

Но вот еще что. В подлунном мире жив будет хоть один пиит, пока остаются такие воодушевленные читатели-собиратели-изучатели, как автор этого труда.

Дмитрий Авалиани. Лазурные кувшины. Стихотворения. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2000, 151 стр.

Превосходно изданная книга одного из тех обновителей современного поэтического «метатекста», о которых пишет Л. В. Зубова.

Отличная бумага, полиграфия, на обложке — «знаки Зодиака», начертанные рукой поэта-«шрифтовика», а внутри, среди стихов как таковых, — выполненные в той же манере визуальной поэзии его интригующие «листовертны». Четыре (!) послесловия, озабоченные истолкованием творческих чудачеств очень непривычного

поэта: их авторы — С. С. Хоружий (даже заговоривший по этому случаю стихами, но точнее всего сказавший о своем предмете смиренной прозой: «Неуловимо, но ошутительно игра приема переходит в дыхание Большой темы»), Данила Давыдов («Поражает виртуозная способность Авалиани говорить на совершенно различных поэтических языках, не пользуясь концептуалистскими масками и сохраняя целостность лирического я»), Илья Кукулин (о «языковом театре» поэта), Михаил Ойстачер (о его «рисованных словах» как форме поэзии). Надеюсь, что некая торжественность издания не означает того, что немолодого Авалиани оттесняют в почетное прошлое. Его к тому же равняют с Хлебниковым, но надо бы поосторожнее: Хлебников был первым, овладеть его средствами (а также отчасти средствами обэриутов) еще не значит разделить с ним(и) его (их) место.

Авалиани прославился составлением ярких — афористически и стилистически значительных — полиндромов (они печатались и в «Новом мире», Зубова приводит пример сродной игры: *не божжи вы небом живы*). Но «Лазурные кувшины», не покидая области игр, наполнены лирическими стихами, иногда тончайшего разбора: «Что надо, чтоб летать? / Все лишнее убрать, / как пуля в воздухе скользят. / Но взмыть желая ровным быть нельзя. // Как шершень будь взъерошен и шершав, / широким парусом дубрав, / взлохмаченным всевидящим орлом / лоящим ветер вздыбленным крылом».

У Ильи Кукулина не зря прозвучало слово: *барокко*. Можно было бы сказать не только о прихотливых барочных опытах — по части составления стихотворных алфавитов, например, — но и об особой религиозности барокко, о новом пронзительно-вопросительном осмыслении старых истин веры. Недаром книга Кувшинов распечатывается чудным рождественским стихотворением:

Едва вздохнул Господь-младенец,
звезды забрезжил леденец,
из мрака черного как перец
внесли кудесники ларец.

Пастух укутал шерстью ноги,
ложесна отворившие по книге
небес сиявших звездочет
сказал, куда стезя течет.

.....
Мы спасены, хоть путь еще далек
и пирамиды нам предстанут.
Расти зерно, и вкось и вбок,
пока глаза на свет не глянут.

Полина Иванова. Ода улице. Разнообразные стихи. М., «Арго-Риск»; Тверь, «Kolonna Publications», 2000, 95 стр.

«Полина Иванова» — это псевдоним псевдонима. Поэт Ольга Иванова (по паспорту Яблонская; о ее первой книжке, выпущенной теми же издателями и, естественно, столь же гомеопатическим тиражом, мне уже приходилось писать в журнале «Арион») выступает в качестве «Полины», когда не хочет быть «просто Ольгой» с распахнутой душой, — во французском, хотя и обрусевшем, имени ей, видимо, чужда некая масочность и травестийность. В первой книжке — «Когда никого» — ей как раз удалось слить немислимую эту разноликость «цветаевского» и «олейниковского» начал в единый лирический образ. Потом — перестало удаваться. *Ольга* пишет и издает в 1999 году в том же привычном месте сто стихотворений под вполне цветаевским названием «Офелия — Гамлету» — любовную по преимуществу лирику в духе «поэтической истерии», как она сама беспощадно квалифицирует этого свойства выбросы. *Полина* же — просит у «собратьев по перу» за таковую истерию прощения и пускается во все тяжкие показного нигилизма. Можно сколько угодно иронизировать над приключившимся тут раздвоением, припоминая Козьму Пруткову, «который наг» и «на коем фрак». Но Иванова — поэт очень искренний и неопровержимо одаренный; так что, если две струны ее души звучат сегодня врозь, значит, иначе она просто не может.

Данное поэтическое имя в труде Л. В. Зубовой, заметим, отсутствует, но это просто потому, что консультанты нашего лингвиста все больше указывали пальцем на «поздних петербуржцев» и кедровских «метаметафористов», других же подходящих мало замечали. А так, именно из Ивановой можно было бы вытянуть гирлянды псевдо- и просто архаизмов, перемешанных со сленгом, головокружительных инверсий и прочего копимого названной исследовательницей добра, а заодно — целый словарь свежих диссонансных рифм. Но дело совершенно не в этом.

В небрежных стихах, адресованных своей цеховой тусовке, в «письмах с понтом» — этом новом приклатенном потомстве старого жанра «послания», в усталых шутках-прибаутках живут и взывающий к сочувствию непритворный скепсис, и вызывающий уважение стоицизм, и завидно здоровое «несмотря ни на что». Хороших стихов — как отдельных, выражаясь по старинке, «пьес» — маловато, а в целом книжка все же удалась: уличный шарж-портрет, «душа и маска».

Алексей Машевский. Сны о яблочном городе. Свидетельства. СПб., 2001, 64 стр. (Литературный альманах «Urbi», вып. 33. Серия «Новый Орфей» /6/).

Вот Машевский-то как раз мог бы в монографию Л. В. Зубовой не попадать; хотя он там дважды фигурирует (причем в первом примере не распознано, что «желтый» — это у него намеренная орфографическая цитата из Блока), его поэтика лежит вне области зубовских интересов.

Четвертая книга петербургского поэта из нынешних «сорокалетних» — это большой массив убористо напечатанных стихов 1997 — 1999 годов. Она неотразимо значительна своей тягостной, ртутной насыщенностью болью — и рефлексией по поводу боли. Любовь, страна, чужбина — и надо всем смерть. И даже не «загадка зги загробной», от которой так импульсивно отмахнулся молодой Пастернак, — загадка как раз может способствовать поэтическому воздухоплаванию, — а смерть по сю сторону существования, лишенное загадочности «бытие-к-смерти». «Посмотри: мы только тратим... / В метинах пигментных пятен / Тело после сорока, / В папилломах желтой кожи... / Так зачем Тебя, о Боже, / Призывать издалека?! / Чтобы что-то в нас подправить, / Здесь усилить, там убавить / Крови гаснущий напор, / Чтоб привычная к работе / Продолжать машина плоти / Впредь могла свой тщетный спор / С временем? Ведь только этот / Страх нас нудит ждать ответа / Из застывшей пустоты. / Всех гарантий вышли сроки. / Только жадность в подоплеке / Скудной веры в сон глубокий. / Тот, в котором тоже Ты». Сказать: «И нам с тобой когда-то предстоит / Родить пустое место, очищая / Путь тем, кто ждет, кто в очереди...» — можно с совершенно иной, примирительной, «пушкинской» интонацией. Но у Машевского звук — трагический, и в этот трагизм верится, что бывает так редко... Экзистенциальный ужас: жить, чтобы «родить пустоту», — настолько ощутителен и заразителен, что уже не помнишь, стихи ли это перед тобой, ловишь мрачную в ее достоверности весть *сквозь* стихи. Оказывается, допустимо полусознательно черпать из прошлого стихотворства (из позднего Вячеславского, например) или следовать интонационным очертаниям ближайшего учителя (Кушнера), допустимо довольствоваться силлаботоникой, то слегка переводя ее в режим акцентного стиха, то впадая в «романс» («Это жизнь, за собою не зная вины, / Лжет и лжет, непрерывно маня, / Но сестра ее, та, чьи объятья верны, / Подождет и утешит меня»¹), допустимо ограничиваться устоявшейся литературной лексикой — и при всем этом сообщать свое человеческое страдание и философскую мысль о нем так внятно и так настоятельно, как не удастся поэтам с мгновенно узнаваемым голосом, с «фирменным» мелодическим рисунком.

Все-таки загадка поэзии — никак не меньшая, чем зги загробной.

¹ Как видим, Машевский возвращает полемический перепев Пастернака к первоисточнику — к Франциску Ассизскому: сестра моя смерть.

Владлен Бахнов. Опасные связи. [Повести и рассказы]. М., «Книжный сад», 2000, 287 стр.

Как бы то ни было, утешительно, когда отшедшие оставляют после себя не «пустоту», спешно заселяемую новичками, а стоящие книги. И когда есть кому их издавать и пояснять.

Владлен Бахнов (1924 — 1994), юморист и сатирик, для непосвященной публики старого образца известный как автор, в паре с Я. Костюковским, стихотворных фельетонов, а для посвященной — как сочинитель когда-то знаменитой на московских кухнях и в вольнолюбивых турпоходах песни-пародии «Какая чудная земля вокруг залива Коктебля»², открывается теперь для меня с неожиданной стороны. В качестве создателя пусть и не столь же яркой, но зато вполне самостоятельной параллели к «Звездным дневникам Йона Тихого», «Профессору А. Донде» и вообще ироническому Станиславу Лему.

«Впечатление такое, будто практически все вещи написаны не в 60 — 80-е годы, а буквально сегодня, сейчас», — утверждает во вступительной заметке Анатолий Приставкин. И если это преувеличение в том, что касается повести, давшей название сборнику (кое-кто, читая ее, испытает ностальгию по совку, бескорыстной дружбе с недоразвивающимися островными государствами и недоливу пива), то насчет более отлетней от злости дня сатиры «Как погасло солнце, или История тысячелетней диктатуры Огогондии, которая существовала 13 лет 5 месяцев 7 дней» это — вопреки осмотрительному намеку на такую же недолговечность гитлеровского рейха — пожалуй, что и справедливо. Страна, вызывающая у великих держав головную боль, так как «ее, прежде чем ограбить, надо было хотя бы одеть», — это про кого и про какие времена? «Синдикат перестал быть государством в государстве, поскольку стал самим государством. Поэтому удалось резко сократить полицейский аппарат: гангстеры сами поддерживали порядок в своем государстве» — это чистейшая Юлия Латынина, прозорливо опереженная на четверть века.

В некоторых миниатюрах из «инопланетного» цикла «Ахи» (в «Одиночестве», к примеру) прочитываются неиспользованные возможности позднесоветского писателя, который был достаточно одарен, чтобы писать лучше, чем ему позволяли³.

Сын писателя Леонид Бахнов предпослал сборнику прекрасное мемуарное предисловие. Хорошо было бы, если бы его сыновней преданности хватило и на внимательную вычитку последней корректуры (впрочем, иногда сделать это не удастся «по техническим причинам»). А то повесть «Опасные связи», набиравшаяся, видимо, по рукописи (она прежде не публиковалась), кишит таким количеством опечаток, что неловко становится за достойное в других отношениях издание.

Поль Рикёр. Время и рассказ. М., ЦГНИИ ИНИОН РАН, «Культурная инициатива»; СПб., «Университетская книга», 2000. Т. 1 — 313 стр. Т. 2 — 217 стр. (Серия «Книга света»).

В оригинале книга, изданная в Париже в 1985 году, называется «Temps et récit». Ее перевод (Т. В. Славко, под научной редакцией И. И. Блауберг), отлично, как представляется, выполненный, — весьма своевременен. Он отчасти способен излечить нашу усталость от запоздалой моды на французский деконструктивизм, от бесконечного коловращения одних и тех же постмарксистско-постфрейдистских имен. Утешительно сознавать, что 88-летний философ такого масштаба и такой интеллектуальной отчетливости еще живет среди нас и что, с его любезного разрешения, мы можем теперь беспрепятственно читать его по-русски.

² Мы пели именно так, а не как приводится на стр. 11 в воспоминаниях Бахнова-сына.

³ Л. Бахнов сообщает, что по ходу работы для 16-й страницы «Литературки» Владимиру Ефимовичу пришлось в одном из юмористических рассказов изменить фамилию персонажа с «Пумпянского» на «Пампунского», чтобы не был задет журналист-международник по фамилии Пумпянский. Характерно, что никто и не вспомнил тогда о существовании интереснейшего филолога и философа Л. Пумпянского, чьи труды были почти изъяты из обращения. Нет, хорошо все-таки, что времена «Опасных связей» навсегда позади.

Направленческий ярлык, каковой можно навесить на Рикёра: феноменолог школы Гуссерля, экзистенциалист с религиозными обертонами, не чуждый структуралистских методик. Но это мало что скажет о содержании его своеобразного труда. А задумано здесь небывалое: путем тончайшей герменевтики «великих текстов» — от Аристотеля и Августина до Т. Манна и Пруста — показать культурную общность переживания времени при передаче личной, исторической — и литературно-вымышленной событийности. В конструкции Рикёра наводятся перекрытия между такими различными «повествованиями», как «Исповедь» Августина и «Поэтика» Аристотеля, или, скажем, «Бытие и время» Хайдеггера и «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф. Зачем? Затем, чтобы обнаружить, что «рассказанное время» — это всегда особым образом движущееся *человеческое время*, находящее свой упор и разрешение в вечности. Замком этого возведенного философом свода станет анализ восприятия времени в сознании *читателя*, единого адресата как исторических, так и вымышленных фабул, — чему посвящена заключительная часть труда, готовящаяся к изданию.

В первом томе («Интрига и исторический рассказ») меня больше всего заинтересовала разумная критика прославленной школы «Анналов»: воздавая должное ее новизне и плодотворности, философ предостерегает от растворения «человеческого времени» в природной безвременности «больших длительностей» и инерционных «ментальностей». То есть он возвращает их права историческим именам и историческим событиям — опорным точкам *рассказа* (то, что нашим историкам, совсем грубо говоря, приходилось делать после засилия школы Покровского). Во втором томе («Конфигурации в вымышленном рассказе») разборы «Волшебной горы» Т. Манна, романов В. Вулф и Пруста — просто-напросто великолепная литературная критика (подобно тому, как сам Рикёр называет «гениальным критиком» М. М. Бахтина, автора книг о Достоевском и Рабле).

Пленяет и откровенный европоцентризм мысли Рикёра. Однако поневоле призадуматься над тем, что в первом томе его труда не упоминается ни одного русского автора (а ведь там как раз поставлена проблема «последнего летописца» — грани между исторической хроникой и историческим исследованием, — которую так удобно решать на примере Карамзина). Зато во втором томе триумфально присутствуют и В. Пропп со своей «волшебной сказкой», и Бахтин, и Б. Успенский. Видно, мы для Запада остаемся страной «литературной», но не являемся страной «исторической». Увы!

Не буду притворяться, что я овладела этим сложнейшим философским построением с его специально выработанной терминологией. Но при первом знакомстве стало понятно — это *стоит* изучать (как когда-то я внимательно изучала эстетику старшего современника Рикёра — феноменолога Романа Ингардена).

Вильям Похлёбкин. Кухня Века. М., «Полифакт», 2000, 616 стр., с илл. («Итоги века. Взгляд из России»).

Вильям Васильевич Похлебкин (1923 — 2000) трагически погиб, не дожив до выхода в свет этого роскошного, превосходно иллюстрированного знаменитыми натюрмортами, рекламной графикой, старыми вывесками и прочим фолианта, изданного под той же эгидой, что и «Строфы века» Евтушенко, переводческая антология Е. Витковского и др.

Вот уж оригинальнейший исторический изыскатель, которого смело можно было бы отнести к школе «Анналов», сознавал он это сам или нет! Ибо что, как не кулинарная культура, должно стать предметом глубокого интереса для историка, в центр своих исследований ставящего устойчивые обычаи и жизненные навыки поколений? «Ментальность» едоков — особый, крайне любопытный тип ментальности, и Похлебкин тут — корифей.

Он принадлежал к числу тех людей, которые в унылые позднесоветские годы прорывались к удивительно плодотворным занятиям в полном отдалении от своего скучного официального статуса. Специалист по экономической географии Д. Н. Ляликов становится блистательным знатоком психоанализа, а специалист по скандинавской философии Похлебкин — энтузиастом и историком-поэтом кули-

нарного дела. Талант всегда найдет выход, если не уничтожить его носителя физически.

Я помню время, когда мы воспринимали кулинарную эрудицию Вильяма Васильевича с чисто практической стороны (тем более, что некоторые указания по-счастливилось получать от него изустно, а не только находить в его газетных колонках и брошюрах). До сих пор, не прикрывая заварочный чайник тремя слоями тонкой льняной ткани, или оплошно ставя рядом с ним пахучую тарелку с рыбой, или выбегая из кухни к письменному столу (а в одной книжке В. В. был назидательно изображен повар, цепями прикованный к плите) и прозевывая нужные миги кулинарных манипуляций, я чувствую, что совершаю грех перед его памятью.

Но теперь, после публикации ряда монографий (в их числе «История водки»), стало ясно, что Похлебкину вполне удалось сопрячь оба призвания — певца кулинарного искусства и высокопрофессионального историка, соединив их с даром вдохновенного литератора-рассказчика.

Описать все богатства этого тома невозможно. Его надо читать с достойной неторопливостью, неделями, а может, и месяцами, то восхищенно облизываясь (главы «„Серебряный век” русской кухни и европейской кулинарии», «Крупнейшие кулинары XX века»), то с горестным волнением (главы «Еда в эпоху революции и гражданской войны в России», «Еда в годы Великой Отечественной войны», «Антиалкогольная кампания в годы „перестройки”»).

Взор Похлебкина охватывает Европу, Америку, Россию и Восток, но наибольшее место уделено нашему отечеству. Приятно прочитать в изящном мини-предисловии Петра Вайля, что патриот Похлебкин, «едва ли не первым в наше время заговоривший о русской гастрономической культуре... ставит Россию в мировой контекст... исправляет геополитические аномалии наиболее натуральным для человека путем». Еще приятнее узнать из заключительной главы, что «в будущем мы будем питаться не пилюлями и концентрированными микстурами, а самой разнообразной животной и растительной пищей в высококвалифицированной кулинарной обработке».

-3

Томас С. Элиот. Практическое котоведение. Перевод с английского и комментариев С. Г. Дубовицкой. СПб. — М., «Летний сад», 2000, 94 стр.

После махины В. В. Похлебкина так и просится в руки эта маленькая элегантная книжечка с симпатичным тиснением на обложке и обаятельной графикой А. П. Паркиной. Издательской аннотацией книга адресована «всем котознатцам и поклонникам Элиота», а значит, мне, ибо поэзия (именно английская вслед за русской) и кошки — для меня предметы еще более привлекательные, чем благородные секреты кухни. Очень хотелось бы книжку похвалить. Но — не получается.

Книжка — двуязычная, и наличие оригинала, боюсь сказать, убивает труд переводчицы даже в глазах тех, кто не знаком с переложением этих же кошачьих баллад, выполненным А. Сергеевым (см. сборник поэзии Т. С. Элиота «Бесплодная земля», 1971, и «Иностранную литературу», 1990, № 2; словосочетание «Практическое котоведение» заимствовано у него же. С переводами Вас. Бетаки сравнить труд Дубовицкой я не успела).

Элиот опубликовал свою «Old Possum's Book of Practical Cats» (Старый Опоссум — его фамильярная литературная кличка) в 1939 году, преимущественно в расчете на детей (этот его цикл сравнивают со стихами Л. Кэрролла и Э. Лира); слог полон чеканного остроумия, рифмы точные и звонкие (ведь к этому времени рифма в европейской поэзии стала уже отходить в область детских забав и сонгов — мюзикл «Кошки» сделан по Элиоту). Удобные ритмические образцы переводчица могла бы позаимствовать из хорошего «русского» Кипплинга. Она честно и добросовестно трудилась, считая главной своей задачей максимальную смысловую близость к подлиннику, нахождение убедительных эквивалентов замысловатым кошачьим кличкам, посильную передачу каламбуров и словотворчества и т. п.

А стихи получились натужные, без крыльев. Рифмы часто неаккуратные (*пестровая* — *пятнами*, *дневная* — *наступает* и проч.), внутренние рифмы, столь любимые английскими поэтами, прочитываются плохо, ритм (например, семистопный ямба) несколько раз дает сбой. С точностью, претендующей превзойти предшественников, дело тоже обстоит непросто. По-английски *coat* — и верхняя одежда (пальто, пиджак), и меховая шкурка зверька, поэтому Элиот при изображении кошачьих рядов с легкостью пользуется этим словом в двойном смысле; Дубовицкая же не задумываясь одевает *получеловеченных* кошек в «пальто» (то же, впрочем, однажды мелькает у А. Сергеева) и «брюки» (у моего покойного кота были роскошные «штаны»-галифе — но брюки?!). И почему в меню одного из кошачьих персонажей — светского лакомки-сноба — оставлены только рис и капуста, а баранина (*mutton*) изъята? Каково ему без мяса, пусть и не совсем вкусного?

Но главное, повторю, нет ощущения *живого* стиха. Не сравнивая с версией Дубовицкой, просто приведу несколько строк из перевода А. Сергеева: «Желейные Кошки черны и белы, / Желейные Кошки хитры и умны, / Желейные Кошки довольно малы, / Зато изумительно сложены. / Желейные Кошки отнюдь не серы, / Желейные Кошки — высший свет, / Желейные Кошки ценят манеры / И любят музыку и балет». Сергеев передает непередаваемый неологизм Элиота словом, которое сразу напоминает о бескостной изгибчатости наших любимцев, а «геллокоты» Дубовицкой вызывают только искусственные и отдаленные ассоциации.

Впрочем, книжечка очень хороша как пособие по английскому: удовольствие от таких уроков обеспечено.

Дон Жуан русский. Антология. Составление, предисловие и примечания А. В. Парина. М., «Аграф», 2000, 574 стр.

«Аграф» анонсирует новую издательскую серию, цель которой — «проследить развитие „вечного образа“ внутри каждой из национальных литератур, для которых этот миф стал материалом для осмысления целостного образа человека в контексте Вселенной» (ох!); «...предполагается посвятить отдельные тома русской, французской, итальянской, испанской, английской и немецкой традициям». Ясно, почему начали с русской, выдернув ее из европейской, — не нужно выверять старые и заказывать новые переводы, можно по-быстрому разыскать и добавить к общеизвестным вещам два-три отечественных раритета — и том готов. И что за странная мысль: делить Дон Жуанов с их общеевропейской мифо-символической пропиской по национальному признаку? Разве следует героя оперы Моцарта, героев Проспера Мериме и Байрона расселять по разным квартирам, то бишь антологиям (при всех отличиях католического и англосаксонского миров)? И куда вы денете Дон Жуана из мудрого «апокрифа» Карела Чапека — автора, имеющего несчастье принадлежать к «малой» национальной культуре? А ведь чапекровский соблазнитель бесчисленных жертв, не способный к обладанию ими и потому множачий их число, — поистине конец «вечного образа», постигнутый одним из самых глубоких литературных умов прошлого века. Не лучше ли было бы представить Дон Жуанов в серии сменяющихся эпох — от Возрождения до постмодерна — вместо череды Дон Жуанов разных кровей?

Но все эти вопросы имели бы смысл, когда б издатели сами верили в свою «серию». В таком деле ведь главное — ввязаться и испечь первый блин, а там видно будет (или ничего не будет видно).

Первый же блин вышел отчасти комом. Предисловие известного переводчика и «опероведа» А. Парина в качестве историко-культурного путеводителя выглядит весьма легковесно и случайно; ничего собственно «русского» в русском Дон Жуане автор этих нескольких страниц не открыл — европейские его тезки такие же точно Путники с Большой дороги и даже иной раз мореплаватели. Примечания грешат спешкой: если каких-либо данных нет в подручном словаре (например, в «Русских писателях. 1800 — 1917»), то вы их не разыщите и с помощью Парина (скажем, остаются невыясненными годы жизни автора пьесы о Дон Жуане А. О. Мордвина-Щодро или год создания комедии А. В. Амфитеатрова «Дон Жуан в Испании»).

Что касается состава антологии, то, конечно, спасибо и за эту уморительную (вполне пригодную для современной сцены) комедию положений, и за «дон-жуанский» драматический цикл пост-обэриута и абсурдиста В. В. Казакова, и за опыты Н. Гумилева и Б. Зайцева, затерянные в собраниях их сочинений, и за эссе Бальмонта «Тип Дон-Жуана в мировой литературе» (где, впрочем, о русском изводе образа — ни слова). Но невыносимы — не только рядом с Пушкиным и А. К. Толстым, но даже рядом с опытным драмописцем А. Н. Бежецким — абсолютно графоманский опус вышеупомянутого Мордвина-Щодро (стиль вполне означает одна из реплик: «Вон дон!»), а того пуше — корявая похабщина Л. А. Корсунского «Женитьба Дон-Жуана» (пьеса, насколько помню, где-то шла, но здесь она «печатается по рукописи» — видимо, без купюр). В раздел поэзии включено, наряду с хрестоматийными вещами авторов серебряного века, невнятное, как водится, стихотворение В. Сосноры, но опущен куда более значительный «Старый Дон Жуан» Д. Самойлова (первое, что пришло в голову, я ведь не мечу в составители).

В общем, слепо все наскоро, и многого от затеи в будущем ждать не приходится. А все же я не отказалась бы подержать в руках антологию «Дон-Кихот русский»...

Михаил Берг. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., Кафедра славистики университета Хельсинки; «Новое литературное обозрение», 2000, 342 стр.

Монография с убойным названием вышла в той же серии «Научных приложений» к «НЛО», что и работа Л. В. Зубовой. То же «аппаратное» оформление: обширнейшая библиография, длиннющий именной указатель (а подстрочных примечаний у Берга вообще свыше шестисот, и немалая их доля содержит пространные рассуждения). Одинаковое стремление — не ударить лицом в грязь по числу терминов на квадратный сантиметр. Но какая разница в намерениях и результатах! Зубова увлечена своим предметом и читательски растворена в нем. А Берг...

Он претендует на «социологическую интерпретацию литературы», каковая могла бы, по его мнению, вывести наше современное литературоведение из кризиса⁴. Ничего не имея против социоанализа словесности как полезной отрасли общезнания, я, однако, сомневаюсь, что такого рода анализ непременно должен исходить из самого оголенного и примитивного редукционизма. Исходить из того, что целью творческого акта является «присвоение и распределение ценностей в поле литературы» — «ценностей как реальных, так и символических» (успех, статус, признание, деньги), то есть захват власти. Тут очень важно и пояснение: «совершенно необязательно», чтобы «авторская стратегия» была ориентирована на все это «сознательно»: вам *кажется*, что вы желаете «мысль разрешить» или, того пуше, что вас посетило вдохновение, а на самом-то деле... Право, не знаю, чем это лучше «Пушкина как выразителя интересов разоряющегося дворянства» (хотя сам Берг очень пренебрежительно отзывается о том, давнишнем, «вульгарном» социолитературоведении). По сравнению с такого рода снижением мотиваций фрейдистское *либидо* (все-таки — псевдоним мифогенной силы Эроса) представится антропологической утонченностью. Впрочем, без «сопоставления этикета сексуального общения и авторской стратегии» тоже не обошлось.

Первое следствие из посылки: изыскатель перестает быть сколько-нибудь квалифицированным читателем. Когда речь идет о ближайшем прошлом и современности (главы о шестидесятниках, о «новой литературе» 70 — 80-х годов, о постмодернизме), Берг худо-бедно выходит из положения, прибегая к компиляции мнений Б. Гройса, П. Вайля, А. Гениса, М. Липовецкого, Б. Парамонова, В. Курицына⁵. Но стоит ему открыть рот на собственный страх и риск, как мы узнаем, что

⁴ Уж точно ли кризис? Должны ли мы в нем удостовериться после недавнего выхода в свет книг С. Г. Бочарова, М. О. Чудаковой, Б. А. Успенского, В. Н. Топорова в издательстве «Языки русской культуры», ничуть не менее разборчивом и солидном, чем «НЛО»?

⁵ К создателям «новых авторитетных дискурсов» причислены также Вадим Линецкий и Серафима Ролл, заслуженно, думаю, высмеянные на страницах «Нового мира» (см. 1998, № 11; 1997, № 10).

строка Мандельштама «День стоял о пяти головах» — это «антропологическая мутация», восходящая к советскому эксперименту по выведению нового человека; что пушкинское (альбомно-любовное, напомним) «...я сам обманываться рад» фиксирует тяготение русской культуры к утопии; что, «когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба», — это тоже «подчинение диктату и авторитету утопии» у Пастернака. Анекдотическое извлечение подноготной в пыточном застенке.

Второе следствие. Уверовавший в возможности «литературократии» автор осуществляет собственную стратегию захвата власти, транспонируя устоявшиеся банальности и очевидности в новое терминологическое поле и тем самым вытесняя из пространства общения общечеловеческий и профессиональный язык своих конкурентов. Репрессии, по его словам, проявляют «механизм перехода социального пространства в физическое»; Пригов «использует претекст как интертекстуальную жертву»; «Стратегии Битова и [Вик.] Ерофеева ориентированы на манифестацию разных психотипов» (сравнил Божий дар с яичницей!); «...хаос без трагической интерпретации... ноуменален» (?!); Лимонов «предпочитает самоопределяться в границах института хамства»; антисемитизм Е. Харитонова — «отражение конкуренции между позициями, артикулирующими разные способы фиксации „ненормативности“»; «...способ присвоения Кривулиным власти такой формы репрессивного сознания, как религиозность» (sic! — за шесть родительных падежей я не в ответе). Хватит. У этого безумия, как замечал Полоний, есть своя логика — логика словесной агрессии. Конечно, власть в «социуме» с ее помощью захватить нельзя; «говорить как власть имеющий» — это о совсем другом «дискурсе». Но можно без труда овладеть умами раздателей грантов, что и требовалось.

Быть может, Берг все-таки поторопился отрапортовать этим даятелям о «потере русской культурой словоцентристской или текстоцентристской ориентации». Но не важно, как все обстоит на самом деле, важно, чтобы они поверили и умилились.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Интел Интернет Премия — 2000. «Круг чтения РЖ» — специфика и место в Интернете. Архитектура, музыка, фото — лучшие сайты. О феномене персонального сайта — «Виртуальные суси». О культуре гестбуков. «Фандорин.» в Интернете

Теперь в нашем Интернете все как у людей: есть даже своя «Тэффи» («Ника», «Оскар», «Букер» и «Антибукер» вместе взятые) — ежегодная Национальная Интел Интернет Премия, учрежденная в 2000 году Академией Российского Интернета. Она пытается охватить русскоязычный Интернет во всем его богатстве и многообразии, и, судя по церемонии вручения (театральный зал МХАТ, теле- и кинозвезды, ректор МГУ и известные публицисты в качестве ведущих, дивертисменты в исполнении культовых рок-музыкантов и т. д.), премия эта претендует на статус главной в Интернете. И, похоже, не без оснований. Дело, разумеется, не в уровне премиального шоу, а в составе жюри премии и селекционных комиссий, готовивших конкурсные списки и определявших лучшие сайты. Здесь оказалось достаточно много профессионалов. И представленный ими итоговый список из восьмидесяти лучших сайтов по 16 номинациям (за двумя-тремя очевидными, на мой взгляд, провалами) вполне может претендовать на роль визитной карточки сегодняшнего русского Интернета. Со списком и описаниями сайтов можно ознакомиться на сайте Академии Российского Интернета (<http://www.nagrada.ru/>).

Для нас же появление этого списка — удобный повод продолжить начатое в первом обзоре за этот год знакомство уже не только с литературными сайтами. На очереди — архитектура, музыка и фотография. А также один из самых интересных сайтов, представленный в номинации «Персональная страница».

Но начну все-таки с литературной информации: лучшим литературным сайтом года был признан «Круг чтения РЖ» (<http://www.russ.ru/krug>). На мой взгляд, за-

служенно. (В пятерку лучших (<http://www.nagrada.ru/db/nominant/YearIS2/PrizelS11>) кроме «Круга чтения» вошли на этот раз «Библиотека Максима Мошкова», «Библиотека ферганской школы», «Лавка языков», «ЛИТО имени Стерна» (все они уже представлялись в наших обзорах). Сегодня «Круг чтения» — самый живой и динамично развивающийся сайт. Специфика его в том, что он занимается не столько ознакомлением читателей с новыми текстами (хотя и эта работа ведется), сколько помогает ориентироваться в сегодняшней литературной ситуации.

Комментарий Бориса Кузьминского, редактора и обозревателя сайта: «Казалось курьезом уже то, что „Круг чтения“ попал в шорт-лист национальной Интернет-премии по номинации „Литература“. Во-первых, „Круг“ — не самостоятельный ресурс, а раздел довольно известного сайта. Во-вторых, он не продуцирует феномены словесности, а паразитирует на готовеньком (ну, скажем мягче: отслеживает процесс). И наконец, в-третьих: одна из двух с половиной сверхзадач „Круга“ — доказать, что никакой специфической Интернет-литературы не существует в природе; литература бывает плохая и хорошая, а не сетевая и бумажная».

Вот как раз за все это премию и дали.

Структура «Круга чтения»: «Шведская полка», «Иномарки», «Чтение без разбору», «Книга на завтра», «Периодика», «Век-текст», «Все рецензии», «Чтение online», «Электронные библиотеки» — основные разделы, в которых появляются рецензии на новые (русские и переводные) книги, обзоры толстых и тонких журналов, а также газетных статей, посвященных литературе и литературной жизни. Над этим трудится целая команда обозревателей: Борис Кузьминский и Аделаида Метелкина, Александр Агеев, Мирослав Немиров, Вячеслав Курицын, Лиза Новикова, Инна Булкина, Егор Отрощенко, Анастасия Отрощенко и другие.

Разумеется, содержание «Круга чтения» определяется литературной ситуацией. Но достоинство в том, что при всей зависимости от сюжета текущей литературной жизни тексты, появляющиеся здесь, имеют и собственную значимость — обозреватели «Круга» обладают, как правило, собственной индивидуальностью, стилем, идеями и обаянием, иногда отрицательным, но тем не менее — обаянием. Они не только обслуживают ситуацию, но и в известной мере на нее влияют.

Ну а теперь обещанное.

«Архитектура России» (<http://www.archi.ru/Start>) — сайт, ставший лауреатом Национальной Интел Интернет Премии за 2000 год по номинации «Изобразительное искусство и музеи». Посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре, адресован архитекторам, искусствоведам и всем интересующимся. Свои задачи авторы проекта (Виктор Хречко, Юлия Тарабарина и другие) определили как: создание виртуального форума историков архитектуры, архитекторов и критиков, публикация новых статей, своевременное оповещение (с помощью электронного списка рассылки) о выставках, научных конференциях, конкурсах; обзоры новых журналов и книг архитектурной тематики; вывод в Сеть информации, необходимой для студентов (краткие очерки истории архитектуры, библиография, словарь архитектурных терминов, иллюстративная база данных); создание базы данных архитекторов (как древних, так и современных) и исследователей, фотоиллюстраций, планов, разрезов и реконструкций памятников архитектуры, составление библиографии и списка сетевых ссылок на родственные сайты.

Работа ведется в разделах:

«Сайты архитекторов» (сто имен, из них примерно треть имеет свои персональные страницы на сайте);

«Периодика» (журналы: «Про № 7», «Московская перспектива», «Архитектурный вестник», «Архитектура и строительство Москвы», «А.С.Д.», «Вести Союза архитекторов России», «Проект Россия», «Частная архитектура» и др.).

«Архитектурные выставки», «Архитектурные конкурсы», «Вузы и организации», «Каталог памятников», «История архитектуры: фотогалереи», «Конференции», «Выставки, лекции», «Исследователи», «Обзор монографий и сборников», «Библиография», «Справочник: архитектурные термины», «Архитектурная фотография» и др.

Я знакомился с сайтом в начале марта, и тогда в разделе «Архитектурная фотография» (http://www.archi.museum.ru/photo/images/zast_foto.jpg) содержалось около

девятисот фотографий. В списке новейших поступлений значились работы, посвященные архитектуре Калуги и Твери (Юлия Тарабарина), современному состоянию подмосковных храмов (Виктор Арефьев), архитектуре Вологды и Стародуба, российским монастырям (Сергей Бузланов), архитектуре Петербурга и Новгорода (Сергей Хачатуров) и др.

Другой раздел, обильно иллюстрированный, — «Каталог памятников» (http://www.archi.ru/Img_arc/Img_hist_3.htm). Каждый помещенный в каталог памятник имеет отдельную страничку, представлен фотографией, часто дополненной планом постройки или графической реконструкцией первоначального вида, исторической и искусствоведческой справкой.

Еще один лауреат премии — «ЗВУКИ.RU» (<http://www.zvuki.ru/>) — представлен как «старейшее в России музыкальное электронное издание» (работает с 1996 года), «самая большая в Восточной Европе легальная энциклопедия, содержащая аудиотреки». Цель — «профессиональное и всестороннее освещение актуального музыкального процесса в стране». Куратор — Павел Соколов-Ходаков.

Я полистал страницы сайта, но особых признаков «энциклопедии» не обнаружил. Антология — да, несомненно (и, видимо, одна из самых полных музыкальных антологий в нашем Интернете), а вот о статусе энциклопедии говорить преждевременно. Содержащиеся на сервере в большом количестве справки о группах, дисках, певцах практически никак не систематизированы — во-первых, и во-вторых, отсутствуют единые критерии оценок и классификаций представляемого материала.

Также странно выглядит в контексте этого сайта словосочетание «актуальный музыкальный процесс». Возможно, что авторы путают слова «актуальный» и «модный». Вот вывешенные на сайте рейтинги, создававшиеся в рамках этого, так сказать, «актуального музыкального процесса»:

1. Энрике Иглесиас — «You're Mu»,
2. БИ-2 — «Серебро» (альбомная версия),
3. «Мумий Троль» — «Восьмиклассница»,
4. Андрей Макаревич и «Квартал» — «Он был старше ее»,
5. Земфира — «Кукушка»,
6. «Два самолета» — «Небесное пиво»,
7. Алсу — «Solo»,
8. Алла Пугачева — «Мадам Брошкина»,
9. «Наутилус помпилиус» — «Я хочу быть с тобой»,
10. «Два самолета» — «Подруга подкинула проблем» —

ну и так далее (можно было бы поморщиться от этого списка, но, как говорится, неча на зеркало пенять, коли рожа крива).

Говорить всерьез об отражении «актуального» в искусстве, хотя бы рок-музыки, трудно. Здесь скорее работа по обслуживанию вкусов массового пользователя. Уровень обслуживания высокий. Соответственно обустроена и архитектура сайта, несущая опора — три главных раздела: «Артисты», «Песни», «Компании» — плюс алфавит. Щелкнув по букве, вы открываете список певцов (или музыкантов) или песен и далее, выбрав песню, можете ее прослушать. Насколько я понимаю, архив записей здесь огромен. Есть еще разделы типа «WWW-опросник», «Репортаж», «НОМО LUDENS», «Анализ», «Архив», «Календарь», «Лэйбл» и так далее, но они представлены, так сказать, факультативно. Никак не структурированные, например, тексты о музыке из раздела «Анализ» (а там попадаются дельные и интересные заметки) погоды не делают. Сайт назван честно: «Звуки», и основное там — звуки. А уж какие звуки, тут устроители не выбирают — не те задачи.

Очень сочувствую людям, занимавшимся отбором лучшего фотосайта. Фотосайтов в Интернете может быть больше, чем каких-либо других. Я открыл рейтинговый список на «Рамблер» и поочередно заглянул на страницы двух десятков сайтов. Большинство из них определяют себя как сайты эротических фотографий. Зайдя на сайт, часто обнаруживаешь, что авторы путают эотику с порнографией. Но это уже проблема не только и не столько фотографии...

Другой бич фото-Интернета — агрессивное дилетантство. Иногда кажется, что чуть ли не каждый второй обитатель Интернета, умеющий пользоваться еще и фотокамерой, тут же начинает создавать свою фотостраницу, на которых, как правило, огромное количество автопортретов, сладеньких пейзажей с березкой и церковушкой, любимая кошка, машина, друзья с шашлычными шапмурами «на природе», турецкие отели и проч.

Положение спасает массовость — в море фотосайтов всегда можно найти несколько более или менее профессиональных. И в числе их, пожалуй, самый интересный сегодня — это **ФотоСайт (www.sight.ru)**, ставший номинантом в номинации «Открытие года».

У этого сайта статус фотоклуба, участники которого, предварительно зарегистрировавшись, могут «обмениваться между собой фотографиями, получать и писать отзывы, общаться в чатах и конференциях, участвовать в рейтингах и конкурсах, налаживать творческие контакты» и так далее. Здесь же — обмен информацией и конференции, связанные с общими проблемами современной фотографии и фототехники. На отдельной странице — «Комиссионка», где посетители договариваются об обмене или покупке друг у друга аппаратуры. На странице «Каталог фоторесурсов» помещен рекомендованный профессионалами каталог фотосайтов, через который пользователь сможет найти в Интернете необходимую фотоинформацию.

Для обычного же посетителя сайт этот интересен прежде всего собранной здесь коллекцией фотографий. Фотографии лучше смотреть, пользуясь рейтинговыми списками «ФотоСайта». Работы, попадающие в эти списки, проходят две стадии отбора: сначала их отбирают руководители сайта, а затем уже они оцениваются посетителями. Иными словами, представленное здесь — итог совместной работы профессионалов и общественности.

В вывешенных правилах фотоконкурса этого Интернет-клуба особо хочу отметить пункт: «Правление сайта оставляет за собой право удалять фотографии и комментарии явно оскорбительного для зрителей содержания. С особым пристрастием рассматриваются работы эротического жанра, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости». К сожалению, для нашего современного Интернета это актуально.

Зачем, для кого делались перечисленные мною выше сайты, понятно; то есть смысл их существования очевиден. Другое дело, когда мы обращаемся к такой категории сайтов в Интернете, как персональные сайты (я имею в виду не сайты известных и за пределами Интернета писателей, художников, общественных или прочих деятелей, а именно персональные сайты, открываемые неведомыми широкой общественности лицами). Первая и основная проблема такого сайта — это доказать себе и публике, так сказать, право на выход. В интернетовском контексте слово «право» лишено какого бы то ни было пафосного звучания. Слава богу, Интернет устроен так, что, скажем, Петр Иванович Бобчинский, получивший наконец возможность всему миру сообщить, что живет в таком-то городе такой-то и такой-то, этим своим порывом никого не оскорбит и не затруднит. Интернет, повторно уже многократно повторенное мною, беспределен. Сайт Бобчинского никому не помешает, никого не стеснит. Пострадать может только сам Бобчинский, обнаруживший, что сайт его вообще никем не замечен, уже с помощью Интернета убедившийся в своем полном не-существовании для мира. Что касается меня, то я всегда с уважением отношусь к мужеству людей, заводящих персональные сайты.

В номинации «Персональная страница» лауреатом стали «Виртуальные суси» (<http://www.susi.ru/>). Это остроумно сделанный, как бы только для друзей, «для своих», сайт двух молодых русских японистов Дмитрия Коваленина и Вадима Смоленского. Название «суси» (они же — суши) предполагает гастрономическую тематику сайта и в известном смысле не обманывает. Авторы рассказывают о вкусе традиционных японских блюд и — шире — о вкусе своей японской жизни. Кроме «кулинарной прозы» на сайте выставлены тексты просто о стране («Письма из Хиппонии», хроника японских гастролей «Аквариума» и т. д.). Тексты иллюстрированы множеством фотографий, на которых не просто Япония, но — *их* Япония. Иными словами, затея, казалось бы, сугубо личная, легкая, камерная, ни на что

особо не претендующая, и тем не менее это один из самых интересных сайтов в нашем Интернете. Потому как явление сугубо частное — проживание своих, так сказать, «молодых жизней» двумя русскими интеллектуалами в Японии, — вставленное в рамку интернетовского сайта и сообразующееся уже с законами рампы, становится явлением культурным. Сюжетообразующей стала сама ситуация двух авторов, живущих свободно, наполненно, «вкусно» и тем не менее испытывающих определенный дефицит русской культурной среды и нашедших эту среду в литературной интернетовской жизни. Сама их рефлексия по поводу себя в другой культуре (и отчасти рефлексия представителей того поколения молодых интеллектуалов, которое уже начало свое вхождение в «средний возраст» и почувствовало необходимость инвентаризации нажитого и продуманного) дает им внутреннее право поступать так, как если бы их частная жизнь была больше и шире «частного случая». Вышесказанное не отменяется тем, что сайт этот изначально затевался как бы просто от избытка сил, молодости, от возбуждения, рожденного столкновением с другой культурой, и от дефицита общения с отечественной культурой.

В сюжет этот органично встраивается (но не поглощается им полностью) художественная проза Вадима Смоленского, она, кстати, довольно широко представлена и на конкурсных сайтах. Тематика большинства рассказов, так сказать, русско-японская (сейчас, когда я пишу это, на сайте висит новый рассказ «Сатиновая кукла»: усталый журавль за окном скоростного поезда, жалобы брюзгливой соотечественницы, вечер в баре с друзьями-японцами, играющими джаз, — попытка сформулировать, что, собственно, роднит людей).

Другая составная «Виртуальных суси» — страницы литератора и переводчика Дмитрия Коваленина, открывшего русскому читателю творчество Харуки Мураками. Здесь представлены переводы романов Харуки Мураками (<http://www.susi.ru/НМ/>): «Слушай песню ветра» (первая часть «Трилогии Крысы») и «Охота на овец» — (третья часть «Трилогии Крысы»), а также «Дэнс, Дэнс, Дэнс» (отрывок из романа-продолжения), переводы рассказов: «Рвота», «Девушка из Ипанемы», «Принцесса, которой больше нет»; статья Коваленина «Космополитические анархии Харуки Мураками», рецензии и переписка, спровоцированные книжным изданием в России «Охоты на овец». Надеюсь, что в начале апреля там появится ссылка и на разбор романа «Охота на овец», сделанный в «Новом мире» Татьяной Касаткиной.

На отдельных страницах переводы Коваленина из Тавара Мати (<http://www.susi.ru/salat2.html>), Юкио Мисима (<http://www.susi.ru/mishima/>), Такамура Котаро (<http://www.susi.ru/takamura.html>), Нацуки Икэдзава (<http://www.susi.ru/dippie>).

На соседних страницах Коваленин представляет творчество своего отца, Виктора Коваленина (<http://www.susi.ru/MNTbKA/batja.html>), — переводы из Станислава Лема, Йозефа Шкворецкого, Анджея Выджиньски, Юлиуша Жулавского.

Отдельная часть сайта — страницы, посвященные изучению японского языка (основную работу здесь ведет, как я понял, Вадим Смоленский): «Учебник японского» (<http://www.susi.ru/uchebnik/>) и «Словарь иероглифов» (<http://www.susi.ru/JERBDOK/>).

Закончить представление сайта я хотел бы замечанием о гостевой книге «Виртуальных суси» (<http://www.susi.ru/gb/>). На подобные страницы я обычно захожу в последнюю очередь. Если бы знакомство с некоторыми литературными сайтами я начинал с их гестбуков, то скорей всего этим бы все и закончилось. Человек я старорежимный, привыкший к традиционной этике публичного общения, и, заходя в гестбуки многих литературных сайтов, быстро угораю от истерического напряжения, с которым заочные собеседники пытаются выдержать позу «крутых интеллектуалов». Обычное дело, когда не хватает энергии и глубины мысли (а их чаще всего не хватает, все-таки не Платон с Сократом беседуют, но, с другой стороны, публичность «частного» общения как бы обяывает), этот дефицит в гестбуковских диалогах пытаются компенсировать крепостью выражений и разухабистостью интонаций. Конфузность этого действия усугубляется еще и тем, что беседующие обычно выступают под псевдонимами, и тут очень трудно бывает избавиться от ощущения, что перед тобой тишайший в миру интеллигентный мальчик, разыгрывающий некую мечту о себе — крутом и победительном; такое вот публичное сведение сче-

тов с собственными комплексами. Вот почему с осторожностью открывал я страницы гостевой книги «Виртуальных суси», но, начав читать, увлекся — нормальный, интересный разговор живых, думающих, а главное, знающих людей:

«Аля (Москва): ... Известно же, что человеку свойственно мыслить образами (никак не словами)... table, он и есть table... Иероглифы отображают образы... Задача упрощается? Японцу не нужно в мозгу перекодировать образ в слово, а слово в речь? Он говорит как мыслит?.. не искажая ход мысли?.. Мое давнее убеждение: слова искажают мысль (может, схватила у кого-то другого, но так оно и есть)... тогда, следуя этой „глобальной” идее: японский язык должен быть самым простым из простых и самым доступным из доступных... Так все и происходит? Образ в иероглиф — иероглиф в речь...

Бук: Алечка, это не только ваше убеждение, это Закон Творчества живого человека. Именно потому, что слова искажают смысл, люди прибегают к Литературе для выражения Смысла МЕЖДУ строк. У нас это называется Сuggestивность (=Недосказанность), у японцев — МОНО-НО АВАРЭ (очарование печалью вещей). В любом случае НЕ НАЗВАТЬ чувство, но СОЗДАТЬ его в читателе — это и есть высшая цель Словесного Творчества... Как и высшее Искусство, например, в Любви. Не правда ли :-)

Насчет же языка — вы слишком идеализируете ситуацию. Подавляющее большинство японцев не задумывается о происхождении иероглифа, когда его употребляет. Это просто вековая привычка. Я даже больше скажу — это их в той же степени развивает, в какой и тормозит. Представляете — вся нация общается набором из 2500 установленных иероглифов, и что бы ты ни хотел выразить, приходится подгонять именно под этот список терминов...

Смоленский: Митька, блин! Что ты тут гонишь? Какой набор, какая подгонка? Что такое 2500, откуда ты взял это число? Японист называется... Иди спать лучше, не позорься. Аля, не слушайте его, слушайте сюда. Лексической единицей в японском языке служит не иероглиф, а слово. Слов в японском очень много, гораздо больше, чем, скажем, в русском. Более того, японцам этого все равно мало, и они постоянно заимствуют — в настоящее время из английского — просто безудержно, вплоть до беспощадного вытеснения старой лексики. Огромная масса слов сегодня пишется слоговой азбукой — их связь с иероглифами либо практически утеряна, либо никогда не существовала. Говорить о каком-то иероглифическом сознании просто смешно» (<http://www.susi.ru/gb/poetry.html>).

Редкая ситуация, когда не возникает чувства неловкости из-за того, что читаешь, по сути, чужую переписку. Для меня, например, наличие или отсутствие вот этого чувства неловкости при чтении — критерий в оценке культуры гестбуков. Здесь же, при всей условной приватности беседы, чувствуется некая внешняя и внутренняя опрятность. Не без сбоев, к сожалению (чутье прозаика Смоленского должно было бы отметить некоторую искусственность изображенной им интонации дружеской непринужденности при обращении к коллеге), которая, однако, не отменяет впечатления добросовестности и ответственности диалога, когда собеседники берут на себя труд думать и формулировать.

Заканчивая обзорение, не могу удержаться от представления еще одного сайта, вошедшего вместе с «Виртуальным суси» в пятерку лучших по номинации «Персональная страница», — сайт «Фандорин!» (<http://www.fandorin.ru>). Ограничусь аннотацией из буклета-справочника, изданного к церемонии вручения Национальной Интел Интернет Премии (я заходил на этот сайт — все так, как в этой аннотации): «Сайт „Фандорин!” является официальным сайтом Эраста Петровича Фандорина... На господина Фандорина собрано целое досье, которое содержит анкетные данные, словесный портрет, генеалогию и информацию о порочащих связях, которые он, в отличие от Штирлица, имел. А в форуме гостевой книги и в чате кто-то регулярно отвечает за „Петровича”, причем некоторые особенно насыщенные вопросы ставятся на голосования».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«ШИРОКОМУ ЧИТАТЕЛЮ» — ОТ БОГОСЛОВА ХАЛЯВЫ

Представим себе, что нам попадается в руки сборник стихотворений А. Блока под названием «Улица. Фонарь. Аптека». Заинтересовавшись, мы начинаем перелистывать книгу. Все как полагается. Есть фотография Блока, а далее — А. Блок, «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Примерно то же чувство испытает читатель, взявший в руки недавно изданную книгу П. Б. Струве «Россия. Родина. Чужбина» и не поленившийся взглянуть и на титульный лист. Оказывается, на самом деле она называется иначе: П. Б. Струве, «PATRIOTICA. Россия. Родина. Чужбина». Подивившись сей загадке, читатель все же успокаивается — как-никак издал эту книгу Русский христианский гуманитарный институт (РХГИ), и не какой-нибудь, а INSTITUTIO ROSSICA CHRISTIANA, да еще в серии «Из архива русской эмиграции». Магические эпитеты и их количество заставили продолжить странствие по страницам книги.

Я обычно не читаю мелким шрифтом набранные издательские обращения к читателю, а тут не поленился: «Сборник статей выдающегося деятеля отечественной культуры П. Б. Струве, организатора и бессменного главного редактора известнейшего издательства „УМКА-Press“, посвящен судьбам России, месту и значению русской эмиграции. Издание адресовано самому широкому кругу читателей». «Тут все есть, коли нет обмана», — сказал бы покойный Фамусов. Представляю себе, как хмыкнул бы, поблескивая глазами за стеклами очков, главный редактор упомянутого издательства Н. А. Струве, узнав, что его покойный дед является «бессменным главным редактором». Да и насчет П. Б. Струве в качестве «организатора» позвольте вас поздравить соврамши «самому широкому кругу читателей». Кстати говоря, перелистывая послесловие А. В. Хашковского, я не обнаружил ни одного упоминания этого издательства, а ведь если бы П. Б. Струве и впрямь его организовал, даже в беспримечном по бестолковости издании трудно было бы обойти сей факт.

Почему я *перелистал* статью Хашковского? А кто ж ее будет читать, если в первом же абзаце натыкаешься на следующий перл: «Со Струве на трибуне второй думы сравним только А. Д. Сахаров, выступающий на заседании последнего Верховного Совета СССР». Впрочем, хотя «сравним только А. Д. Сахаров», но «оба они были чем-то похожи на Дон Кихота»... Дон Кихот, выступающий на заседании Верховного Совета, не более представим, чем статья с названием «Великая Россия» в публицистике А. Д. Сахарова. Это красоты мысли Хашковского, а вот красоты и ясность его стиля: «Весь сборник статей Patriotica, вышедший из печати в 1911 году, проникнут чувством „патриотической тревоги“. Несмотря на различие политических пристрастий Струве и Столыпина (идея которого составляет фундамент книги)»... Итак, какая-то идея Столыпина составляет фундамент книги бедного Струве. Впрочем, может быть, Хашковский и впрямь так думает, ведь в заметке «от составителя», а составителем он и является, сказано: «Настоящий сборник охватывает значительно более широкие временные рамки, чем одноименный, изданный под редакцией автора в 1911 году». «Самый широкий круг читателей» должен думать, что или Струве был редактором своего сборника, или его редактировал Хашковский.

В первых двух абзацах той же заметки «от составителя» читателя еще два раза обманывают, ибо здесь сказано о достаточном основании «для сохранения авторского названия Patriotica», а мы уже знаем, что название или не сохраняется, или к нему добавляются слова, которых в названии книги Струве не было, а кроме того, не соответствует истине и второй абзац заметки: «Первая часть сборника включает проблемные статьи, во второй — те же проблемы рассматриваются через личности исторических деятелей и мыслителей». Заглянув в оглавление, читатель

легко убедится в том, что во втором разделе есть и проблемные статьи, а заодно и в полном отсутствии логики у составителя. Оглавление заставит читателя задать себе и такой вопрос: а на каком славянском языке написал Струве заглавие одной из своих статей: «Притягательная сила ти внутренняя мощь орусской культуры». Выяснится, что в оглавление не попала напечатанная в книге заметка Струве «Человек-легенда, или Легенда о Ленине» (перефразируя Твардовского: «в натуре» есть, а в «меню» не «обозначено»). Была у Струве статья «Великая Россия» с подзаголовком «Из размышлений о проблеме русского могущества». Издатели озаглавливают весь первый раздел книги «Великая Россия», в результате чего заглавием соответствующей статьи становится ее подзаголовок. Издатели выбрасывают два последних абзаца из предисловия Струве к сборнику «Patriotica», никак это не оговорив (кстати, обращенную к «самому широкому кругу читателей» книгу вообще напрочь лишили каких бы то ни было примечаний, перечня имен, дат написания статей и перевода иноязычных текстов, видимо полагая, что нынешнему «широкому читателю» перевести абзац из, скажем, Фихте — раз плюнуть). Издатели озаглавливают одну из статей Струве: «О государстве», в то время как у него она называется «Отрывки о государстве». К статье «Культура и дисциплина» Струве дает подзаголовок «Вроде новогоднего размышления». Издатели этот подзаголовок снимают. Издатели вообще снимают почти все примечания Струве, видимо считая их буржуазным предрассудком, но два почему-то дают.

Я долго думал, кто же скрывается за составителем А. Хашковским, редактором И. Анисимовой и В. Храмовым («макет, верстка») и наконец понял. Бессмертный гоголевский персонаж, обнаруживший себя в последние годы, — богослов Халява. Это он выпустил немало книг из истории русской мысли, но одним из самых приметных результатов его халявской издательской деятельности стал томик Струве, изданный в год от его рождения 130-й, а от постановления ЦК КПСС о необходимости издания русских мыслителей — 12-й.

Дорогие братья и сестры из Христианского гуманитарного института, не включившие в эту книгу ни одной строчки «из архива русской эмиграции!» Так издавать, право же, не по-христиански, а брать за книгу 148 рублей — негуманно: она не стоит не только 5 у. е., но и 5 к. в базарный день.

Борис ЛЮБИМОВ.

ЦВЕТНИК ПО-ВЕНСКИ

Читая книгу Дианы Бургин «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос» (СПб., «ИНАПРЕСС», 2000), я вспоминала старый американский фильм (увы, забыла название и режиссера). На героя одно за другим сыплются всяческие несчастья: погиб сын, ушла жена, он разорен... В состоянии тяжелой депрессии он приходит к психоаналитику. Тот — с очень ученым видом — внимательно его выслушивает и потом спокойно спрашивает: «Когда вам было четыре года, не отняла ли у вас соседская девочка мячик?» — «Да... — рассеянно мямлит несчастный, — вроде бы что-то такое было».

Да, у Марины Цветаевой были интимные отношения с Софьей Парнок, и гениальный цветаевский цикл «Подруга» — поэтическое преломление их отношений. Но считать всю человеческую и творческую судьбу Цветаевой результатом подавляемых в себе лесбийских наклонностей (а именно доказательству этого тезиса и посвящена книга Д. Бургин) — не значит ли уподобиться вышеупомянутому психоаналитику? Впрочем, послушаем саму исследовательницу. В поэзии Цветаевой часто упоминается слово «остров». Не иначе как потому, что — подсознательно — Марина Ивановна постоянно помнила об острове Лесбос. Цветаевские «острова» (что в юношеском стихотворении: «лазурный остров детства», что в написанном в страшном 1920 году: «ведь я островитянка с далеких островов»), оказывается, «выполняют роль эротических символов, которые позволяют ей наслаждаться своими трансгрессивными желаниями».

В основе цветаевского стихотворения «Клинок», по мнению Д. Бургин, — легенда о Зигфриде и Брунгильде, между которыми в брачную ночь лежал клинок, включающий супружеские отношения. Это скорее всего справедливо, хотя и требует доказательств, которыми Д. Бургин себя не затрудняет. К сожалению, у меня нет возможности привести стихотворение целиком. Прочитую лишь четверостишие:

Двусторонний клинок — рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!

И как это мы не догадывались, что «рана в рану и хрящ в хрящ» — «имеет наглядно выраженный сексуальный смысл — изображение двух женских органов, проникающих и кровоточащих друг в друга». Да что там образы и сравнения, оказывается, обычное многоточие не что иное, как «три маленькие клиторальные точки».

При этом автор не упускает возможности сказать о своей любви к Цветаевой, отдать должное ее недюжинному таланту. Ну, например, так (рассуждая о том же «Клинке»): «Цветаевский трансгрессивный лабио-фаллический клинок имеет очевидные преимущества перед традиционной фаллической трактовкой». Оцените лексику!

А «Поэма Горы»? О, конечно, исследовательница знакома с биографическим подтекстом, но ее не проведешь: это Цветаевой только так казалось, что поэма — поэтическое преломление ее романа с К. Родзевичем, на самом деле Константин Болеславович не смог вытеснить из ее сознания Софью Парнок. Как Цветаева вспоминает любимого? «Губы двойною раковиной приоткрывшиеся моим». А где сказано, что губы принадлежат мужчине, а не женщине? И все потому, что в отсталой России, даже и во времена серебряного века, называть своими словами то, что является отличительными признаками полов, как-то не было принято.

«Когда-то Марина Цветаева вместо критической статьи о Г. Адамовиче опубликовала подборку цитат — «Цветник». Но куда русскому критику до западного славыста! Все вышеприведенное, конечно, «цветочки», но есть и «гудки». Вот рассказывает Цветаева о коктебелских собаках: «Их было много, когда я приехала... Их стало — стаи... помню Лапко, Одноглаза... оказавшегося Одноглазкой». Далее приводится шутивная фраза Волошина: «Марина!.. Ты расплодила такое невероятное количество... псов...» Картинка волошинского Коктебеля? Ан нет. Материал для далеко идущих выводов. «...оплодотворяющее присутствие матриархальной предводительницы стаи (Цветаевой) — причина того, что робкая, паршивая, самая последняя собака этой стаи Одноглаз/Одноглазка смогла реализовать свою женскую природу и принесла щенка...»

Все это было бы смешно, когда бы не было так... Если бы русский автор написал: «Нежелание или невозможность определенно высказывать свой антисемитизм... привело к тому, что она подавила ненависть к евреям, сублимировав ее в... „страсть к еврейству“», я бы сказала, что это подло. Так же как и комментарий к горькому цветаевскому признанию: «Пишу урывками» — «Она прерывала или позволяла повседневным заботам прерывать наслаждение до достижения его высшей точки, которая в конце концов привела бы к опустошению». И утверждение о нарциссизме Цветаевой, свойственном ей до смерти. Но западного ученого я ни в каких грехах не обвиняю. Что же делать, если они (я не случайно употребляю множественное число: в книге много цитат из работ коллег Д. Бургин) не всегда понимают все оттенки русского языка. Например, что слово «мужественная» не значит «мужеподобная». И если лирическая героиня Цветаевой называет себя мужественной, то это вовсе не свидетельствует о ее сафических склонностях. А когда Сергей Эфрон говорит, что его жена талантлива как дьявол, он имеет в виду высшую степень таланта, а вовсе не inferнальную его сущность.

Зигмунд Фрейд — при всем моем к нему уважении — не тот ключик, с помощью которого открываются причины трагедий великих русских поэтов.

Людмила ПОЛИКОВСКАЯ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Джон Барт. Заблудившись в комнате смеха. Рассказы, роман. Перевод с английского В. Михайлина. М., «Симпозиум», 2001, 538 стр., 5000 экз.

Роман «Конец пути» и сборник рассказов «Заблудившись в комнате смеха».

Энтони Берджес. Человек из Назарета. Роман. Перевод с английского В. Бублика под редакцией В. Бабенко. М., «Текст», 2000, 365 стр., 5000 экз.

Загадочная книга: роман знаменитого во второй половине XX века английского писателя («Заводной апельсин» и проч.) со сложившейся, по крайней мере в России, репутацией пропеченного самыми последними веяниями времени, чуть ли не персонафицирующего жесткую отрывистость и бытовую экзистенциальность общественного сознания конца XX века, — а здесь обратившегося к истории жизни Иисуса Христа и написавшего нечто знакомое в жанре советского документально-художественного романа про героев и передовиков труда:

«Иисус улыбнулся. Дома, в разговоре с матерью, он сказал:

— Я ухожу на сорок дней и сорок ночей.

— Почему? Почему? — Немного осерчав, Мария вывалила ему на блюдо еще баранины в пряном соусе и с шумом плюхнула на стол буханку хлеба...

— Я должен испытать свою стойкость против зла...» — и так далее.

Василь Быков. Его батальон. Повести. М., «Советский писатель», 2000, 512 стр., 5000 экз.

Классика русской военной прозы XX века — повести «Волчья стая», «Сотников», «Его батальон». В качестве послесловия статья Игоря Дедкова «Непобежденные», написанная в 1982 году.

Константин Ваншенкин. Волнистое стекло. М., «Советский писатель», 2000, 576 стр., 3500 экз.

Объемный том, на треть состоящий из новых стихов (циклы «Начало сна», «Вербное воскресенье», «Провожающая», «Она», «Похолодания» — это стихи о старости и мужестве) и на две трети — избранное.

Воспоминания о Федоре Абрамове. Составители Л. В. Крутикова-Абрамова, А. И. Рубашкин. М., «Советский писатель», 2000, 672 стр., 5000 экз.

Обстоятельство, обусловившее и некоторую неполноту книги, и несомненное ее достоинство, состоит в том, что сборник был подготовлен к печати в 1989 году, но издательство смогло издать его только сейчас, когда «о многом можно было бы сказать полнее, но в то же время перед нами непосредственный отклик на уход большого человека, когда еще память была свежа». Представлены воспоминания родных и земляков Ф. Абрамова, одноклассников, институтских учеников, писателей, актеров. Среди авторов (их около семидесяти) — В. Адмони, И. Стоярова, Левон Мкртчян, Юрий Оклянский, Игорь Золотусский, Валентин Распутин, Борис Панкин.

Томас Вулф. Смерть — гордая сестра. Повести. Перевод с английского В. Голышева. М., «Текст», 2000, 221 стр., 7000 экз.

Повести «Паутина земли» и «Смерть — гордая сестра».

Валерий Залотуха. Макаров. Повести. М., «Текст», 2000, 316 стр., 5000 экз.

Именно повести, то есть первоначально воплощенные средствами повествовательной прозы сюжеты, художественное осмысление которых заметно отличается от последовавших киноверсий. В книгу вошли повести «Макаров», «Танк „Ворошилов-2“», «Отец», «Платки».

Алексей Крученых. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. Составление, примечания, вступление С. Р. Красицкого. СПб., «Академический проект», 2001, 480 стр., 3000 экз. («Новая библиотека поэта». Малая серия).

Самое полное из ныне существующих собрание стихотворений; поэмы «Пустынники», «Пустынница», «Полуживой», «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица».

(Уголовный роман)», роман «Случай в номерах», «Ревность. (Крылышко романа)»; опера «Победа над солнцем».

Вячеслав Курицын. Акварель для Матадора. Экстремальный роман. СПб., ИД «Нева»; М., «ОЛМА-Пресс», 2000, 383 стр., 5000 экз.

Известный критик и эссеист в роли сочинителя коммерческого боевика. В отличие от Льва Гурского и Б. Акунина, предложивших публике оригинальную идею своих повествований (пародийное изображение политической и общественной жизни в сочетании с отнюдь не игровым осмыслением общественно-политической ситуации в первом случае — и воплощение идеи «стильного» детектива, скрестившего стилистику классической литературы с энергетикой современного боевика, — во втором), у автора «Акварели...» не оказалось своей идеи криминального романа. Писатель работает с уже традиционным сегодня набором сюжетов, мотивов, персонажей и соответственно повествовательных штампов (наркотики, политики, спецслужбы, нравы шоу-бизнеса и т. д.). Новым стал только более высокий градус «крутизны». Вступив в соперничество с мэтрами отечественного боевика на их территории, Курицын выигрывает — стилистически его проза крепче и изощреннее. Но и только. Текст вызывает уважение к усилиям автора и... сочувствие — при отсутствии оригинальной идеи (и формы) роман обречен остаться в ряду подобных, пусть и хуже написанных.

Клайв С. Льюис. Пока мы лиц не обрели. Роман. Перевод с английского И. Кормильцева. М., «Иностранная литература», «Б.С.Г.-Пресс», 2000, 304 стр., 7000 экз.

Впервые в России роман (вариации на темы мифа об Амуре и Психее), который сам писатель считал своим основным произведением (первое издание в 1956 году).

Д. С. Мережковский. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания К. А. Кумпан. СПб., «Академический проект», 2000, 928 стр., 2000 экз.

Основу издания, вышедшего в серии «Новая библиотека поэта», составили стихи, писавшиеся и публиковавшиеся в 1880 — 1910-х годах. Расположение стихов повторяет содержание вышедших книг «Стихотворения» (1883 — 1887), «Символы», «Новые стихотворения» (1891 — 1895). Более поздние стихотворения представлены в разделе «Стихотворения разных лет», на полноту не претендуя, — неопубликованные стихи Мережковского находятся в эмигрантском архиве, хранители которого отказались принять участие в издании.

Д. С. Мережковский. Собрание стихотворений. Составление и подготовка текста Г. Г. Мартынова. Вступительная статья А. В. Успенской. Примечания Г. Г. Мартынова, А. В. Успенской. СПб., «Фолио-Пресс», 2000, 736 стр., 3000 экз.

Стихи представлены в хронологическом порядке, с 1880 по 1915 год. В отдельных разделах — поэмы и переводы из Горация, Калидасы, Петrarки, Гёте, Леопарди и других.

Виктор Соснора. Девять книг. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 432 стр.

«Меня нужно читать так, как я пишу, — книгами. Я не пишу отдельных стихотворений, я ничего не пишу или — книгу... Перед нами том: девять моих книг, напечатанных так, как я их сделал» (из авторского предисловия). Новая книга известного поэта (стихи и проза с 1963 года) выпущена в серии «Премия имени Аполлона Григорьева».



Джеймс Бейли. Избранные статьи по русскому народному стиху. Перевод с английского М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой под общей редакцией М. Л. Гаспарова. М., «Языки русской культуры», 2001, 416 стр.

Работы известного американского слависта — стиховеда и фольклориста: «Исследование народного стиха охватывает не только основные области русского стиховедения, фольклористики, этномузыкологии, но также и языкознание, диалектологию, историю русской акцентуации, текстологию фольклора» (из авторского введения).

Анатолий Брусиловский. Студия. СПб. — М., «Летний сад», 2001, 332 стр., 2000 экз.

Мемуарно-эссеистская книга художника Анатолия Рафаиловича Брусиловского о друзьях, коллегах, наиболее колоритных фигурах литературного и художественного ан-

дерграунда 60 — 70-х годов, навевывавшихся в его студию, — Игоре Холине, Василии Ситникове, Евгении Бачурине, Венедикте Ерофееве, Олеге Целкове, Эрнсте Неизвестном, Георгии Костаки, Анатолии Звереве, «клане Кропивницких», Илье Кабакове, Валентине Немухине и других — «это было временем чудес, потому что я не знаю большего чуда, чем чудо искусства, — откуда оно берется, чем питается, почему трудные для людей времена бывают очень урожайными на таланты, на идеи». В конце книги — повествование в восьми главах «Папа, каким я его помню» об отце, журналисте и писателе Р. М. Брусиловском. Тип издания отчасти напоминает художественный альбом благодаря огромному количеству великолепно выполненных портретных фотографий и репродукциям из гостевой книги художника.

Пиам Гайденко. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. Учебное пособие для вузов. М., «ПЕР СЭ»; СПб., «Университетская книга», 2000, 456 стр., 3000 экз.

История европейской философии, прослеженная с эпохи Возрождения (как предстории новоевропейской философии), — Декарт, Бэкон, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и другие с параллельным анализом мировоззренческого наследия ученых (Коперника, Галилея, Ньютона, Гюйгенса и т. д.).

Г. А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. Общая редакция и вступительная статья В. М. Живова. М., «Языки русской культуры», 2001, 352 стр., 2500 экз.

Издание малодоступных сегодня работ классика русского литературоведения Григория Александровича Гуковского (1902 — 1950), написанных в 20-е годы: книга статей «Русская поэзия XVIII века» и статьи «О сумароковской трагедии», «Из истории русской оды XVIII века. (Опыт истолкования пародии)», «К вопросу о русском классицизме», «О русском классицизме» и др. Предисловие Виктора Живова называется «XVIII век в работах Г. А. Гуковского, не загубленных советским хроносом».

Екатерина Деготь. Русское искусство XX века. М., «Трилистник», 2000, 224 стр., 2000 экз.

Монография известного искусствоведа нового поколения. «Используя выражение „русское искусство XX века“, мы вписываем целое художественное столетие в контекст мировой истории, и это требует усилий, в том числе и по расширению авгиевых конюшен терминологии. Дело в том, что выражение это на протяжении века почти не звучало, а в вытеснившем его словосочетании „советское искусство“ были без остатка стерты и географическая, и временная координаты. Искусство СССР (как, впрочем, и предшествовавший ему русский авангард начала XX века) мыслилось как сверхисторическая, синтетическая уникальность, объединяющая в себе все лучшее из мирового художественного опыта, за исключением параллельного ему западного модернизма...» То есть русский авангард начала века и советское искусство рассматриваются в работе Деготь как «часть мирового модернистского проекта». Разделы книги и их материал: «I. Заумный проект» (Кандинский, футуризм, лучизм, Татлин, Малевич, Крученых, Ольга Розанова, Малютин, Филонов), «II. Идеологический проект» (авангард, символическая архитектура, конструктивизм, беспредметное искусство 20-х годов, Эль Лисицкий и его «проуны»), «III. Синтетический проект» (проекционисты, фотомонтаж и «фактография», новые реализмы, постсупрематизм, соцреализм, «IV. Концептуальный проект» (подпольный модернизм 50 — 60-х годов, Илья Кабаков и московская концептуальная традиция, критическая картина 70 — 80-х годов, соцарт, минимализм в визуальной поэзии).

Владимир Купченко. Жизнь Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2000, 400 стр., 3000 экз.

Хроника жизни, составленная многолетним хранителем музея Волошина в Коктебеле, с активным использованием писем, статей, воспоминаний о поэте, стихов самого Волошина.

Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М. — СПб., «Университетская книга», «Культурная инициатива», 2000, 640 стр., 3000 экз.

Антология, составленная на основе издававшихся ИНИОМом сборников «Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века» и «Современные концепции культурного кризиса на Западе», вышедших в 70 — 80-х годах. Ответственный редактор и составитель Р. А. Гальцева. В разделах «Панорама культурфилософских идей нашего времени» и «Западные литераторы о коллизиях творческой позиции» представлены работы (или развернутые фрагменты работ) О. Шпенглера, Й. Хейзинги, М. Хайдеггера, К. Юнга, М. Вебера, Ж. Маритена, Г. Честертона, Х. Ортеги-и-Гасета, Р. Гвар-

дини, В. Вейдле, Г. Бёлля, Г. Марселя. Переводы С. С. Аверинцева, В. В. Библихина, В. В. Ошиса, П. П. Гайдено и других. Кроме оригинальных текстов в антологии помещены обзорные статьи Ренаты Гальцевой (о Франсуа Мориаке), Владимира Библихина (об Эжене Ионеско), Ирины Роднянской (о Роберте Пенне Уоррене и Рее Брэдбери), совместная работа Дмитрия Ляликова, Ирины Роднянской, Виктории Чаликовой о Джоне Гарднере. «...за пределами сборника остаются позднейшие умонастроения, громко заявившие о себе в последние десятилетия и составившие радикальную реакцию на все предшествующее. Речь... идет о постструктурализме, деконструкционизме, „исторической археологии“, занятых разложением на составные части больших идей и понятий с последующей редукцией их к мотивам низшего порядка» (от составителя).

М. О. Чудакова. Избранные работы. Том 1. Литература советского прошлого. М., «Языки русской культуры», 2001, 472 стр.

Работы «Мастерство Юрия Олеси», «Поэтика Михаила Зощенко», а также статьи (о Белинкове, Тынянове, Чехове и т. д.).

Илья Эренбург. На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917 — 1919 гг. СПб., «Петербургский писатель», 2000, 206 стр., 2000 экз.

Никогда не издававшиеся книгой газетные статьи и очерки Эренбурга революционных времен, что-то вроде «несвоевременных мыслей» и наблюдений по поводу революционного энтузиазма, охватившего страну.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вопросы литературы», «Время МН», «Гуманитарный экологический журнал», «День и ночь», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Кулиса НГ», «Курицын-weekly», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московский литератор», «Наши современник», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Новая Польша», «Новое литературное обозрение», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Сегодня», «TextOnly», «Труд», «Фигуры и лица»

В. В. Абашев. Пермь как центр мира. Из очерков локальной мифологии. — «Новое литературное обозрение», № 46 (2000) <<http://www.nlo.magazine.ru>>

В интересную подборку «География Литературы» вошли также статьи Д. Н. Замятина, Сергея Лейбграда и Алексея Тумольского.

Георгий Адамович. В 1917 году. Из интервью к 50-летию русской революции. Предисловие и публикация Олега Коростелева. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 221, декабрь 2000.

«Поэт Владимир Пяст (это был человек нервный, больной, с каким-то разъяренным видом) прочел [на литературном вечере в „Привале комедиантов“] стихотворение об убийстве генерала Духонина, который был главнокомандующим. Я не помню точно, это был, вероятно, 1918 год. В стихотворении говорилось о Крыленко, и кончалось оно строчками, которые Пяст прочел сквозь зубы, с ненавистью в упор глядя на Луначарского:

Заплечный мастер, иначе палач,
На чьих глазах растерзан был Духонин.

Я хорошо помню, как Луначарский встал и сказал: „Нет, господа (сказал „господа“ при этом!), это невозможно, ну что это за выражение! Ну разве можно, товарищ Крыленко — видный революционный деятель, а вы говорите „палач“, разве это поэзия!“ И хотел уйти. <...> Наконец Луначарского привели обратно, он пожимал плечами и все

говорил: „Ну что это такое!“ И остался сидеть, а дальше стихи уже читали о цветочках, о птичках, чтобы его не обижать».

Николай Александров. Скучная история. — «Ех libris НГ», 2001, № 5, 8 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Курицын написал «не роман [„Акварель для Матадора“], а заявление о приеме в писатели».

«Иногда мне кажется, что Слава Курицын — ангел», — это Сергей Соколовский в повести «Фэст фуд» («*TextOnly*») <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue7>>) рассказывает о своей работе в курицынской газете «Неофициальная Москва».

Курицын говорит: «Принял решение — писать отныне слова мужик и жизнь через ы. Так сугубее. Лет через двадцать все будут так писать» («Курицын-*weekly*» от 8 февраля 2001 года <<http://www.russ.ru/krug/news>>).

Вуди Аллен. Рассказы. Перевод с английского Олега Дормана. — «Иностранная литература», 2001, № 1 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>

Из книги «Побочные эффекты» («*Side Effects*», N. Y., 1980): «Он оказался в старом учебнике интенсивного курса испанского языка и до конца своих дней носился по бесплодной скалистой местности, спасаясь от здоровенного мохнатого неправильного глагола *tener* (иметь), гонящегося за ним на длинных тонких ножках» («Случай с Кугельмасом»). *Но любим мы его — Вуди Аллена (Алана Стюарта Кёнигсберга) — не за это, а за фильм «Энни Холл».*

Андрей Андрушков. Испытание памятью. Возможна ли юридическая связь Церкви и государства без восстановления духовной связи? — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/polemics>>

«Все Советское государство, какие бы духовные силы в нем ни сохранялись, появилось и стало возможным благодаря убийству Царской Семьи. В рамках этой логики перестройка и появившийся демократический строй — те же наследники Советской власти, поскольку они имеют те же основания владеть Россией, что и коммунистический строй, поскольку реальной преемственности с дореволюционной Россией нет».

Кирилл Анкудинов (Майкоп). Сдвиг. — «Октябрь», 2001, № 2 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

Чему сдает позиции традиционная психологическая проза? Оказывается, литература *New Age'a* — вроде *лечения кармы*.

Юрий Архипов. О радостях и трудностях взаимного притяжения. Русско-немецкие литературные отношения: безмен как регулятор обмена. — «Литературная Россия», 2001, № 6, 9 февраля <<http://www.litrossia.ru>>

Рильке переведен у нас примерно на треть. Многотомники (с усеченной эссеистикой и без большинства писем) есть только у Томаса Манна и Кафки. Относительно благополучны (переведены на две трети) Гессе и Музиль. От Дёблина, Янна, Шмидта, Броча, Вальзера — словно для галочки — взято по книге... В Германии лидерство по переводам из нашей текущей литературы делят Токарева, Стругацкие и Айги. У Астафьева за десять лет ни одного перевода в Германии.

Виктор Астафьев. На Великой Отечественной. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 2000, № 5-6 <<http://www.krsk.ru/din>>

«Жестокие романсы» и «Трофейная пушка» — эти рассказы можно прочесть также в журнале «Знамя» (2001, № 1). См. также новые рассказы Виктора Астафьева в журналах «Новый мир» (2001, № 1) и «Москва» (2001, № 1). О рассказах Астафьева см. у Марии Ремизовой («Независимая газета», 2001, № 33, 23 февраля).

Дмитрий Бавильский. Туши свет. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«После чтения „Недвижимости“ [Андрея Волоса] нужен отдых, нужен воздух, выйдя на который радостно осознавать, что это не ты риэлтором работаешь...»

Андрей Баженов. «Там флейты Фебовой серебряные звуки, там и проклятых сребреников звон...». «Серебряный век» как отражение революции. — «Москва», 2001, № 1, 2 <<http://www.moskva.cdru.com>>

«Понять „серебряный век“ — понять причины революции».

Ольга Балла. Время и Другой. Средние века в европейском историческом самочувствии. — «Знание — сила», 2001, № 1 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Средние века — не «понятие», а угол зрения.

Евг. Беньяш. Дунин сарафан. — «Дружба народов», 2001, № 2 <<http://novosti.online.ru/magazine/druzhiba>>

«[Татьяна Толстая] вообще стала сочинять [рассказы], чтобы показать, как это надо делать по-настоящему. Ничего не скажешь, показала. Ну а роман-то „Кысь“ зачем сочинила?»

Андрей Битов. Пятьдесят лет без Платонова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1 <<http://novosti.online.ru/magazine/zvezda>>

«И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием».

«[Платонов] создал язык по сути магический, уберегающий от зла, делающий любое его творение несомненным со злом (а это было нешуточное мощное зло!) своей эпохи», — читаем в большой статье Василия Голованова «Это я. Я прожил жизнь» («Ex libris НГ», 2001, № 6, 15 февраля). Интересная подробность: Платонов просился в известную поездку писателей на Беломорканал, но его не взяли — не *свой*.

Юрий Бондарев. Мгновения. — «Наш современник», 2001, № 1 <<http://read.at/nashovr>>

Одна из миниатюр («Кроткий престарелый господин») — о Набокове: «Я назвал бы его снобом в классическом понимании, образцовым циником...»; тут бы и остановиться, но автор продолжает: «...образцовым циником, отдающим великолепной скукой изнуренного самовлюбленностью творца». Уф-ф!

Григорий Бондаренко. Религия утраченных дней. Джон Рональд Руэл Толкин: русский опыт прочтения. — «Ex libris НГ», 2001, № 7, 22 февраля.

Квазирелигиозный (молодежный) толкиенизм в России.

Дмитрий Быков. Демон поверженный, или Новые приключения сверхчеловека. — «Литературная газета», 2001, № 7, 14 — 20 февраля <<http://www.lgz.ru>>

Три трилогии Александра Мелихова.

Андрей Воронцов. Тайна третьего элемента. — «Наш современник», 2001, № 2.

«Не видит никто в раннем Пушкине или Ершове масонской символики — так и не надо тыкать, вводить в искушение!»

«Глобализация: личные коды как проблема мировоззренческого выбора современного человека». — «Завтра», 2001, № 6, 6 февраля <<http://www.zavtra.ru>>

Участники «круглого стола», состоявшегося в Государственной думе (23 января 2001 года), «констатировали следующее: 1. Глобализация — это антихристианская идеология, исповедующая утопическую идею создания планетарного государства с единым управляющим наднациональным центром. <...> 2. Участие Российской Федерации в построении единого мирового сверхгосударства не соответствует исторической миссии России. <...> 4. Планетарная цифровая идентификация является важнейшей составляющей глобализационного процесса. Личное кодирование, во-первых, отражается на духовности и мировосприятии человека (т. к., принимая цифровой код, он соглашается с навязываемым ему порядком вещей). Во-вторых, служит построению всемирной системы общего учета и контроля в режиме реального времени. <...> 5. Несмотря на протесты православной общественности, в нашей стране была принята к использованию для учета товаров система штрихового кодирования EAN-13/UPC, содержащая, в отличие от других аналогичных систем, кошунственную для христиан символику. В связи с вышесказанным участники „круглого стола“ обращаются к представителям законодательной и исполнительной власти страны, и прежде всего к президенту РФ В. В. Путину, с просьбой: <...> остановить внедрение навязанных из-за рубежа тоталитарных электронных форм учета населения, таких, как личный идентификационный код, ИНН, предложив им альтернативную, национальную, децентрализованную систему, использующую номера документов, а не людей; обеспечить законодательную, процессуально обеспеченную возможность не принимать идентификационный номера, а выполнение налоговых и иных обязательств перед государством осуществлять, идентифицируя себя по данным паспорта или другого, признаваемого законом, удостоверения личности; заменить используемую в настоящее время систему штрихового кодирования EAN-13/UPC, содержащую кошунственную символику, на систему иного стандарта; <...> изменить идеологию системы налогообложения: облагая налогами не людей, а совершенные ими финансовые операции...» См. также сайт общественного движения «За право жить без ИНН»: <http://infolab.spb.ru/anti-inn/index.htm>

См. также спокойную статью священника Петра Андриевского «Антихрист» («Москва», 2001, № 1) о том, что, хотя в обеих системах штрихкодов — UPS (США и Кана-

да) и EAN (Европа) — линии, отделяющие группы цифр, компьютер считает как шестерки, эти три шестерки — не число зверя, а *просто число 666*, которому предшествует число 665 и за которым следует число 667. «Мы не пифагорейцы, а православные христиане». А также: «Сколь бы успешно ни развивалась компьютерная индустрия, никогда она не достигнет того объема информации о нас, которую уже ныне имеют [о нас] злые духи». В связи с этим — забавное отступление: исландский язык развивается без иноязычных заимствований за счет развитой метафоричности, по-исландски компьютер — «ведьма цифр», ноутбук — «маленькая ведьма цифр» (это я узнал из статьи Ольги Кушлиной в «Новом литературном обозрении», № 46).

Несмотря на то что, по мнению депутата Госдумы Михаила Емельянова («Известия», 2001, № 34, 24 февраля), противятся введению ИНН психологически уязвимые люди и криминалитет, и я замечу, что ИНН — первый на моей памяти номер, прилагаемый не к документу, а к самому гражданину. Сегодня наша личность идентифицируется государством через имя, отчество, фамилию, год и место рождения, если необходимо — через имена, отчества, фамилии и место рождения наших родителей, то есть через не просто человеческие, но по-человечески дорогие нам признаки. Замена разных номеров, относящихся к разнообразным документам, на единый номер, сопровождающий гражданина до могилы, действительно меняет отношения государства и гражданина не в лучшую сторону.

В. Н. Гриценко. Охрана природы и религия: от науки к утопии? — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (*WCPA/IUCN*). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Главный редактор В. Е. Борейко. Киев, 2000, том 2, выпуск 2 <<http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>>

«Я вообще сомневаюсь, что какая-либо религия может быть эгоцентричной».

Геннадий Гусев. У основания «Пирамиды». — «Наш современник», 2001, № 2. «[Леонов]-таки отомстил товарищу Сталину, обрушив на него свою «Пирамиду».

Евгений Данилов. Тайна болезни и смерти Ленина. — «Огонек», 2001, № 6, февраль <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>>

Психически больной, но вменяемый. Пули — не отравленные, и Каплан ни при чем.

Юрий Дружников. О поэтах и оккупантах. Вокруг стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России». — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4353, 4354, 4355 <<http://www.rusmysl.ru>>

Пушкин не был пацифистом, у него «всегда было естественное, то есть позитивное, отношение к войне».

Александр Дугин. Новый социализм? — «НГ-Сценарии», 2001, № 2, 14 февраля <<http://scenario.ng.ru>>

Альтернатива современному либерализму может родиться из матрицы *немарксистских моделей социализма*.

Георгий Жженов. Этап. Рассказ. — «Москва», 2001, № 1.

Этот же лагерный рассказ в качестве главы из книги можно прочесть в красноярском журнале «День и ночь» (2000, № 5-6).

За нами стоят тигры. Интервью с лауреатом Ломоносовской премии 2000 года Анной Ивановной Журавлевой, профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovg/sumerki>

«Человеческая жизнь достаточно скоротечна, и если отнять литературу, то каждый из нас начнет ее с начала, буквально с чистого листа. Весь эмоциональный опыт будет крайне ограничен, а литература раздвигает мир. В молодости у меня был случай, когда я поняла, сколько мне это дает просто практически, как это меня защищает в мире. Когда я после университета попала в больницу МПС, со мной лежали работницы железной дороги. У нас в палате умерла одна женщина. Хотя мне тогда был только 21 год, я совершенно иначе отнеслась к этому событию, чем они. Их охватил какой-то совершенно животный, нечеловеческий, не проясненный никаким сознанием ужас. Я поняла, что в этой ситуации я вооружена другим опытом. Опытом веков, что ли, которые за мной стояли и мне помогли...»

Сергей Земляной. Пропорциональное развитие мозгов. — «Фигуры и лица», 2001, № 4, 22 февраля <<http://faces.ng.ru>>

Бертольд Брехт и левый авангард.

Петр Иванов. В Москве основано Общество атеистов. — «НГ-Религии», 2001, № 3, 14 февраля <<http://www.religion.ng.ru>>

Председателем Общества атеистов стал маг Юрий Горный.

Юрий Каграманов. Вперед к новой Византии? — «Дружба народов», 2001, № 2. См. также статью Ю. Каграманова об исламе в июльском номере «Нового мира».

Владимир Кантор. Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталитаризма. — «Октябрь», 2001, № 1.

«Лучше бы, право, Кантор объяснил природу „параллельного“ феномена — вражды Европы к России», — заметил Александр Агеев («Время МН», 2001, № 29, 17 февраля).

Тимур Кибиров. «Учат все. Но одни — доброму, а другие — злumu». Беседу вели Ольга Николаева и Александр Николаев. — «Время МН», 2001, № 22, 8 февраля <<http://www.vremyamn.ru>>

«Я вдруг осознал, что если хочу упорствовать в своем намерении писать традиционные тексты — лирические, эмоциональные, пафосные — и всеми силами стараться „чувства добрые“ пробуждать, то должен помнить, что за этим, да и вообще за практикой традиционной литературы, насмешливо наблюдает Дмитрий Александрович [Пригов], и под его взором все становится потешным, жалким, провинциальным... После Пригова можно или смириться с тем, что он принес в литературу, и отказаться от традиционного песнопения. Или продолжать творить свое с дерзостью и отчаянием, и непременно так, чтобы читатель тоже отдавал себе отчет, что это серьезно, что существует иная литература...»

Вадим Кожинov. Заметки на полях — но об очень важном. — «Наш современник», 2001, № 1.

Полемика с А. Казинцевым в защиту нашумевшей книги А. Паршева о том, *почему Россия не Америка* (потому что климат не тот, считают Паршев и Кожинov).

Тадеуш Конвицкий. Из двух книг. Предисловие и перевод с польского Ксении Старосельской. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Главный редактор Ежи Помяновский. Варшава, 2000, № 12 (15). E-mail: powpol@bn.org.pl

«Зараженные Россией играли в нашей интеллектуальной жизни положительную роль...» (из книги «Памфлет на самого себя», 1995).

Наум Коржавин. «Если бы у людей был вкус, революций бы не было». Беседа вела Елена Яковлева. — «Известия», 2001, № 33, 23 февраля <<http://www.izvestia.ru>>

«Когда я уезжал из России, люди моего круга читали „Вехи“... Когда я вернулся, „Вехи“ как будто и не читали».

«Свободным можно быть только в государстве...»

«Принцип толерантности и терпимости для меня главный принцип государства. В искусстве же — нет».

Леонид Костюков. В точке миллениума. — «Дружба народов», 2001, № 2.

Александра Петрова. Сергей Стратановский. Елена Фанайлова. Михаил Айзенберг.

Максим Кронгауз. Торжество закона о языке над языком. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>

Управлять русским языком возможно, но не нужно.

Григорий Кружков. Крик павлина и конец эстетической эпохи. — «Иностранная литература», 2001, № 1.

О «тройном созвучии» — *крике павлина* — в поэзии Мандельштама («Концерт на вокзале», 1921), У.-Б. Йейтса и Уоллеса Стивенса. Тут же — несколько стихотворений Йейтса в переводе Григория Кружкова.

Михаил Кузнецов. Дискриминация. Что немцу [сербу, корейцу, еврею, поляку и т. д.] здорово, то русскому... запрещено? — «Независимая газета», 2001, № 22, 8 февраля <<http://www.ng.ru>>

Нужна ли русским в России национально-культурная автономия? Нужна, считает автор статьи, доктор юридических наук, профессор Академии госслужбы при президенте России. «Как известно, у русских в отличие от десятков народов, проживающих в России в собственных национально-территориальных образованиях, нет своего государства... [А] первая же фраза Конституции России гласит: „Мы, многонациональный народ России... принимаем настоящую Конституцию“, чем подчеркивается правосубъектность и суверенность не русского, а именно некоего „многонационального народа“...»

17 июня 1996 года был подписан президентом России и затем вступил в силу Федеральный закон под названием «О национально-культурных автономиях» (*дискриминация*, вынесенная в название статьи, в данном случае относится к фактической невозможности создания русских НКА).

Феликс Кузнецов. Мой век. Беседу вел Владимир Бондаренко. — «День литературы», 2001, № 2 (53), 6 января <<http://www.zavtra.ru>>

Говорит директор ИМЛИ накануне своего семидесятилетия: «Да, я пропустил поначалу мимо себя Шолохова. И причиной была моя либеральная молодость. Оттуда небрежное отношение, непонимание, что такое — Шолохов. А сейчас он уже со мной будет до конца дней».

Янина Куманецкая. Летопись [польской] культурной жизни. — «Новая Польша», Варшава, 2001, № 1 (16).

«Я футуролог, который перестал любить будущее», — сказал Станислав Лем, представляя в Кракове свою новую книгу бесед «Мир на краю бездны».

Александр Кушнер. Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

См. также стихи Кушнера в «Новом мире» (2001, № 1). Редакция журнала «Новый мир» выдвинула кандидатуру Александра Кушнера на соискание Государственной Пушкинской премии 2001 года.

Марк Липовецкий. Президент Штирлиц. — «Искусство кино», 2000, № 11 <<http://www.kinoart.ru>>

Постсоветское коллективное бессознательное голосовало на президентских выборах за воплощенный в Штирлице архетип *ненашего нашего*.

Лев Лосев. <Ответ на вопросы журнала «Звезда»>. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

«Я не знаю в истории русской литературы другого времени, когда общий уровень печатающихся стихов и прозы был бы так высок, как сейчас».

Игорь Манцов. Звезды и солдаты. — «Искусство кино», 2000, № 11.

«...это наблюдение — еще один аргумент в пользу того, что картина [„Брат-2”] не является подражательной коммерческой поделкой, напротив, ее визуальная ткань, как и ее сюжет, является продуктом незаурядной работы в поле кинокультуры». Другие мнения о фильме см. в № 8 и 11 «Искусства кино» за прошлый год.

Лариса Миллер. Максималист. — «Ex libris НГ», 2001, № 6, 15 февраля.

«Удивительно цельную книгу [„Воскресение Маяковского. Эссе” Юрия Карабчиевского] удалось составить Сергею Костырко».

Климентий Минц. Обэриуты. Публикация А. Минц. — «Вопросы литературы», 2001, № 1, январь — февраль. <<http://novosti.online.ru/magazine/voplit>>

Климентий Борисович Минц (1908 — 1995) — кинодраматург и режиссер, входивший в 1928 — 1929 годах в *кинематографическую секцию* Обэриу.

Ксения Мяло. На рубеже тысячелетий: контур сдвига. — «Наш современник», 2001, № 2.

Против *Pax Americana*: интересные факты, форсированный пафос.

На склоне Серебряного века. Последняя осень Андрея Белого. Дневник 1933 года. Публикация, вступительная статья, комментарии М. Л. Спивак. — «Новое литературное обозрение», 2000, № 46.

«Перед Короленко для меня блекнут, например, Тургенев, Лесков и ряд других наших мастеров-классиков» (из записи от 4 сентября 1933 года). «Чувствую явное облегчение после пьавок; опять закопошились эмбрионы мыслей; хотелось бы, если здоровье позволит, написать статью на тему „Социалистический реализм”...» (из записи от 11 сентября 1933 года). Дневник печатается по рукописной копии, сделанной К. Н. Бугаевой.

В. В. Набоков. Второе добавление к «Дару». Вступительная заметка Брайана Бойда (перевод с английского Г. В. Лапиной). Публикация и комментарии А. Долина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

Годунов-Чердынцев о бабочках. С критическим комментарием питерского биолога Сергея Синёва об этих самых бабочках у Набокова.

О *специальных знаниях* (или *незнаниях*) литераторов см. статью Ольги Славниковой «Разговор Берлиоза с Иваном Бездомным» («Новое литературное обозрение», № 46).

Сергей Небольсин. Суровые славяне. — «Наш современник», 2001, № 2.

«Феликс Кузнецов — мой начальник (в ИМЛИ. — А. В.). Почему я часто и остро о нем думаю, а часто видется не ищущий?»

Андрей Новиков. Человек приватизационный. Штрихи к портрету новой формы собственности, возникшей в России. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

«Нигде частная собственность не рождалась через Приватизацию. Это наше изобретение».

Евгений Носов. Рассказы. — «Москва», 2001, № 1.

«Картошка с малосольными огурцами», «Тёпа», «Покормите птиц» — новые рассказы курского прозаика.

Образ интеллектуала устрашает. Интервью Михаила Ремизова с ректором РГГУ Юрием Афанасьевым. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/interview>>

Полемика с Глебом Павловским о конце интеллигенции и востребованных интеллектуалах. На вопрос, возможно ли установление, скажем, на Западе *либерального и недемократического* режима, Юрий Афанасьев отвечает, что это уже происходит.

Дмитрий Ольшанский. Будни вурдалаков. Издана переписка Лили Брик с Эльзой Триоле. — «Сегодня», 2001, № 27, 6 февраля <<http://www.segodnya.ru>>

Многолетняя переписка двух знаменитых сестер (М., «Эллис Лак», 2000) содержит, по мнению критика, *бесценные сведения о том, как ведут себя вурдалаки в своем кругу, как у них обстоят дела с бытом.*

См. также отклик Дмитрия Ольшанского на новые издания Геннадия Айги и Виктора Сосноры («Сегодня», 2001, № 34, 14 февраля): «Склонность Айги и Сосноры к новаторству формального характера бесплодна теперь (а раньше? — А. В.), когда в литературе прочно отсутствует будущее — и вместе с ним возможности физического роста, буквальных, внешних перемен».

Памяти Николая Рубцова (1936 — 1971). — «Наш современник», 2001, № 1.

«В один прекрасный момент Николай Михайлович [Рубцов] заявил: „Я — гений”. Тогда [Виктор Петрович] Астафьев взял полотенце и стал охаживать поэта (наверное, шутя) по спине, со словами: „Нет среди нас гениев, Коля! Нет среди нас гениев...”» (из записей Вячеслава Белкова). См. еще одну мемориальную подборку — «Венок Рубцову» («Москва», 2001, № 1).

Александр Панарин. Опасности и риски глобализации. — «Наш современник», 2001, № 1.

Проект всемирной вестернизации уже закончился — в тот момент, когда Запад решил, что *современное общество* является монополией самого Запада. «В условиях, когда тебе отказывают в приеме в „хорошее общество”, ссылаясь не на те характеристики, которые ты волен изжить в ходе воспитания и образования, а на такие, которые якобы делают тебя изначально недостойным усилий просвещения, тебе остается одно: полюбить в себе знаки этой исключительности и сделать символом достоинства... Самокритика уместна [только] перед лицом партнера, который и сам способен к самокритике и не готов злоупотреблять нашей».

Кшиштоф Пендерецкий. Конец века — это не конец искусства. Перевод с польского. — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 12 (15).

«Наше [польское] общество, лишенное костяка авторитетов, напоминает губку, оно способно впитать в себя все самое худшее. В этой стране очень трудно создавать настоящие ценности, зато ужасает легкость, с какой они растрачиваются и уничтожаются» (из книги «Лабиринт времени. Пять лекций к концу века»).

Евгений Петров. Мой друг Ильф. Вступительная заметка, составление и публикация А. И. Ильф. — «Вопросы литературы», 2001, № 1, январь — февраль.

Наброски и планы (хранятся в РГАЛИ) к ненаписанной книге, замысел которой возник у Петрова после смерти Ильфа (1937). Читаем: «Духовная стерильность Ильфа». *Что это?*

Андрей Плахов. Без катарсиса. — «Искусство кино», 2000, № 10.

«Своей трилогией [„Золотое сердце”, „Рассекая волны”, „Танцующая во тьме”] Ларс фон Триер <...> предложил свежую и оригинальную концепцию кинематографа, которая, может быть, впервые после Феллини соединяет духовную проблематику с кичевой эстетикой. <...> Не религия у него служит материалом для кино, а само кино оказывается чем-то вроде религиозного ритуала, хотя и за вычетом одного из компонентов религии, а именно: религиозной морали».

Александр Проханов. Идущие в ночи. Роман. — «Наш современник», 2001, № 1, 2.

В прошлом году этот *чеченский* роман Проханова увидел свет в качестве специального выпуска «Нашего современника» — без номера, но в стандартном журнальном оформлении, а теперь этот же роман печатается внутри журнала.

В. И. Пызин. Наша толстовская коммуна. Главы из книги воспоминаний «Жизнь с поворотами». Подготовка текста и публикация Е. И. Воцининой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

В 1918 году оставшиеся не у дел инженеры-путейцы Владимир Пызин и Борис Ленов основали в тайге толстовскую коммуноу.

Вячеслав Пьецух. Деревенские дневники. — «Октябрь», 2001, № 2.

Пьецух: зимой и летом одним цветом.

Ст. Рассадин. Предтечи. — «Вопросы литературы», 2001, № 1, январь — февраль. Социалистический реализм Достоевского.

Бертран Рассел. Автобиография. Перевод с английского Т. Казавчинской и Н. Цыркун. — «Иностранная литература», 2000, № 12.

«И все же под грузом этих поражений я ощущаю нечто, что кажется мне свободой...» Автобиографическая книга (N. Y., 1969) вышла за год до смерти ученого.

Мария Ремизова. Кушай тюрю, Яша. Ужасы голода начала 30-х годов на Украине и в Поволжье можно сравнить только с ленинградской блокадой. — «Ex libris НГ», 2001, № 5, 8 февраля.

«Хотя „Крушиловка Тридцатого года“ [Никанора Ковалев] определена как „автобиографическая повесть“, подходить к ней с эстетической меркой бессмысленно, да и невозможно. Основу книги составляют воспоминания очевидца о страшном голоде на Украине 1930 — 1932 годов. <...> [Она] потому не может рассматриваться с точки зрения художественной литературы, что производит в читателе один эффект — тупого и бессмысленного ужаса. Когда Аристотель, объясняя принцип построения трагедии, писал, что от „счастья к несчастью“ не должны переходить люди во всяком отношении достойные, ибо это не может породить ни страха, ни сострадания, а только негодование, равно как и недостойные, поскольку не вызовут к себе жалости, он и представить себе не мог, какие богатые возможности для развития понятия трагического предложит история развития человечества. Литература XX века столкнулась с проблемой невозможности катарсиса при безусловно трагическом содержании. Оказалось, что даже если повествование — художественное или документальное — сосредоточивается на трагедии отдельной личности, если эта личность становится статистической единицей для враждебной государственной машины, когда планомерно и хладнокровно уничтожаются тысячи и миллионы людей, то уже не может быть никакой разницы, достойные или недостойные люди попали в мясорубку истории. И не важно, что составит основу трагедии — невозможный „выбор Софи“ в фашистском концлагере или бесчеловечные и безымянные жертвы, нашедшие могилу в вечной мерзлоте Колымской земли. Чтобы совершилось аристотелевское „очищение посредством страха и сострадания“, личность должна погибнуть, противостоя обстоятельству. Масштабные проекты уничтожения выносят возможность противостояния за скобки. Однако язык не повернется — в силу опять-таки масштабности жертвоприношений — применить к ним иной эпитет, чем трагедия».

Омри Ронен (Анн-Арбор, США). <Ответ на вопросы журнала «Звезда»>. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

«Угрожают [духовной самостоятельности и независимости человека] не новые [информационные] системы, а правительства — и наши, с позволения сказать, интеллигентные политруки... Уже сейчас электронные записи книг подвергаются чистке. Если будут приняты законы об изъятии из циркуляции (по-русски лучше сказать „из обращения“). — А. В.) печатных изданий, тогда наступит ситуация, описанная у Брэдбери. Это реальная опасность. Интеллигенция первая стремится к политической цензуре. Недавно я видел печатную книгу, английский перевод „Котика Летаева“ [Андрея Белого] с изъятиями, отмеченными в примечаниях: „Здесь опущена фраза расистского содержания“. Легко себе представить положение, когда будет создана единая великая международная библиотека под контролем особой комиссии, скажем, ЮНЕСКО... Молодая жена будет выдергивать у мандарина седой волос, а старая — черный».

Дина Рубина. Рассказы. — «Дружба народов», 2001, № 2.

«Воскресная месса в Толедо», «Я и ты под персиковыми облаками».

Александр Самойлов. Общий Бунин. — «Ex libris НГ», 2001, № 7, 22 февраля.

«[Олег Михайлов] с корректностью санитаря из дома для умалишенных ведет писателя за руку по паноптикуму жизни, а нам, любознательным читателям книги [„Жизнь Бунина“], поясняет, чем же отличается Бунин от Куприна, Горького, Толстого и других сказочных персонажей».

Александр Севастьянов. Агрессивное меньшинство. — «Наш современник», 2001, № 2.

СССР сеял красную чуму, а США сеет — голубую.

Александр Силаев. Подлое сердце Родины. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Деревня Пыльнево, синие обезьяны.

Нонна Слепакова. Из письменного стола. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Третья из посмертных публикаций Нонны Слепаковой в журнале «День и ночь» (1999, № 2, 4). О ее стихах см. рецензию Дмитрия Быкова в «Новом мире» (1999, № 2).

Александр Солженицын. Речь при вручении Большой премии Французской Академии моральных и политических наук [Москва, Посольство Франции, 13 декабря 2000 года]. — «Москва», 2001, № 1.

Перерождение гуманизма («Гуманизм Обещательный преобразуется в Гуманизм Указующий»).

Том Стоппард. Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях. Перевод с английского И. Кормильцева. — «Иностранная литература», 2000, № 12.

Среди героев сумбурной пьесы 1975 года — Ленин, Джеймс Джойс, дадаист Тристан Тцара. Переводчику пришлось переводить текст, который наполовину состоит из текстов, уже переведенных на русский язык.

«Танковый погром 1941 года». На вопросы «Русской мысли» отвечает Виктор Суворов. Взял интервью Анатолий Копейкин. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4352, 8 — 14 февраля.

Говорит автор «Ледокола»: «Книга [Владимира] Бешанова [„Танковый погром 1941 года. Куда исчезли 28 тысяч советских танков“] — это очень мощный гранитный блок в пирамиду, которая сейчас возводится честными историками... Наши советские, а теперь официальные российские историки начало боевых действий смазали совершенно. Оно никогда никем не было описано, и победа Бешанова — в том, что он первым открыл эту страницу и подробно описал ход боевых действий».

Марк Тартаковский. Гений Малевич, лауреат Бродский и профессор Ганнушкин. — «Москва», 2001, № 1.

Малевич, Пикассо, Бродский, Айги, Сорокин, Мун — «далеко не каждый из них бездарен, не каждый безумен, отнюдь не каждый прохвост».

«Замечательный поэт Иосиф Бродский окончил семь классов средней школы (это в Америке его держали за профессора) и после этого нигде никогда систематически не обучался. В принципе, не так уж и сложно нащупать ту грань, за которую этому одареннейшему и много работавшему над собой человеку не давало продвинуться именно отсутствие правильного образования. Если не в стихах, где лишь вызывает подозрение некоторое злоупотребление терминологией из школьного курса геометрии и естественно-научных дисциплин (своего рода гиперкомпенсация, что ли?), то в эссеистике уж во всяком случае. Это не только историософские банальности „Путешествия в Стамбул“, которые бы никогда не позволил себе дипломированный гуманитарий, но в первую очередь рассыпанные, как изюм в сдобном тесте, типовые псевдологические конструкции, всякий раз законы логики нарушающие, т. е. ничего не доказывающие. Самое печальное, что Бродский даже не подозревает, что здесь может быть проблема, и прямо-таки упивается мощью своего логического мышления. Собственно, один из основных навыков, вырабатываемых академической системой, и состоит в умении оценить границы возможностей собственных интеллектуальных бицепсов...» — пишет Лев Усыскин в статье «Крайне субъективные и в целом бесплодные размышления о профессиональных качествах писателя» («Новое литературное обозрение», № 46).

См. также интервью Бродского, записанное Юрием Зориным («Новый Журнал», Нью-Йорк, № 221) в 1987 году в Венеции на Пьяцца Сан-Марко, но не прозвучавшее по «Голосу Америки» из-за того, что на речь наложились звуки игравшего на площади оркестра.

Наталья Толстая. Рассказы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 1.

«Полярные зори», «У себя дома» — новые рассказы наблюдательного питерского автора.

Сергей Турченко. Народный невозвращенец. Почему Илья Репин не решился вернуться из эмиграции в СССР? — «Труд», 2001, № 26, 9 февраля <<http://www.trud.ru>>

Документы из Российского государственного архива социально-политической истории (бывший архив ЦК КПСС): переписка Репина и Ворошилова 1926 года о возможности возвращения живописца на родину, а также справка о притеснениях дочери художника Т. И. Репиной-Язевой, проживавшей в бывшем имении Репина — Здравневе.

Эллиот Уайнбергер. Государственный переворот исключает случайность. (Un Coup d'Etat Toujours Abolira le Hasard). Перевод с английского А. Драгомошенко. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

«И хотя не было пролито ни капли крови и танки не подошли к Белому дому, слово „coup“ (переворот) отнюдь не является гиперболой. Иллегально провозглашенная легитимность, коррупционная узурпация власти действительно случились в стране, воображающей себя маяком демократии». Это — о США и президенте Джордже Буше-младшем, с которым автор статьи связывает возможность утверждения новой властной формации — *военно-промышленного христианско-фундаменталистского комплекса*. «Публично провозгласивший, что человек, не верящий в Христа, прямоком попадает в Ад, Буш безоговорочно уверен в том, что не существует разделения между церковью и государством, а именно не существует одного из оснований американского государства». О морально разложившемся экс-президенте Клинтоне см. не менее резкую статью живущего в США публициста Владимира Ошерова («Новый мир», 2001, № 5).

Эмиль Мишель Чоран. Разлад. Фрагменты книги. Перевод с французского Н. Мавлевич. Предисловие Бориса Дубина. — «Иностранная литература», 2001, № 1.

«Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим, уготована участь париев, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, *последние* белые люди, возможно, этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот *стимул* истории (эссеистический сборник Чорана (*Cioran*) „Разлад“ появился в 1979 году. — А. В.). Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает дальнейшее развитие». А также — о мемуарах, о французах и о том, что будет после конца истории.

Надежда Шапиро. Слухи о смерти книги несколько преувеличены. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>

О том, что «Мастер и Маргарита» остается у учащихся (той замечательной московской школы, где преподает Н. А. Шапиро) почти культовой книгой, и несомненно, одна из магических составляющих успеха — язык. От себя добавлю, что *так* разлетелся по отдельным фразам только «Горе от ума» и диалог об Остапе.

Владислав Шаповалов. Язык оккупации. — «Московский литератор». Газета Московской городской организации Союза писателей России. 2001, № 2, январь.

«Вышеуказанная кинолента, которой нас кормили все пятьдесят послевоенных лет разные райзмены, эрмлеры, роммы и прочие траурберги, — покалечила душу нескольких поколений, посеяла в сердцах славянских народов ненависть к германской нации в целом и, ассоциируя слово „немец“ с понятием „фашист“, заслонила образом поверженного врага облик врага, сегодня одержавшего победу над Россией и добивающего ее». Под *языком оккупации* пассионарный, мягко говоря, публицист подразумевает английский, который еще хуже немецкого.

Протоиерей Александр Шаргунов. Из размышлений протоиерея. — «Наш современник», 2001, № 2.

«Неискушенному глазу порою трудно определить — под диктовку беса или доброго ангела написаны эти строки [Юрия Кузнецова]... Но самое главное, непонятно, на какого читателя рассчитана поэма [„Путь Христа“]: неверующего она заведет неизвестно куда, а у верующего вызовет естественное возмущение — как он смеет такое придумывать!»

«Разумеется, в поэме Юрия Кузнецова нет и намек на отрицание божественности Христа и какой-либо хулы на Его Церковь, — считает Вадим Кожинов („День литературы“, 2001, № 2, 6 января; «Наш современник», 2001, № 2). — <...> Художественные произведения на религиозные темы создаются не для весьма узкого круга людей, обладающих существенными богословскими знаниями, но обращены ко всем людям, для которых восприятие таких произведений нередко становится наиболее доступным для них путем к обретению Веры».

«Пусть фарисей и саддукеи ищут в поэме привычную для поэта вольность и призраки демонизма, — пишет Владимир Бондаренко в юбилейной статье к 60-летию

Юрия Кузнецова („Завтра”, 2001, № 6, 6 февраля). — Демоны отстали от поэта. Не выдержали испытания его трагическим холодом. Бесы перемерзли на той высоте, куда добрались на плечах поэта».

Поэму Юрия Кузнецова о жизни Иисуса см. в журнале «Наш современник» (2000, № 4, 9; 2001, № 2).

Грегори Х. Эплет. О природе дикости: исследование того, что действительно защищает дикую природу. Сокращенный перевод А. Елагина, В. Борейко. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2000, том 2, выпуск 2.

«Сейчас, когда дикая природа вполне сформировалась как *американская ценность* (курсив мой. — А. В.) через тридцать пять лет после принятия Акта об областях дикой природы 1964 года...» Тут же — «Рекомендация о сохранении красоты и характера пейзажей и местностей», принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1962 году.

Ёсида Юкио. В сибирском плену. Главы из книги. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Японские военнопленные на Канском горном комбинате.



ДАТЫ: 16 (28) июня исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Николаевича (о. Сергия) Булгакова (1871 — 1944); 18 июня исполняется 65 лет со дня смерти М. Горького (1868 — 1936).

Составитель **Андрей Василевский.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

5 лет назад — в № 6 за 1996 год напечатан роман Сергея Залыгина «Свобода выбора».

10 лет назад — в № 6, 7, 8, 11, 12 за 1991 год напечатана книга Александра Солженицына «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни».

40 лет назад — в № 6 за 1961 год напечатана повесть Виктора Некрасова «Кира Георгиевна».

55 лет назад — в № 6 за 1946 год напечатано стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом...».

60 лет назад — в № 6 за 1941 год напечатаны рассказы М. Горького «Соло», «Голодные», «Рождественский рассказ».

SUMMARY



This Issue publishes the narrative «MNB (The Military Naval Base)» by Anatoly Azolsky, the story «Wolves» by Ilya Kochergin and also stories «The Other Lives» by Gennady Novozhilov. The poetry section of this Issue includes new poems by Gregory Kruzhkov, Maksim Amelin and Nikolay Kononov.

Under the heading «From Heritage» this Issue publishes the story «The Rescue» by Georgy Semenov and also poems by Anna Barkova.

Under the heading «The Close Remote Past» readers can find an epistolary diary by Ivan Yuvachev, the father of the most famous «oberiut» Daniil Kharms.

The section «The Scientific World» includes the article «Small Stories from the Scientific Life» by Revekka Frumkina.

The literary critique is represented in this Issue by articles «The Philological Poetry» by Vladimir Novikov and «The Expansion» by Olga Slavnikova (devoted to the new Russian prose).



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.02.2001 г. Подписано к печати 28.04.2001 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 850 экз. Зак. 2216. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

* *
*

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Изменив вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой —
Просто ты умела ждать
Как никто другой.

*Западный фронт, июль.**«Новый мир», 1941, № 11-12.*